Владимир Нарбут



А муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла
В эфире восстать голубом.

Анна Ахматова

ФЕНИКС

Из поэтического наследия XX века

Серия выходит с 1989 года

Владимир Нарбут

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1990

ББК 84Р7
Н28

Вступительная статья,
составление и примечания
Н. Бялосинской и Н. Панченко

Н $\frac{4702010202—076}{М 106(03)—90}$ КБ 11-50-89

ISBN 5-270-00237-х

КОСОЙ ДОЖДЬ

Так надо бы назвать эту книгу. Нарбут хотел ее назвать так. Хотел. Но не решился. Ветхий листок из остатков архива поэта сохранил это, может быть, мимолетное, но вдохновенное желание.

Вкривь и вкось поверх черновых строк и рифм торопливым карандашом, то легко, то с резким нажимом, с недочертанными концами слов, записана строфа:

«В. Маяковский
Я хочу быть понят моей страной
Не поймут меня что ж
По родной стране пройду стороной,
Как проходит косой дождь».

Записана, наверно, наизусть. Потому что не точно[1]. Может быть, внезапно вспомнившаяся или только услышанная, а не прочтенная, и Нарбут помечает: «(проверить)». А затем, дважды подчеркнув,— «Косой дождь» (назв. для книги)».

Не решился. Маяковский вычеркнул. Нарбут — не надписал...

Он нашел другое название для своей последней,— правда, он еще не подозревал, что последней,— книги — «Спираль».

Что же, в каком-то смысле, может быть, оно оказалось точней — не прошел стороной, а зажат и раздавлен стальной пружиной, спиралью, своего земного пути.

«Реабилитирован посмертно». Место смерти не указано. Даты смерти в разных справочниках разные...

Это принято теперь называть «белыми пятнами». Географический термин стал историческим. Насильственно обреченное на забвение считают непознанным. Но это не белые пятна. Это рваные раны на живом теле нашей поэзии.

---

[1] В черновиках стих. Маяковского «Домой» (1925) есть разночтения, но они не совпадают с записью Нарбута. После первых публикаций Маяковский снял эту строфу (См.: Маяковский В. Полное собрание сочинений. М., 1958. Т. 7. С. 428—429, 488—489).

Из шести акмеистов[1] трое погибли. Четвертая прошла крестный путь, чудом уцелев.

Нарбут был реабилитирован еще в 1956 г. Книг его почти не сохранилось. Их было тринадцать. Одна из первых конфискована царской цензурой. Последняя вышла в 1922 г. в Харькове. А та, «Спираль», которую мы назвали последней, вовсе не книга, а рукопись, перепечатанная на такой же смуглой, постаревшей, бумаге, как и черновик с «косым дождем». Был, правда, уже и набор. Но рассыпан на исходе 1936 г., может быть, в тот самый час, когда во внутренней тюрьме НКВД поэт не мог записать свои новые, никогда не дошедшие до нас, стихи.

И через четверть века после его гибели несколько энергичных попыток вдовы, Серафимы Густавовны Нарбут[2], тогда уже Шкловской, еще живых в ту пору друзей, Михаила Зенкевича в первую очередь, и других писателей-современников издать его книгу захлебнулись вместе с эпохой, которую одни называют оттепелью, другие годами волюнтаризма.

Казалось, и в самом узком, причастном к поэзии кругу на слуху остались лишь имя, два-три названия давних книг, одна, может быть, строка...

Но случилось, что поэт не только забыт — оболган.

И не столько тогда, когда был клеймен типовым тавром «враг народа». Но и через четыре десятилетия. Когда новым поколениям вернулось многое, вырванное из контекста нашей культуры, Нарбут — так и не изданный — явился в кривых зеркалах, в изломах причудливых сечений странной «памяти» одного очевидца, называвшего себя другом, да и действительно бывшим, по крайней мере — приятелем.

Впрочем, что же тут странного? Роман беллетриста Катаева «Алмазный мой венец», ставший, как теперь говорят, бестселлером 1978 года, был характерным порождением своего времени. Двери в прошлое были к той поре если не захлопнуты, то более или менее плавно прикрыты. Между тем читатель уже хлебнул гласности, он хотел знать правду о недавнем прошлом своей культуры. Роман

---

[1] «Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты кого им вздумается. (...) Акмеистов только шесть». (Мандельштам Надежда. Вторая книга. Париж: Умса-Press, 1972. С. 38. В дальнейшем — Н. Мандельштам-II). Имеются в виду: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Михаил Зенкевич, Сергей Городецкий.

[2] Шкловская (Нарбут) Серафима Густавовна (1902—1982), девичья фамилия — Суок. Жена В. И. Нарбута с 1922 г., с 1956 — жена В. Б. Шкловского.

Катаева «обещал» эту правду, будучи населен известными писателями, в большинстве случаев возвращавшимися из полного или почти полного небытия. Они были снабжены кличками, тем более прозрачными, что сопровождались подлинными цитатами, названиями книг, известными фактами биографий. Роман от этого воспринимался как документальное повествование. А в самом деле в нем очень многое своевольно и недоброжелательно перетолковано.

Нарбут получил в романе прозвище «колченогий». Увлеченно цитируя многие его стихи, признаваясь, что с юных лет помнит их наизусть, повествователь настойчиво сопровождает цитаты такими определениями, как «страшная книга», «еще более ужасных его стихов», «способных довести до сумасшествия». Самому же Владимиру Ивановичу давались такие характеристики, что казалось, под именем «колченогого» в «Алмазный венец» Катаева забежал булгаковский Воланд, чтобы подменить собой душу замученного в ГУЛАГе поэта. Некоторые неясные моменты биографии Нарбута еще более затуманивались. На все лады в «Алмазном венце» варьировалось: «таинственная судьба, заставлявшая предполагать самое ужасное». Наконец, чуть ли не от имени пролетарской революции: «он хотел и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз покарали отсечением руки, но он чувствовал, что рано или поздно за этой карой последует другая, еще более страшная, последняя». Этот приговор вынесен Владимиру Нарбуту через двадцать два года после реабилитации от двух предыдущих — лубянского и колымского. Впрочем, между делом, походя, досталось и тому, чью честь уже трудно защищали и нескоро отстояли другие поэты. «Над «колченогим»,— сказано здесь,— еще и «витала зловещая тень Гумилева». «Теперь, когда я пишу эти строки, колченогого никто не помнит. Он забыт»[1],— прочли мы в довершение уже знакомое, чуть ли не в торжествующей тональности.

— Не огорчайся, Роман,— будто со стороны утешал сына Нарбута друг покойного отца Валентин Петрович Катаев,— это просто такой стиль[2].

Результат сказывается до сих пор. Стоит показать стихи Нарбута в современном кругу поэтов или читателей, как почти обязательно следует реплика: «Какие замечательные (прекрасные, удивительные и т. п.) стихи! Но что-то с

---

[1] См.: Новый мир. 1978. № 6. С. 74, 85 и др.
[2] Сообщено Т. Р. Романовой (Нарбут) — внучкой поэта.

этим Нарбутом было... То ли он зверствовал в ЧК (варианты: «кого-то расстреливал», «какой-то страшный человек»). Между тем все эти молодые или не очень молодые люди читали в «сам» или «там» «издатах» книги Надежды Мандельштам, и недавно опубликованные воспоминания Варлама Шаламова, и «Ни дня без строчки» Юрия Олеши, и стихи Ахматовой, где могли увидеть совсем другого Нарбута.

Такова была экспозиция, когда, разбирая домашний архив покойного В. Б. Шкловского, мы обнаружили в нем несколько папок Владимира Нарбута[1].

...В 1960 г. в подмосковном Шереметьеве горела дача. Хозяева, Шкловские, были в отъезде. Из соседнего дома на помощь пожарным выбежал другой писатель, В. Ф. Огнев. Дача сгорела дотла. Осталось три предмета: оплавленная фарфоровая вазочка, металлическая пишущая машинка, тоже оплавленная, и рыжий, старинный, толстой кожи портфель, совершенно целый, только слегка прихваченный огнем по углам. Это имущество полагалось описать и взять на охрану до возвращения хозяев. Милиционер попросил Огнева вскрыть портфель. В нем были рукописи Владимира Нарбута...[2]

Небольшой архив поэта оказался емким: экземпляр уничтоженной в типографии «Спирали», еще одна, неполная, книга «Казненный Серафим», которую Нарбуту не удалось издать, другие стихи в рукописях, машинописи, в черновиках; собственноручная запись Серафимы Густавовны об аресте, документы, фотографии, обрывки очень старых газет, готовых рассыпаться от неосторожного прикосновения, но вытесняющих живой плотью фактов призрачные тени, расплясавшиеся вокруг имени поэта. Наконец — одиннадцать писем Владимира Ивановича из лагерей его смерти.

Но то, что мы прочли дома, ответив на одни вопросы, задало нам другие, позвало в библиотеки, архивы, к людям, окликавшим нас из тех же папок, а чаще, увы, к их потомкам.

И вот оказалось, не так уж безвозвратно забыт.

У внучки Владимира Нарбута, Татьяны Романовны Романовой, хранится еще один небольшой домашний архив поэта, собранный его покойным сыном Романом Владимировичем Нарбутом, оставившим также неопубликованные

---

[1] Этот архив Нарбута разобран и хранится пока у дочери В. Б. Шкловского, В. В. Шкловской-Корди.

[2] Сообщено В. Ф. Огневым.

воспоминания об отце и сохранившим полный экземпляр книги «Казненный Серафим»[1]. В хранилищах одной только Москвы по крайней мере три фонда Нарбута[2]. Многое хранится в других городах[3]. Обнаружились писатели и читатели, давно и пристально занятые творчеством Нарбута. Обширна и Personalia Нарбута. Не говоря о прошлом, даже и в недавние годы «забвения» появились все-таки первые опыты исследований — в Москве, Одессе, Воронеже, на Сумщине и в Париже, где, конечно, успели раньше нас издать однотомник поэта.

«Меня занимает человек-поэт...— пишет воронежский исследователь Александр Крюков,— хочу рассказать о человеке, о времени, в котором он жил... Знаю номер его телефона: 950, телефона из восемнадцатого года... И почти ничего не знаю о человеке... Он ускользает от нас... Может, кто-то другой пройдет по следам Нарбута. Поставлю для него вехи...»[4]

Спасибо, Александр Крюков. Мы воспользовались вашими вехами.

Владимир Нарбут родился в коренной Украине — Черниговщине, близ древнего города Глухова, на хуторе, который так и назывался — Нарбутовка. «Родовое» — написал он в анкете Венгерова[5]. И действительно, хутор Нарбутовка возник еще в 1678 г., а «Хорунжий сотне Глуховской Роман Нарбут» поминается в универсале гетмана Мазепы — 1691-м.[6] Но уже задолго до рожде-

---

[1] Нам известно о существовании еще нескольких частных архивов В. Нарбута: у критика и литературоведа Л. И. Скорино; у коллекционера В. В. Лаврова (часть архива Михаила Зенкевича), у киевского краеведа и этнографа С. И. Белоконя (материалы, переданные ему С. Г. Шкловской).

[2] В ЦГАЛИ, в ИМЛИ, в Литературном музее. Книги Нарбута в фондах Московского Государственного музея Пушкина (Библиотека И. Н. Розанова).

[3] В хранилищах Воронежа, Одессы, Киева, Харькова, других городов Украины.

[4] Подъем. 1987. № 11. С. 111; Нева. 1984. С. 198.

[5] Проф. С. А. Венгеров, составляя 2-е издание своего критико-биографического словаря русских писателей и ученых, опубликовал анкету (См.: Новый журнал для всех. 1913. № 4. С. 186), на которую Нарбут ответил 12 мая 1913 г. Оригинал ответа Нарбута хранится в архиве С. А. Венгерова — Отдел рукописей ИРЛИ, собр. 1, № 1960 (В дальнейшем — Анкета Венгерова).

[6] См.: Лазаревский Ал. Описание старой Малороссии: Материалы для истории заселения и управления. Киев, 1893. Т. 2: Полк Нежинский. С. 488—489.

ния поэта «родовое» это представляло собой маленький дом большого небогатого семейства. «Панскую усадьбу»,— как вспоминал брат Георгий,— от крытых соломой крестьянских хат отличает железная крыша. «Видно, что железо было когда-то покрашено в красный цвет, но это было когда-то...»[1] Володя был вторым сыном, пятым ребенком в семье.

Можно было бы сказать, что Гоголь и Сковорода склонились над его колыбелью. Тем более что мы не однажды встретимся с ними, читая стихи Нарбута. Но вот что не менее важно — в 1888 г., когда родился Владимир Нарбут, да и в начале нашего века, когда рождался Нарбут-поэт, мир «хуторов близ Диканьки» и «миргородов», воспринятый и возлюбленный нами от Гоголя, дороги, по которым, проповедуя, бродил Сковорода, были все те же или почти тѐ же. Все эти брыли, венки, ветряки и спиванья, гаданья, курганы, все эти семинаристы, жнецы, бандуристы-слепцы, и паны, и ру́салки, и ведьмы — были буднями; ярмарки, вербные, святки, сочельники — праздником. Все это еще было бытом, не литературным — живым. И «Тарас Бульба» — не просто роман, а почти что преданье о предках, и «Вий» — не «фантастический образ из одноименной повести Гоголя», как прочли мы в одном современном научном комментарии, а грозный старик, убивающий взглядом людей, обращающий в пепел селенья, главный демон из страшных устных вечерних рассказов...

Родовитый и образованный, но захудалый помещик-однодворец Иван Яковлевич Нарбут вынужден был служить, а жена его, дочка священника, Неонила Николаевна, так вести хозяйство, чтобы не только прокормить семью, но и пополнить ее бюджет. Дети росли вместе с сельскими ребятишками. Их первым учителем был псаломщик. И к нему же, соседу, устраивали набеги. «То в огород залезем, горох оборвем, то яблоню потрусим»,— вспоминал Георгий Нарбут,— за что он кричал: «Ах вы, саранча нарбутовская!» Однако вскоре и сами помогали матери по хозяйству — сажали цветы, пололи огород.

Но хозяева Нарбутовки чем-то уже отличались от хуторян «близ Диканьки». Иван Яковлевич окончил физико-математический факультет Киевского университета. Отец был суров, мать добра. А старшие их сыновья часто забирались на чердак — там тайно от отца Егор рисовал, Во-

[1] Нарбут Г. Автобиографични уривки (Архив института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Ф. Рыльского. АН УССР (Киев), ф. 13-4, ед. хр. 259). Цит.: Белецкий П. Георгий Иванович Нарбут. Л., 1985. С. 12 (В дальнейшем — Белецкий).

лодя читал и писал стихи[1]. Разница между ними была в два года, но детство и юность они провели бок о бок, как близнецы.

XX век братья встретили в глуховской классической гимназии.

Глухов был тихим уездным городом. Брат Георгий называл его даже «сонным».[1] Но то был не «миргородский» сон, скорей — богатырский. Глухов — ровесник Путивля, давно уже не был столицей, резиденцией гетманов левобережной Украины, но его собор (византийской архитектуры) помнил, как торжественно избирали здесь гетманов и как жгли куклу, изображавшую изменника Мазепу. Здесь была ставка Петра в битве со шведами. А немногие сохранившиеся от XVIII в. здания, следы парковых ансамблей напоминали о Малороссийской коллегии, Румянцеве-Задунайском, о «проездах» Елизаветы и Екатерины.

Глуховская обширная библиотека сохраняла традиции древнего центра русско-украинской культуры, получала петербургские новинки, а в книжном магазине можно было купить свежие журналы (в частности — «Мир искусства»), сборники старших и младших символистов. Читал гимназист Володя Нарбут и древнерусские книги. Увлекшись графикой, Георгий переписывал шрифтом «Остромирова Евангелия» «Поучения Владимира Мономаха» и «Евангелие от Матфея»[2].

В городе устраивались художественные выставки, любительские спектакли, музыкальные вечера.

Братья Нарбуты учились в одном классе. Володя успевал лучше и помогал Егору. Иван Яковлевич денег на учение не высылал, и Владимир давал уроки математики младшим детям известного глуховского и воронежского ветеринарного врача Ивана Леонтьевича Лесенко (губернский Воронеж совсем рядом). А старшая дочь Ивана Леонтьевича, Нина, была тогда одной из первых учениц глуховской женской гимназии[3].

Стихов Владимира Нарбута той поры мы не знаем. Хотя известно, что он уже писал и, в отличие от Егора, интересовался политикой. (Шли 1904, 1905, 1906-е годы, политических событий было предостаточно.)

Итак, если прав Мандельштам, «установление литератур-

---

[1] Воспоминания сына В. Нарбута, Романа Владимировича Нарбута. Рукопись. Архив Т. Р. Романовой (В дальнейшем — Роман Нарбут). Егором он называет Георгия Нарбута.

[2] Белецкий. С. 14.

[3] Роман Нарбут.

ного генезиса поэта, его литературных источников, его р о д с т в а и происхождения сразу выводит нас на твердую почву»[1]. Будем помнить, что происходил Владимир Нарбут из соединения украинской бытовой поэзии и традиционного православия, из классической мировой, русской и украинской книжной культуры, из сплетения украинских и российских культурно-исторических судеб, из отечественного модерна и социальных брожений начала века. Не забудем и то, что неразлучно с ним рос брат-художник, что, может быть, живописное зрение было записано в генетическом коде и самого поэта. Наконец, примем во внимание, что на вопрос о замечательных событиях в своей жизни Владимир Нарбут отвечал: «...болезнь 1905—1906 гг., после которой последовала коренная ломка мира духовного»[2]. Что за болезнь — не знаем. Известно лишь, что после нее Нарбут хромал всю жизнь[3]. И знаем, что хромота (в добавок к заиканию с детства)[4] не изменила его характера — он оставался общительным, жизнерадостным, даже веселым и деятельным человеком.

В 1906 г. братья Нарбуты кончили гимназию, подали прошения на факультет восточных языков Петербургского университета и были зачислены без хлопот. Хлопоты предстояли дома. «Целое лето мне пришлось воевать за право ехать в Петербург... — вспоминал Георгий,— отец... ни за что не хотел пускать туда ни меня, ни моего брата Владимира», однако «как-то покорился», «под влиянием матери, которая молча держалась нашей стороны»...[5]

Неприветливый к провинциалам Питер, попугав для начала, приютил наконец глуховских школяров в радушном доме художника И. Я. Билибина. Здесь они сразу вошли в мир высокой российской богемы, в ее жизнь, по-молодому веселую и творчески событийную, в приближении, по точным словам Ахматовой, «не календарного — настоящего двадцатого века».

«С Александром Александровичем (Блоком.—*Н.Б.*,

---

[1] М а н д е л ь ш т а м О. Слово и культура. М., 1987. С. 76 (В дальнейшем — слово и культура).

[2] Анкета Венгерова.

[3] «В 18-летнем возрасте ему вырезали пятку (правая нога)». Роман Нарбут.

[4] «Нарбут заикался всегда. (...) Отец неожиданно подкрался к Володе, когда тот рассаживал цветы на клумбе, и напугал. С тех пор заикался». Там же.

[5] Белецкий. С. 20

Н.П.),— вспоминает об этом времени Владимир Нарбут,— я уже был знаком и носил пушкинский его, темно-зеленого цвета, с большими отворотами и упрямой талией сюртук. Упомяну, кстати, что последний унаследовал я от художника И. Я. Билибина, в квартире которого я в ту пору жил и где, если не изменяет мне память, впервые увидел Блока»[1].

Да и университетский «Кружок молодых», в который вошел Нарбут, был не так уж далек от «взрослой» художественной жизни.

Уже в 1908 г. Нарбут стал публиковаться. И не только как поэт. В периодике начинают появляться его стихи, рассказы, очерки. Очерки, кстати,— этнографические: «Сырные дни на Украине», «В Великом посту», «Малороссийские святки», очерк о Соловках, написанный, как и рисунки к нему Георгия, под впечатлением устных рассказов и набросков с натуры И. Я. Билибина.

В 1910 г. петербургское книгоиздательство «Дракон» выпускает сборник «Владимир Нарбут. Стихи. Книга 1». На обложке и титуле — один и тот же небольшой орнамент в круге. Если вглядеться в него, обнаруживается огнедышащий дракон и маленькие инициалы по сторонам круга «Г» и «Н». Стало быть, книгу оформил брат. Следующая за титулом страница сообщает, что все это «стихи 1909 г.» и на обороте — «Год творчества первый». Книга довольно большая по тому времени — 77 стихотворений. Но сколько же тогда выходило первых и не первых книг юношей, начитавшихся символистов!

Первая книга Владимира Нарбута не затонула в этом потоке. Ее заметили. И Брюсов: «Г⟨осподин⟩ Нарбут выгодно отличается от многих других начинающих поэтов⟨...⟩ У него есть умение и желание смотреть на мир своими глазами, а не через чужую призму»[2], и Гумилев: «Неплохое впечатление производит книга Нарбута. ⟨...⟩ она ярка. В ней есть технические приемы, которые завлекают читателя (хотя есть и такие, которые расхолаживают), есть меткие характеристики (хоть есть и фальшивые), есть интимность (иногда и ломание). Но как не простить срывов при наличности достижений?»[3] Темпераментнее приветствовали «первый год творчества» литературные ровесники. «Редко праздник необыч-

---

[1] Нарбут Вл. О Блоке. Клочки воспоминаний// Календарь искусств (Харьков). 1923. № 1 (В дальнейшем — Нарбут о Блоке).

[2] Брюсов В. Новые сборники стихов// Русская мысль. 1911. № 2. С. 232.

[3] Гумилев Н. Письма о русской поэзии// Аполлон. 1911. № 6. С. 75.

ного придет к нам... и безудержная радость охватывает, и громко кричу: «Не уходите, нельзя пройти мимо. Молодая радость»,— прямо-таки восклицает студент Семен Р. в журнале «Gaudeamus»[1], и через номер, в том же журнале, Владимир Пяст подробно разглядывает поэтику новичка. Мы позволим себе каскад протяженных цитат, потому что Пяст углядел в тех первых стихах то, что трудно заметить в них нам, нынешним, кто сначала прочел «Аллилуйю» и «Плоть» и лишь потом добрался до их истока. Нам казалось, ничего еще нет в этой книге от «взрослого» Нарбута. Пяст нашел в ней некоторые черты еще ненаписанных книг: «⟨...⟩ поэзия, может быть неуклюжая, так сказать неотесанная, даже одетая-то не по-городскому, а по-деревенски. ⟨...⟩ И шагу-то ступить не умеет, и высморкаться как следует; и в речь провинциализмы через три на четвертое пропускает, а ведь вот, все-таки своеобразная красота и жизнь за всем этим чувствуется», «Владимиру Нарбуту самый стих дается с трудом. ⟨...⟩ Но в этой-то замедленности, в этом балласте излишних ударений, и кроется своеобразность ритмической физиономии молодого поэта». «Г. Нарбут имеет своеобразное представление о месте слов в предложении. ⟨...⟩ А между тем эта неуклюжесть расстановки слов позволяет г. Нарбуту иной раз высказать именно то, что нужно», «все «свое», сочное, неуклюжее, но *подлинное*», «Владимир Нарбут способен иногда «такое» сказать, что его прямо-таки попросят вон из салон-вагона. ⟨...⟩

Нда-да! Я думаю, г. Нарбут искренно хотел бы здесь избежать таких... новшеств, да вот не может: они присущи его невесте, поэзии органически»[2].

Не будем слишком буквально понимать многочисленные «поэт не умеет» в этой рецензии. Конечно, до совершенного мастерства первым опытам молодого поэта было далеко. Но у Пяста, как видим, речь не о «блохах», которых ловят литконсультанты и убивают редакторы. Тут речь об интимнейших отношениях Психеи и Глагола, в которых только рождается и живет (или не живет) поэт.

Как бы то ни было, поэт Владимир Нарбут родился, «волхвы» принесли свои дары. Жизнь началась.

Он писал много, публиковался все больше и больше. «А с 1911 года,— как зафиксировал сам,— печатался почти во всех столичных газетах и журналах. Попадал в «толстые» довольно удачно и — без протекции»[3].

---

[1] Семен Р.— очевидно, Розенталь// Gaudeamus. 1911. № 3.
[2] Пяст Вл. По поводу последней поэзии// Gaudeamus. 1911. № 5.
[3] Анкета Венгерова.

Уже на первых порах дало себя знать и другое его призвание. Он явился на свет не только поэтом, но и даровитым, деятельным издателем. И сразу пошел по обеим стезям.

В том же 1910 г.: «Наша студенческая литературная братия,— вспоминал Владимир Иванович,— (отчасти осколок прежнего «кружка молодых», отчасти дальнейшее его развитие) добыла средства для издания своего студенческого журнала. 〈...〉 Редакционная коллегия «Gaudeamus»а (так назывался журнал), в которую попали Розенталь, Воронко〈...〉 и я, поручила мне достать стихи у Блока и у тех поэтов, каких он укажет»[1]. С этим поручением впервые пришел к Блоку Владимир Нарбут:

«Было Рождество 1910 года, звонкое и сухое петербургское время.〈...〉 А. А. обитал в те дни — во дворе на Галерной, недалеко от «Биржевки». Пришел я к нему в воскресенье утром, а засиделся до обеда. Долго толковали мы, кого и как (гонорара у нас почти не полагалось, весь «капитал»-то был что-то около 1000 рублей плюс типографский кредит, а журнал должен был выходить на меловой бумаге с тонивым клише при тираже в 5—8 тысяч〈...〉) приглашать в сотрудники «Gaudeamus»а...»[2]

Очевидно, Блок серьезно отнесся к студенческой затее: «— Ваш журнал должен быть свежим, молодым.〈...〉

— Хорошо было бы,— заметил вдруг, пожевав губами, Блок,— если бы «Гаудеамусу» удалось выцарапать рассказ у Аверченко. Прекрасные рассказы у него, настоящие. Думаю, что Аверченко самый лучший сейчас русский писатель. Вы не гонитесь за эстетикой, а вот Гоголя нового найдите. А то — очень уж скучно»[3].

Юные издатели, как водится, прислушались не ко всем советам мастера: «Всей коллегией мы, помнится, навестили Блока два раза. И Александр Александрович не особенно одобрял наш «Гаудеамус», плывший по морю символизма на полных парусах»[4]. Журнал просуществовал меньше года. То ли прогорел, то ли проспорил себя в недрах редколлегии (в ее прощальной вежливой перепалке с издателем обе стороны выставляют ту и другую причины)[5]. Но он был еженедельным. Все-таки вышло 11 номеров. И подписчики «Gaudeamus»а, кроме перевода Блока, прочли много новых сти-

---

[1] Нарбут о Блоке. «Gaudeamus» — название и начальное слово студенческого гимна, от gaudeo (лат.) — радоваться, любить.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] См.: К читателям. От издателя и От редакции// Gaudeamus. 1911. № 11.

хов, олицетворивших поэзию весны 1911 г.— от Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова до Максимилиана Волошина и Георгия Чулкова. «Gaudeamus», вместе с «Аполлоном», открыл читателю Ахматову — первые ее публикации прошли в трех его номерах.

Нарбут регулярно публиковался в своем журнале. Стихи его были уже несколько иные — и похожи и не похожи на «первый год творчества».

Этот год, 1911-й, поставил — поначалу незаметно — поворотную веху столбовой дороги русской поэзии. На этом повороте решительный шаг сделал и Владимир Нарбут.

Той осенью группа талантливой молодежи покинула так называемую «башню» — поэтический салон Вячеслава Иванова — и его же «Академию стиха», собиравшуюся в «Аполлоне», где регулярно читались и «судились» стихи под эгидой старших символистов. Формальным поводом было нежелание терпеть «деспотизм «метров»[1], последней каплей — частный случай[2]. «Взбунтовавшись» против «академии», они организовались в «Цех Поэтов» по типу ремесленных гильдий, во главе с молодыми, но уже авторитетными «синдиками» Гумилевым и Городецким.

Именно этим, молодым тогда, людям, не захотевшим, по выражению Пяста, «быть в числе эпигонов», а пожелавшим создать «фермент брожения»[3], суждено было на долгом тернистом отрезке пути русской поэзии сыграть особую, недооцененную еще роль хранителей вечного огня (порой казалось — последних искр) ее духовности, ее подлинно-гуманистического смысла. Эти повзрослевшие дети стареющего символизма, эти, считавшиеся блудными, его дети — они-то и оказались действительными наследниками русского символизма, который «независимо от того, что он явился неизбежным моментом в истории человеческого духа, имел еще назначение быть бойцом за культурные ценности, с ко-

---

[1] Блок в своем дневнике записал, что психологически понимает «бунт» против Вяч. Иванова» и даже «желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом» (Блок А. Собрания сочинений. Л., 1934. Т. 7. С. 140).

[2] «Блудный сын» Гумилева («Первая акмеистическая вещь Коли»,— говорила Ахматова) был прочитан в «Академии стиха», где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое («Никогда ничего подобного мы не слышали»), что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех Поэтов» — в противовес ей» (См.: Н. Мандельштам-II. С. 46—47).

[3] См.: Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 207.

торыми от Писарева до Горького у нас обращались очень бесцеремонно»[1].

Но продолжить эту миссию можно было, только преодолев символизм[2]. И до конца дней эти «гиперборейцы»[3], как их еще называли, считали своей высшей поэтической школой не «академию», а «Цех»: «Никакими учебниками никогда не пользовалась — слушала обсуждение стихов в «Цехе Поэтов» 1911—1914»,— сообщила Ахматова в 1962-м[4]. Владимир Нарбут был среди тех, кто вошел в «Цех».

А осенью 1912 года несколько поэтов — участников «Цеха» — предложили обосновать свое отличие от символизма и дать название новому направлению. Далеко не все члены «Цеха Поэтов» поддержали этот следующий шаг. Но они появились — новое поэтическое содружество и новое название — «акмеисты»[5].

«Цех Поэтов» сохранился. Акмеисты не вышли из него — стали объединением внутри объединения.

«Вместе с моими товарищами по Первому цеху поэтов — Мандельштамом, Зенкевичем и Нарбутом — я сделалась акмеисткой»,— записала Ахматова в своей официальной автобиографии[6]. Она не называет двух — Гумилева, который был все еще не называемым (может быть, вычеркнут редакторами), и Городецкого, которого, по-видимому, считала, как и Мандельштам, «лишним», случайным.

Их было шесть[7]. И они сразу привлекли внимание. И не потому, что дерзко противопоставили себя, но противопоставили — по существу. Хотя первые споры разгорелись как раз вокруг того, «есть» ли они или их «нет».

Но все сходились на предсказании недолговечности ак-

---

[1] Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Пг., 1923. С. 30.

[2] См.: Журминский В. М. Преодолевшие символизм// Русская мысль. 1916. № 12 (В дальнейшем — Преодолевшие символизм).

[3] Гиперборейцы — по журналу и издательству «Гиперборей».

[4] См.: Ахматова Анна. Международное литературное содружество// Сочинения. 1986. Т. 2. С. 305 (В дальнейшем — Ахматова. Т. 2).

[5] Акмеисты — от греч. слова «Акмэ» — вершина, конец копья.

[6] Ахматова Анна. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1976. С. 20 (В дальнейшем — Ахматова).

[7] «Акмеистов только шесть, а среди них оказался один лишний. ⟨...⟩ Мандельштам объяснил, что Городецкого «привлек» Гумилев, не решаясь выступить против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом... все годы он только и делал, что публично отрекался от погибших» (Н. Мандельштам-II. С. 38—42).

меизма. Решительнее всех предвещал Брюсов: «акмеизм — выдумка, прихоть, столичная причуда»; «всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его»[1].

Прошло три четверти века. Акмеизм остался. Имя его не исчезло. Ему посвящена обширная литература. Но, пожалуй, более, чем в других главах нашего литературоведения, истинные наблюдения и суждения в ней засорены предубеждениями, командно обусловленной ложью, в лучших случаях полуправдой и эвфемизмами.

Но ответим для начала хотя бы на два вопроса.

Что же все-таки объединило их, таких непохожих? Н. Я. Мандельштам пишет, что Ахматова объяснить не могла, эта связь «казалась ей чем-то само собой разумеющимся»[2].

И второй вопрос: Как случилось, что они, всего шесть, или даже пять,— кого Брюсов считал уже в 1922 г. «вне основного русла литературы»[3], все-таки состоялись, каждый в отдельности и вместе, как некое единство?

Может быть, потому и состоялись и сохранились, что были разными и что было их всего несколько. Акмеисты не стали движением (движением, пусть недолгим, был «Цех Поэтов»). К движению, если бы оно стало модным, примкнуло бы много случайных лиц, оно обросло бы канонами, узаконенными теориями, наиболее яркие поэтические индивидуальности выделились бы из него, общий поток размылся бы. Так было не раз.

Но акмеизм не был массовым движением. Он был содружеством личностей.

«...содержание,— говорит О. Мандельштам в «Разговоре о Данте»,— есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его»[4].

В чем же эти сотоварищи были соискателями?

Конечно, не в обратном пути с небесных высот к бескрылому ползанию по земле, не в противопоставлении плоти духу.

Ахматова, которой, по ее шутливому выражению, было посвящено больше строк, «чем Лауре, возлюбленной Петрарки»[5], до конца своих дней считала самым точным, что

---

[1] Брюсов В. Новые течения в русской поэзии// Русская мысль. 1913. № 4. С. 134, 142.

[2] Н. Мандельштам-II. С. 46.

[3] Брюсов В. Собрание сочинений. М., 1975. Т. 6. С. 531.

[4] Слово и культура. С. 130—131.

[5] Ардов Мих. Не «поэтесса» — Поэт!: Из бесед с Анной Ахматовой// Лит. газ. 1989. 4 янв. С. 5

было сказано о ней, статью Н. В. Недоброво 1915 года:

«Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее требований. ⟨...⟩ Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в середине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края,— и что бы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. Непонимающий их желания считает их чудаками и смеется над их пустячными стонами⟨...⟩[1] А если он облечен неограниченной, хотя и неправой властью,— добавим от себя,— то и выбраковывает клеймом: «Не то монахиня, не то блудница»[2]. Но мы запомним: дошли до края мира сего, не вышли за его пределы, не отвлеклись от него, но и не вернулись «обратно в мир». Бьются мучительно у замкнутой границы. И еще: «Биение о мировые границы,— продолжает Недоброво,— действие религиозное⟨...⟩»

Вот эта неодолимая потребность — в противоположность развоплощению духа обрести его во плоти, откуда и пристальное внимание к предмету, и обращение к слову, и гуманизм и демократизм, эта надежда создать прекрасное «из тяжести недоброй» и есть то, на чем сложилась их сообщность, что не только сохранило ее во времени, не только не иссушило в забвении, но и дало,— может быть, недостаточно замеченные пока,— плодотворные побеги на всей ниве нашей поэзии.

А первые ростки в 10-х годах.

«Я» Владимира Нарбута в этом «мы» соискателей и сотоварищей, считал Михаил Зенкевич, «по праву занимает совершенно особое место, будучи среди акмеистов такой же своеобразной фигурой, как Вл. Хлебников среди футуристов...»[3].

На это место его поставила вторая книга — «Аллилуйя».

Правда, книга эта не вышла — была издана в апреле 1912 г. тиражом в 100 экземпляров и сейчас же изъята цензурой. Мотивировки у мемуаристов и биографов Нарбута приводятся разные: «конфискован за богохульство» и «Нарбуту грозила ст. 1001 царского уложения законов за порнографию», «сожжена как кощунственная по решению Свя-

---

[1] Недоброво Н. В. Анна Ахматова// Русская мысль. 1915. № 7. С. 63—64.

[2] Жданов. А. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». М., 1952. С. 9—10.

[3] Зенкевич Мих. Владимир Нарбут. Плоть. Быто-эпос// Культура (Саратов). 1922. № 1. С. 6.

тейшего Синода». Мы видели в Музее библиотеки им. Ленина экземпляр, хранящийся в шкафу с грифом «цензура». На одной из его страниц помета синим карандашом: «Книгу надо истребить!» — на той странице, где напечатано стихотворение «Пьяницы».

Приказ «Истребить!» был исполнен. Но истреблена книга не была. Ее читали, знали. Ее числили в поэтическом активе (на всех обложках изданий «Цеха Поэтов» значится «Владимир Нарбут «Аллилуйя» (Конфисковано)». Ее активно рецензировали. И хотя студенту Нарбуту пришлось срочно покинуть университет[1], Петербург, а затем и Россию (он уехал в путешествие по Африке через Нарбутовку), Поэт-Нарбут со своей «Аллилуйей» именно в те дни неожиданным напором вторгается в плоть русской поэзии, решительно утверждает свое присутствие.

Что же привлекло взоры к маленькой книжке (12 стихотворений), кроме самого факта конфискации?

Прежде всего, ее индивидуальность, необычность, «ниначтонепохожесть».

Дерзкая поэтика книги (как бы нарочито огрубленная лексика, синтаксис, ее метафорический лад, вернее «нелад», утяжеленная поступь стиха, неровное дыхание) усугублялась изощренным ярким оформлением. Под тем, первым, впечатлением от книги ее принято характеризовать и теперь как книгу «богохульных стихов, напечатанную церковно славянским шрифтом». Действительно, что можно подумать, прочитав на обложке молитвенное «Аллилуйя», а раскрыв книгу — название первого стихотворения «Нежить»?

Искусное и знаменитое оформление «Аллилуйи», исполненное братом Георгием Нарбутом при участии И. Я. Билибина и М. Я. Чемберс-Билибиной, подробно описано исследователем Нарбута-художника Платоном Белецким. Искусствовед находит в нем иронию, выраженную не только в «залихвастском» начертании действительно церковнославянских букв, заимствованных из Псалтыри начала XVIIIв., но и, что для нас особенно интересно, связь этой книги с украинским фольклором, в частности с богохульными (опять — богохульными! — *Н.Б., Н.П.*) пародиями на литургию, бытовавшими среди студентов Киево-Могилевской академии, так называемыми «шалопутскими молитвами» («Отче наш иже есть та вже ввесь; око на небі, око на землі... и т. д.) и с популярными народными картинами — «Казаки-мамаи», которые нередко строятся на контрасте изображения и подписи.

[1] Был исключен из университета (Роман Нарбут); «С 1906—1912 г. был в Петерб. ун-те (факультеты: математич., восточ. язык и филологич.), но последнего не кончил» (Анкета Венгерова).

Он считает книгу «Аллилуйя» «проделкой братьев-проказников», тем более, что к этому времени, лету 1912 г., относится и характеристика, данная молодому Владимиру Нарбуту в воспоминаниях его невестки В. П. Нарбут: «Володя Нарбут был энергичным и резвым юношей с большим юмором и элементами озорства, всегдашним зачинщиком всех историй»[1], тогда же он получил от девиц (сестер и соседок) прозвище «сатана».

«Может быть, и не без озорства»[2],— замечает в рецензии на эту книгу и Николай Гумилев, а в письме Анне Ахматовой, примерно тогда же: «Я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными»[3].

Но, главное, что находит Гумилев в этой книге,— полемический выпад против «эстетизма» первого поколения русских модернистов. «Их стихи,— пишет он,— пестрели красивыми, часто бессодержательными словами.〈...〉 М. Зенкевич и еще больше Владимир Нарбут возненавидели не только бессодержательные красивые слова,〈...〉 не только шаблонное изящество, но и всякое вообще. Их внимание привлекло все подлинно отверженное, слизь, грязь, копоть мира.〈...〉 Владимир Нарбут последователен до конца»[4].

Мотивы полемического противопоставления нарочито сниженной, эпатирующей «эстетики безобразного» преобладают и ныне в суждениях о поэтике Нарбута. С этим, конечно, нельзя не согласиться.

Но будь «Аллилуйя» только букет озорства и эпатажа, дышала бы и сегодня так живо эта давно музейная книга? Вряд ли... А она дышит.

Попробуем вглядеться в кричащий контраст всего облика или образа книги.

Да, мы найдем и в стихотворении «Пьяницы», на котором лопнуло терпение цензора, и в стихотворении «Архиерей», так напоминающем «Протодьякона» И. Е. Репина, и в «Шахтере», чем-то ассоциирующемся с «Кочегаром» Ярошенко, тот «почти передвижнический натурализм», который отметил Е. Шамурин в предисловии к известной антологии. Найдем мы здесь и клопов, и помойницы, и гири или дули (груши), вместо материнской груди, и раскоряку-бабу — все то, что называли физиологизмом Нарбута. Нако-

---

[1] Роман Нарбут.

[2] Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 151.

[3] См.: Из литературного наследия. Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев/ Публ. Э. Г. Герштейн// Новый мир. 1986. № 9. С. 220.

[4] Гумилев Н. Письма о русской поэзии. С. 151.

нец, найдем то ли девку, то ли ведьму-оборотня, растленную лесовиком. Должно быть, именно это стихотворение было квалифицировано как порнография. А Гумилев восклицает: «Галлюцинирующий реализм»!

Не найдем мы здесь только ни намеренного богохульства, ни даже языческого дохристианского пантеизма — того, что подтверждало бы слова Бориса Гусмана: «Вл. Нарбут слился с землей в одно неразрывное целое...(...)... и разве не к матери-земле взывает вся эта плоть?»[1]

Нет, не к земле, хоть настолько — от земли, что порой чуть ли не из трясины.

Но младенец (стих. «Нежить»), почти что в хлеву приподнявшийся над смрадом и объедками мира сего,— не богохульство и не язычество.

Эта «короткометражная» книжка, как бы скадрированная, в живом и остром монтаже, развернула на петербургском поэтическом экране картину украинского провинциального полусельского быта начала нашего века. «Хохлацкий» дух,— прочли мы в ноябрьской книжке журнала «Гиперборей» за 1912 г.,— давший русскому эпосу многое, до сих пор не имел представителя в русской лирике. Это место по праву принадлежит Владимиру Нарбуту»[2]. Рецензент (безымянный, возможно сам редактор — Лозинский) не называет Гоголя, но мы знаем, кто «дал русскому эпосу многое», узнаем его дух в поэтической палитре Нарбута. Правда, при всем темпераменте, сочности, плотности живописания нет в «Аллилуйе» праздничности раннего Гоголя, если не считать одного просвета — стихотворения с гоголевским эпиграфом «Горшечник», родословная которого идет не только от Гоголя, но и от популярнейшей народной украинской сказки «Горшеня» и от ближайшего Нарбуту быта (Глухов — один из прославленных центров гончарного ремесла). Нет в книге и гоголевской мягкости, элегичности его юмора, скорее — гротескная полемика с ней, как в стихотворении «Клубника» по отношению к «Старосветским помещикам». Преобладающий колорит «Аллилуйи», несмотря на всю яркость, мрачен, точнее даже — ярко высвеченный мрак. «Тяжесть недобрая» пока преобладает. Книга становится трагедийной от сочетания первого стихотворения с последним — «Упырь». Ребенок-упырь и ребенок льнянокудрый обрамляют эту маленькую трагедию, емко вмещающую, по-своему, совсем непохоже выраженное, блоковское предчувствие катастрофических перемен, концов и начал, в действительнос-

---

[1] Гусман Борис. 100 поэтов: Литературные портреты. 1923. С. 181.

[2] Гиперборей. 1912. № 2.

ти — состояние души всего российского общества той поры (при всех его противостояниях и борениях), состояние, не определяемое одним словом, но, по крайней мере, двумя — отчаяние и надежда.

Это-то и позволило нам предпослать разговору и об «Аллилуйе» слова Недоброво о душе, «бьющейся мучительно у границы».

Что же вдохновляло лирического героя «Аллилуйи» на это «религиозное действие»? Не богохульство, повторим, и не язычество. Духовный мир книги православный, в том неканоническом, народном его проявлении, с которым легко уживается так называемая «малая мифология», фольклорная демонология, тот «лес народных поверий и суеверий», о котором писал Блок[1]. Так триптих «Лихая тварь», одна из «грубоватых историй» этой книги,— не что иное, как типичная быличка, почти в точности воспроизводящая широко бытовавшие устные рассказы об интимных общениях с нечистой силой, об оборотнях и ведьмах.

Духовное равновесие, поэтическая гармония всей этой «грубой» книги, конечно, не вполне достигнуты. Но решительное стремление смятенной души обрести эту гармонию как раз и выражено в том контрасте, что «катит» в глаза» при первой встрече с книгой.

Самое название ее «Аллилуйя» не случайно. Это многократно повторяемое в молитвах, не всякому молящемуся понятное, поющееся слово переводится — «Слава Тебе, Боже!» — «с ангельского языка»,— объясняет Гумилев, ссылаясь при этом на протопопа Аввакума и возлагая ответственность на него[2]. Это не в связи с книгой Нарбута, а в статье «Анатомия стихотворения», где, между прочим, он рассматривает стихи православной молитвы и старообрядческой и видит в этом слове не только религиозный, но и поэтический смысл. Поэтичность этого музыкального, как бы колокольного, слова, притягивала не одного поэта. Юрий Олеша доказывал поэтичность Вертинского, повторяя его строчку «Аллилуйя, как синяя птица»[3]. Но Аллилуйя молитв связана и с дохристианским Лельо, сыном Ладина, нежным

---

[1] Блок А. Собрание сочинений. Л., 1934. Т. 11. С. 134.

[2] В действительности — с древнееврейского через греческий.

[3] Катаев Валентин. Алмазный мой венец// Новый мир. 1978. № 6. С. 65. К сожалению, у нас не так много источников, чтобы мы могли пренебречь неприятными нам. Тем более что В. П. Катаев в одном из последних интервью признался: «Я могу побрехивать как беллетрист, но в подробностях всегда точен» (Галанов Борис. Давайте мчать болтая...// Огонек. 1988. № 5. С. 23). Точная строка Вертинского «Аллилуйя — лиловая птица».

богом любви и веселья[1], и с «Ай-лю-ли», «Ой, ладо» русских обрядовых и необрядовых песен. Недаром так органически входят эти «ладо» и «лю-ли» в украинские рождественские колядования, щедривки. А в польской коляде совсем не кощунственно звучит: «лелум-леле, лелу-ли// с неба Ангелы сошли». Это как бы снова настраивает нас на игровой лад...

Но между ангельской синей птицей названия книги и нечистью и нечистой жизнью, громоздящейся на ее страницах, стоит эпиграф из псалма, прямо, декларативно, программно обнажающий ее главный, вовсе не озорной и не эпатажный смысл[2].

Потому не удивимся выводам «Гиперборея»: «Этот акмеистический реализм и это буйное жизнеутверждение придают всей поэзии Нарбута своеобразную силу. В корявых, но мощных образах заключается истинное противоядие против того вида эстетизма, который служит лишь прикрытием поэтического бессилия. Еще не во всех стихах Нарбута элементы его языка — малорусский, церковнославянский и современный русский (с явным устремлением к новым словообразованиям),— так же как и отдельные части картин, находятся в строгом и полном равновесии, но уже во многом явлено новое и смелое прекрасное и уже угадывается мастер, умеющий обуздать безудержность творящей силы»[3].

В манифесте «Утро акмеизма» Мандельштам называл символистов «плохими домоседами». «...они любили путешествия, но им было〈...〉 не по себе в клети своего организма»[4].

Нарбут не был «плохим домоседом». Все стихи, в изобилии публиковавшиеся до и после его возвращения в Петербург (в связи с амнистией по поводу 300-летия дома Романовых — в феврале 1913 г.), его миниатюрная, столь же дерзкая книга «Любовь и любовь», состоявшая из двух стихотворений: «Дурной» (позднее названное — «Порченый») и «Вдовец», закрепляли и развивали поэтический строй и смысл «Аллилуйи», настаивали на нем. Его статьи и рецензии (о Гумилеве, Городецком, Клюеве, Цветаевой, Мандельштаме и др.) отстаивали идеи акмеизма.

Не был он и «неблагодарным гостем» (см. «Утро акмеизма»). В стихах Нарбута об Абиссинии (Эфиопии), куда он отправился как бы (а может быть, и сознательно) по следам Гумилева, принято замечать прежде всего непохожесть на

---

[1] См.: Чулков М. Д. Словарь русских суеверий. СПб., 1782. С. 191.

[2] См. эпиграф к разделу «Аллилуйя».

[3] Гиперборей. 1912. № 2.

[4] Слово и культура. С. 169.

товарища по «Цеху»: «⟨...⟩ острый хохлацкий взгляд Нарбута увидел совсем другие черты, чем экзотик Гумилев,— прокаженных, которые:

Сидят на грудах обгорелых,
просовывая из рубашки,
узлами пальцев омертвелых
так тонко слизанные чашки»[1].

Ну, конечно, не похожи. Но суть-то ведь уже этого, первого из опубликованных стихотворений цикла, совсем в другом контрасте — в более зрелом и более глубинном, чем прежде у Нарбута, сочетании духовного и земного. Мы видим, что, уезжая в «слаборазвитую», как теперь бы сказали, страну, в прародину Пушкина, как помним всегда, Нарбут отправился в библейскую землю, на древнюю сцену сказаний Ветхого и Нового завета:

И притчится, что здесь когда-то
Сын Божий проходил, касаясь
сих прокаженных — и лохматой
тень ползала за ним косая.

Этот выход от первого, вызывающего, дерзостного выкрика акмеиста-неофита, когда еще прозренье ломит глаз, к более глубинным художественным и нравственным постижениям обнаруживается во многих пост«аллилуйных» стихах 1912—1914 г. («Одно влеченье слышать гам...», «Столяр», «Цедясь в разнеженной усладе...», «После грозы», «Бродяга»).

Поэтический успех не отвлек Нарбута от его второго призвания. В 1913 г. он становится, правда ненадолго, редактором-издателем петербургского журнала. Характерно, что название его «Новый журнал для всех».

«Судьба,— сказала Анна Ахматова о 10-х гг.,— отстригла вторую половину и выпустила при этом много крови»[2].

Шесть акмеистов уже никогда не собрались все вместе. Шуточная «резолюция» Городецкого на шутливом же «прошении» Ахматовой и Мандельштама о роспуске «Цеха Поэтов» (зимой 1913—1914 гг.) — «Всех повесить, а Ахматову заточить»[3] — обернулась зловещим пророчеством.

Владимир Нарбут эту вторую половину встретил на своей

---

[1] Зенкевич Мих. Культура (Саратов). 1922. № 1. С. 6.
[2] Мандрыкина Л. А. Из рукописного наследия А. А. Ахматовой// Нева. 1979, № 6. С. 199.
[3] Ахматова. Т. 2. Листки из дневника. С. 172.

«малой родине» — в Глухове и его окрестностях. Может быть, из-за войны или потому, что в 1914 г. женился на Нине Ивановне Лесенко, а в 1915-м у них родился сын Роман[1].

В ту пору Нарбут также интенсивно пишет стихи, хотя и жалуется в письме Зенкевичу, что муза его «большая соня»[2]. Его любовная лирика этих лет отличается все той же нетрадиционностью, уже пресловутой для Нарбута «грубостью», тем же образным напором, интенсивностью красок, но не так этнографична. Прежний, нисколько не утраченный, колорит осложняется широчайшими совмещениями разных культурных пластов. Муза Нарбута, вовсе не сонная, уже определенно заявившая себя, больше не нуждается в самоутверждении и свободнее, безграничней себя выражает.

В Глухове застала Нарбута и революция.

Его общественный темперамент определяет всю дальнейшую (и поэтическую) жизнь и судьбу, столь же противоречивую, сколь и прямолинейную.

Он член глуховской организации эсеров, редактор-издатель газеты «Глуховская жизнь». Над этим названием девизы: «Земля и воля» и «Свобода, равенство и братство».

Но уже 1 октября 1917 г. Владимир Нарбут подает заявление о выходе из партии эсеров и объявляет себя большевиком[3]. Свой неожиданный шаг он объясняет так: «Я всегда тяготел к левому крылу социалистов-революционеров и, каюсь, «даже» к большевикам», а затем упрекает глуховскую организацию эсеров в бездеятельности и в том, что в ее составе «фигурируют людишки очень и очень вправо стоящие»[4]. Из тех же «Известий...» мы узнаем и о связи Нарбута с глуховской казармой. Вместе с солдатами, «пользующимися популярностью среди гарнизона», он баллотировался в земство по списку «Социалистов-революционеров интернационалистов и большевиков»[5]. Газетный оппонент Нарбута считает, что список этот выдуман: «Как и полагается поэту, да еще футуристу, г. Нарбут одарен чрезвычайно живым воображе-

---

[1] Сообщено Т. Р. Романовой.

[2] Цит., по предисл. В. Лаврова к публикации Нарбута// Московский комсомолец. 1988. 1 июня.

[3] См.: Известия глуховского уездн. Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1917. 1 окт.

[4] Там же. 11 окт.

[5] Там же. 1 окт.

нием»[1]. Однако Нарбут был избран[2] и «последовательно отстаивал в Совете большевистские позиции»[3], был единственным на первых порах, кто после 25 октября требовал поддержки и осуществления декретов Советской власти в Глухове[4].

Вся дальнейшая жизнь Владимира Ивановича Нарбута не дает усомниться в искренности этого поступка, в том, что с тех пор и, может быть, до последних дней он связал свои изначально демократические и гуманистические идеалы с идеями большевизма. Они стали его новой верой.

Очень скоро за эту веру пришлось ему пострадать.

В январе 1918 г. газета «Глуховский вестник» среди городской хроники опубликовала сообщение: «В дер. Хохловка, Глуховской волости, в усадьбе Лесенко было совершено вооруженное нападение неизвестных злоумышленников на братьев Владимира Ивановича и Сергея Ивановича Нарбут и управляющего имением Миллера. Владимир Иванович Нарбут ранен выстрелом из револьвера. Ему ампутирована рука. Сергей Иванович Нарбут и Миллер убиты, жена Миллера ранена»[5].

Об этом «случае» Нарбут писал через год Зенкевичу: «(описывать его — крайне тяжело мне) потерял кисть левой руки и главное младшего брата»[6]. Но семейное предание сохранило подробности нападения «зеленых». Двухлетний сын Нарбута был здесь же. Нина Ивановна успела спрятать ребенка под кровать. А потом отвезла раненого мужа в больницу. Никто не сомневался, что нападение было политическим, покушались на Нарбута-большевика[7].

Гражданская война, на Украине особенно свирепая и кровавая, не двузначная («красные» — «белые»), многоликая (немцы, Деникин, Центральная Рада, Антанта, Петлюра, махновцы, другие), горячо поварила в своем котле Владимира Нарбута, несмотря на его инвалидность. Да он и сам

---

[1] Конечно, футуристом Нарбут никогда не был. Но, как водится, очевидно, многие неосведомленные читатели в ту пору всех нетрадиционных поэтов считали футуристами.

[2] Известия... 11 окт.

[3] История Городов и Сел Украинской ССР. Сумская обл., Киев, 1980. С. 231.

[4] Петров Г. Славные страницы// Красный луч (Сумы). 1981. 26 сент. (на укр. яз.).

[5] Вооруженное нападение// Глуховский вестник. 1918. № 2. С. 3.

[6] Письмо Нарбута Мих. Зенкевичу из Воронежа (копия в архиве Шкловского).

[7] Сообщено Т. Р. Романовой.

не желал считаться со своей инвалидностью. «Потеря руки сперва была очень неприятна, но потом я освоился, и — уже не так неудобно, как прежде. Ну будет об этом... тяжело...»[1]

Это из Воронежа. Туда Нарбут эвакуировался в марте 1918 г. перед немецкой оккупацией. («Жена и сын — на Украине, мать и сестра — в Тифлисе, брат Георгий 〈...〉 — в Киеве»)[2]. Он прожил меньше года в прифронтовом Воронеже («В городе — голодно и холодно, вдобавок — сыпной тиф. Короче говоря, дело дрянь, разруха»)[3]. Но оставил там до сих пор нестершийся след. Он стал сменным редактором «Известий воронежского губисполкома», вел в них еще и воскресную «Литературную неделю». Сотрудничал в нескольких других местных изданиях. Был одним из организаторов и председателем губернского Союза журналистов с его клубом «Железное перо». А сверх всего этого затеял и осуществил «Литературно-художественный двухнедельник» — журнал «Сирена».

Полетели письма Чулкову, Ремизову, Зенкевичу, Маяковскому... В них мелькает: «Не знаете ли вы адреса О. Э. Мандельштама?..», «Если встретите К. И. Чуковского?..», «Где теперь К. Бальмонт?..», «Присылай, ради бога больше стихов...», «Нельзя ли у вас купить хорошей журнальной бумаги...». Нарбут и сам дважды вырывается в Москву и в Питер. «Почти все были в разброде («все» — это писатели). Все же кое-что сколотил для «Сирены»[4].

«Кое-что» — это неопубликованные стихи Блока и Пастернака, Ахматовой, Орешина и Есенина, проза Замятина и Пильняка, Чапыгина и Шишкова... автограф Горького, приветствие журналу Луначарского. Он опубликовал главы из «России в письменах» Ремизова и первый манифест имажинистов. Он спас для нас «Утро акмеизма» Мандельштама[5].

Он выкупал рукописи, присланные наложенным платежом, добывал продуктовые пайки и разрешения отправлять их посылками в качестве гонораров, привлекал к

---

[1] Названное письмо Зенкевичу.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Из писем Зенкевичу, Чулкову и Ремизову (Цит. по архиву Шкловского и ст.: Крюков А. Редактор Владимир Нарбут// Подъем (Воронеж). 1987. № 11.

[5] Статья О. Мандельштама «Утро акмеизма» была написана им в 1913 г. для «Аполлона» как третий манифест, но отвергнута Гумилевым и Городецким. Мандельштам ее потерял. Она сохранилась у Нарбута и впервые была опубликована в «Сирене» (1919. № 4—5).

оформлению лучших графиков того времени — Чехонина, Митрохина, Фалилеева, Замирайло...

Нарбут оказался не только талантливым журналистом, но и прирожденным организатором. И это тоже во многом определило его судьбу[1].

А пока — тонкий провинциальный журнал (и вышло-то всего три книжки) сфокусировал литературно-художественную жизнь России 1918 г., собрал на своих страницах виднейших писателей, поэтов, художников, разбросанных по стране и войне.

Программа «Пролетарского двухнедельника», конечно, совершенно убежденно снабженного таким подзаголовком, в духе классовых чаяний своего времени, однако, решительно и даже полемически противостояла пролеткультуту,— воинственно претендовавшему тогда на политическое и нравственно-эстетическое господство: «〈...〉 было бы преступлением: вырвать из рук рабочих масс наследство, оставленное ему художниками слова, только на том основании, что эти последние — из среды буржуазной интеллигенции. И было бы вдвойне преступлением: решать вопрос о новом искусстве столь примитивным способом, как косный отказ от всех тех плодов искусства, которые готовы нести широкому читателю талантливые писатели наших дней»[2].

В конце января 1919 г. Нарбута отзывают в освобожденный Киев «для ведения ответственной работы». И там — в журналах «Зори», «Солнце труда», «Красный офицер» он стремится осуществить ту же программу, надеется продолжить здесь издание «Сирены». Но уже летом Киев занимают деникинские войска.

В эти дни, как в канун предыдущего года, Владимир Нарбут оказался перед лицом смерти. Пробираясь из Киева к красным через Екатеринослав и Ростов-на-Дону, он был схвачен контрразведкой, приговорен к казни и вынужден подписать отказ от своей большевистской деятельности. Но отбитый из тюрьмы конницей Думенко, конечно, сейчас же к этой деятельности возвращается[3] — в Полтаве, Николаеве, Херсоне, Запорожье...

---

[1] Деятельность Нарбута — редактора «Сирены» подробнее описана в названной статье А. Крюкова. Там же публикуются полностью цитируемые нами письма. См. также: Л а с у н с к и й Олег. Литературная прогулка по Воронежу. Воронеж, 1985. С. 149—152.

[2] Сирена. 1918. № 2 — 3.

[3] См.: Ш а л а м о в Варлам. Двадцатые годы// Юность. 1987. № 11; Ч е р т к о в Л. Судьба Владимира Нарбута// Владимир Нарбут: Избранные стихи. Paris, 1983; О к с м а н Ю. Г. Письмо Г. П. Струве// Stanford Slavis Stanford, 1987. V. 17

Наконец, с мая 1920 г. в освобожденной Одессе его политическая работа принимает гигантский размах. Здесь он заведует ЮгРОСТА (южным отделением Всеукраинского бюро Российского Телеграфного Агентства, позднее переименованного в ОдУкРОСТА — одесское отделение)[1], отсюда выезжает в ноябре 1920 г. в Крым для организации там печати[2]. А в 1921 г. переезжает в Харьков — столицу республики — директором РАТАУ (Радио-телеграфного агентства Украины).

Нарбут реорганизует работу ЮгРОСТА. Прежде всего привлекает в нее самую талантливую творческую молодежь Одессы — поэтов, прозаиков, журналистов, художников. Бабеля, Багрицкого, Олешу, Катаева, Кольцова, Славина, Бондарина, Ильфа, Инбер, Шишову, Адалис, Бориса Ефимова — всех, кто потом проявил себя в советской культуре 30-х годов. Все работали на ЮгРОСТА. Плакаты, аналогичные московским «Окнам» сатиры Маяковского, в Одессе «пользовались,— по выражению Нарбута,— рамой из шумных перекрестков и площадей»[3], крупноформатная газета «ЮгРОСТА» расклеивалась в виде афиш. Конечно, он создает литературно-художественный журнал — «Лава». А затем и сатирический — «Облава». По всему городу, в центре, на Молдаванке, Пересыпи, в порту, в области — открываются агитационно-информационные центры — «Залы депеш», с устными, экранными, телефонными газетами, летучими концертами, поэтическими вечерами. Литературный кружок — мы уже назвали его участников — «Коллектив поэтов» выступает с «Устными сборниками», целыми поэтическими спектаклями — в столовых, расположившихся на месте бывших фешенебельных кафе, а затем и в особом поэтическом кафе «Пэон IV».

Этот напор, масштабность выражают не только время действия, но и натуру самого Владимира Нарбута, в чем-то напоминают его стихи.

---

[1] Подробно о деятельности Нарбута в Одессе см.: Берловская Л. В. Владимир Нарбут в Одессе// Русская литература. 1982. № 3. Часть сведений, сообщаемых нами, почерпнута из этой работы (В дальнейшем — Берловская).

[2] «В ноябре 1920 г. отец уехал на «дрянненьком» пароходике в Крым с Шенгели организовать печать по распоряжению Губкома РКП(б) г. Одессы. Это было очень рискованное предприятие, т. к. Крым кишел белогвардейщиной. Печать В. И. все же в Крыму организовал». (Роман Нарбут).

[3] Отчет Нарбута. Одесский Областной Государственный архив (ГАОО), ф. 99, оп. 1, ед. хр. 588, л. 26. Цит. по Берловской. С. 198.

Что ж, ведь 15 мая 1918 г. в Одессе появился не только политработник Нарбут, но и Владимир Нарбут-поэт, знаменитый акмеист, уже известный местной литературной молодежи, главным образом через начитанного Багрицкого. Он вошел в их поэтическую жизнь и возглавил ее не столько как работодатель, обеспечивший куском хлеба и трибуной,— что, впрочем, было немаловажно, но и как старший товарищ по цеху. Посмотрим на Нарбута глазами одного из них:

«...На сцену вышел поэт Владимир Нарбут,— это вспоминает Константин Паустовский,— сухорукий человек с умным, желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его. Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом:

А я трухлявая колода,
Годами выветренный гроб...

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:

Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить.

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина...»[1]

То была пора, быть может, самой интенсивной поэтической жизни Владимира Нарбута. Он публиковался в периодике многих городов Украины. Между 1919-м и 1922 г. вышло 9 его книг.

Многозвучный, широкий поток поэзии Нарбута в периодике этих лет и в книгах отчетливо обнаруживал три струи,— обособленных, хоть и не чуждых друг другу.

Первая — «рабочая», агитационная,— прямые лозунговые стихи-призывы, связанные с потребой войны, политики, «злобой» дня, стихи-однодневки. Нарбут, видимо, так и смотрел на них — ни одно не включил в итоговую книгу 1936 г. Но и в них проступают черты его неординарности. Чего стоит хотя бы врывающееся в праздничное стихотворение «1 мая» трагическое звучание: «знамена кровью не горят,// и гаснет серп// и меркнет молот.// Идет, кладет за рядом ряд// скелетов человечьих голод», и так до последней строки.

Вторая струя — настойчивое утверждение Нарбутом своих дореволюционных стихов. Вопреки бытующему до сих

---

[1] Паустовский К. Собрание сочинений. М., 1968. Т. 5. С. 153

пор суждению, что Нарбут «отошел от эстетических принципов акмеизма», он переиздает «Аллилуйю». Хотел сделать это еще в Киеве 1919 г., но не успел и осуществил в Одессе, в 1922-м. А в 1920-м собирает книгу «Плоть».

Зенкевич из Саратова в рецензии на эту книгу, приветствуя ее и горячо рекомендуя читателю, сетует, что «она вся составлена из стихов 1913—1914 годов»[1]. Но «Аллилуйя» и «Плоть» 20-х гг. собрали нам Нарбута-акмеиста 10-х. А быт в «Плоти» полней, многообразней, даже порой и страшней, чем в «Аллилуйе». Но и воздуха, света здесь больше. «Горшечник» уже не так одинок и в этой книге. И, может быть, ключевым следует считать в «Плоти» стихотворение «Столяр», где простое ремесло возвышается до духовного подвига.

Но и тут (как два ребенка в «Аллилуйе») антиномично-парным к этим стихам становится стихотворение «Пасхальная жертва», где в привычной уже «эстетике безобразного» описывается откорм животных к трапезе Великого Воскресенья с неожиданной, кажется, но прямой параллелью: «Молчите, твари! И меня прикончит, по рукоять вогнав клинок тоска», когда ⟨или тогда!⟩ Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец». Стихотворение это, впервые опубликованное в 1919 г., написано в 1913-м. В нем сконцентрированы трагические предчувствия, окрасившие «Аллилуйю».

Вопреки современным ему и будущим критикам, Нарбут, как видим, не считает, что «акмеизм не в состоянии проложить новые пути в поэзии». Он не ощущает «несродность своего стиля большим духовным запросам современности». Но переиздает свои прежние стихи. Уверенно ведет их в новое время. Публикует в «Сирене» «Утро акмеизма» Мандельштама. Радуется встрече с ним в Киеве, 1919 г. И позже, вспоминает Н. Я. Мандельштам, уже в Москве, в 1922-м настойчиво предлагал Мандельштаму воскресить акмеизм «в обновленном, конечно, виде»[2], привлечь к нему Бабеля, Багрицкого...

А. Крюков предполагает, что во время своей поездки из Воронежа в Москву Нарбут мог повидаться с Ахматовой, которая жила тогда в третьем Зачатьевском («переулочек, переул...»). У этого предположения убедительные основания. Хочется даже верить, что стихотворение Нарбута «Зачем ты говоришь раной...» обращено к Ахматовой. Он публикует его в «Сирене» № 2—3, вслед за новыми стихами Ахма-

---

[1] Зенкевич Мих. Культура (Саратов). 1922. № 1. С. 6.
[2] Н. Мандельштам-II. С. 62

товой и ставит под ним дату 1918, помечая: «Москва». «Мы разно поем о чуде,// Но голосом человечьим,— говорит он в этом стихотворении.— Ужели бессмертия ищем// мы, тихие и земные? — вопрошает он.— И сыростию тумана// ужели смыть невозможно// с проклятой жизни румяна// и весь наш позор острожный?» В этих строках много ахматовского, слышится ее голос — эхо негромкого, может быть, недолгого, но большого разговора.

То было стихотворение уже третьей, наиболее живой в те годы, струи поэзии Нарбута — его новая лирика. Именно большим лиризмом отличались новые, и похожие и не вовсе непохожие на прежнего Нарбута, строфы.

Его первые послереволюционные стихи появились в «Сирене». Прежде всего — «Россия», строка которого («Россия Разина и Ленина») и в годы забвения сохранилась, осталась при его имени как некий опознавательный знак. Пришло место вспомнить эту строфу целиком:

Щедроты сердца не разменяны,
И хлеб — все те же пять хлебов,
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов.

В этом контексте известная всем строка прочитывается все-таки не как повторение действительно расхожей в те годы параллели, упрощенно символизирующей народность свершившейся революции. Вольно или невольно эта строка полемична тут тривиальному образу. Ведь огненные столбы (столпы) Библии — не бушующий пожар стихийной войны. Это Божественный свет, путеводный, на тяжком, долгом, далеко не безоблачном и не безропотном исходе народа из рабства в землю обетованную, но неведомую. Это — в Ветхом завете (и в стихотворении — «а завтра... веки чуть приподняты// но мглою даль заметена»). А в Апокалипсисе: «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные». И радуга, и обетованная страна — есть в этом стихотворении, написанном всего-то лишь как заставка к первому номеру «пролетарского еженедельника», как поэтическая иллюстрация к замечательной обложке Чехонина. Да, на этот раз стихи иллюстрируют рисунок. Иначе нельзя понять странную концовку: «Ах, с розой девушка — Сегодня! — Ты// Обетованная страна». Эту девушку в красном плаще, не с пятью хлебами — с рогом изобилия, рассыпающую розы на фоне традиционных фабричных труб, находим мы на обложке «Сирены». Но в стихах Нарбута нет той ликующей праздничности, высокой наивности

графики и прикладного искусства, тех лет, которой так занимательно любоваться нам на музейных тарелках. Они прекрасны. Но поэт (или его муза, внятней, чем он сам?) ведает, что «книжка», принятая из рук Ангела, в следующих стихах Апокалипсиса: «в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем».

Стихотворение «Россия» открывает не только «Сирену», но несколько лет лирики Нарбута, рожденной «в огне» (так названо одно из стихотворений) гражданской войны, в ее «оврагах», так часто вместо прежней «земли» противостоящих в этих стихах «небу». В них прежний сплав «низкого» с «высоким», прежнее соитие чаяний с отчаянием, разных стилистических и языковых пластов — от библейского до селянского. Но все это оплавлено тяжким личным опытом «не читкой» — «гибелью всерьез». Иногда этот опыт выходит на поверхность, но чаще поднимается до обобщенных постижений. Так решен, например, цикл «Большевик». Олеша воскликнул о нем в своем эссе: «Это стихотворение вообще великолепно!», и именно это стихотворение цитирует Паустовский, вспоминая, как врывается в «угрюмые строчки щемящая нежность». Цикл действительно поражает своей собственно-поэтической прелестью. Но не менее значительно непротивостояние нового мировоззрения Нарбута прежнему мировосприятию поэта, его прежним нравственным и эстетическим идеалам. Библейские образы Нарбута — не дань отвлеченному торжественному космизму, так распространенному в пролетарской поэтике тех лет (хотя это есть и у него в иных стихах, особенно агитках). Но чаще, как в этом цикле (или, может быть, маленькой поэме), мы видим восторги и муки смертной души в круговороте событий чуть ли ни апокалипсических. И «не упоение в бою...» вычитывается в контексте стихотворения «В огне!», а то, что теперь называется «окопная правда». А на самом деле — просто правда. Трагическая правда братоубийственной войны — во многих стихах (цикл «Семнадцатый», «Чека», «В эти дни» и др.), собранных Нарбутом в книги «Советская земля» и «В огненных столбах». Позднее он хотел сложить их в книгу «Комиссары и комиссарши»...

Есть и еще одна черта поэзии этих лет — признак истинного поэта и нравственно глубокой личности — принятие ответственности на себя: не поделить свою вину на всех, а самому разделить общую вину. Мотив этот, иногда прямо звучащий (стихотворение «Совесть»), с неменьшей силой выражен в стихах, написанных под впечатлением смерти Александра Блока.

Похоже, что тяжкая, по-нарбутовски «натуралистическая» картина смертного одра поэта написана с натуры,

что Нарбут был в этой комнате перед отпеванием, так буквально совпадают эти стихотворные строки с описаниями очевидцев[1]. Но неожиданный конец с «гранатовым браслетом», с «чиновником Желтковым» из повести Куприна уже толкает к сопоставлению не «описаний» (похоже — непохоже), но строк поэта со «словами души» последних страниц купринской повести: «Жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мученья и смерть.〈...〉 Да святится имя твое», «Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. Да святится имя твое»[2]. Внезапность финала обратной связью обращает к центральным строкам стихотворения: «Узнать, догадаться о твоем// Всегда задыхающемся сердце.// Оно задохнулось!!!», к строкам о «веке-погорельце» и об «облике извечном».

Похоже, что Нарбут был в эти дни в Петрограде. Корнелий Зелинский вспоминает, что Нарбут «привез в Харьков изящную книжку Н. Гумилева «Огненный столп», только что выпущенную издательством «Петрополис». В. Нарбут вынул из ящика письменного стола и показал также книжку своих стихов под названием «В огненных столбах», изданную за год до гумилевской в Одессе Губиздатом. «Нам всем гореть огненными столпами,— сказал он мне.— Но какой ветер развеет наш пепел?»[3]

Не просто оспорить критиков, считающих, что эти две книги как бы полемизировали, противостояли друг другу. Нельзя не согласиться, что акмеизм понес существенные потери от политического размежевания. Но так ли уж глубоко было противостояние этих поэтических «огненных столпов»? И не сближало ли их главное: стихи уже не только предчувствий, канунов, но сбывающейся страшной судьбы?

Гумилев был расстрелян уже в том же, 1921 г. Нарбут вышел из гражданской войны, потеряв руку и двух братьев (Георгий умер в Киеве двадцатого года), навсегда разлучась с женой и сыном.

Но в те годы настигла его и большая (и непростая) любовь. В 1922 г. он женился на Серафиме Густавовне Суок. Эта любовь и женитьба уже сужены-пересужены (в частности, в упомянутой книге «друга»). Здесь повторим

---

[1] См.: Берберова. Н. Курсив мой// Октябрь. 1988. № 10. С. 170.

[2] Куприн А. Сочинения. Т. 3. С. 166.

[3] Зелинский Корнелий. На рубеже двух эпох: Литературные встречи. 1917—1920. М., 1962. С. 17.

только известную реплику из драмы Льва Толстого: «...Живут три человека... Между ними сложные отношения... борьба добра со злом, такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете...»

В 1922 г. Владимир Иванович Нарбут переведен в Москву. Он стал, как тогда говорили, «ответственным работником» отдела печати ЦК РКП(б). Организовал и возглавил одно из крупнейших художественных издательств (акционерное общество) «Земля и фабрика» (ЗиФ), редактировал популярнейшие журналы «30 дней», «Вокруг света» с приложениями «Всемирный следопыт» и «Всемирный турист», был организатором новых форм книготорговли, участия читателей в издательском и особенно журнальном процессе. Везде дело было поставлено с присущим Нарбуту, и, конечно, еще большим, чем на Украине, размахом. Подписные издания классиков и современных писателей, публикации новых работ литераторов, не только живущих в России, но и эмигрантов, журнальная публицистика, борющаяся за сохранение традиций и памятников культуры, печатавшая историко-архивные материалы... Журнально-издательская деятельность Нарбута ждет еще своей справедливой оценки и глубокого исследования.

«Вы — собиратель литературы Земли Союзной»,— писал Нарбуту Серафимович в 1927 г.[1]

Но наступило уже время не собирания — разбрасывания...

Принято считать, что с 1922 года Нарбут внезапно перестает писать, отдавшись целиком партийной и литературно-организационной работе.

Это неверно.

Действительно, стихи Нарбута после 1922 года перестают появляться в журналах. И ни одной книги больше не вышло. Хотя как поэт он все еще популярен:

Чтобы кровь текла, а не стихи,
С Нарбута отрубленной руки,—

пишет Николай Асеев в стихотворном послании Гастеву. Михаил Зенкевич из книги в книгу переносит стихи, в которых сожалеет и как бы упрекает Нарбута в молчании:

Свершу самоубийство, если я
На миг поверю, что с тобой
Расстаться можно так, поэзия,
Как сделал Нарбут и Рембо!..

---

[1] Письмо А. С. Серафимовича Нарбуту. Архив ИМЛИ, ф. 57, оп. 1, ед. хр. 32.

На самом же деле Нарбут не расстался в те годы с поэзией.

В 1925 г. он собрал новый сборник стихов «Казненный Серафим». Совершенно новых, не вошедших в прежние его книги. Сборник был подготовлен им к печати и никогда не издан. «Пролежал у Воронского»,— пишет сын поэта Роман Владимирович. Если так, то речь идет об издательстве «Круг»[1].

Жаль. Эта книга новый шаг к поэтическим постижениям поэта. Снова «мучительно бьется душа у границы». На этот раз — как бы оглядываясь, словно желая понять, рассмотреть, может быть пересмотреть уже пройденное — содеянное, свершенное, незавершенное...

Незавершенность — может быть, главное чувство, владеющее и героем, и читателем книги, которая могла бы стать первой на новом зрелом пути поэта.

Снова острое, парадоксальное, нарбутовское название — «Казненный Серафим». Кто-нибудь скажет — «кощунственное». «Не без озорства»,— вспомним мы сказанное когда-то. И, может быть, не без присутствия имени женщины. На первый взгляд книга кажется собранием только любовной лирики. Но земная любовь, действительно переполняющая собой эти стихи, так слита со всей полнотой жизни — и с духовной алчбой, и работой души, что нельзя не вспомнить, что́ значит в христианской философии Серафим и что́ значит он после Пушкина для русского поэта. Нельзя не вспомнить и Ангела с книжкой из Апокалипсиса, уже являвшегося в «Огненных столпах» двух поэтов.

Все, уже известные, элементы поэтики Нарбута, все извечные мотивы его поэзии налицо в этой книге, чуть ли не нарочито упрощенно выстроенной как бы в автобиографическом сюжете и четко поделенной на разделы: «На рассвете праведником», «Казнь», «После гибели». Но насколько стихи в этом сборнике сложнее прежних!

Ахматова как-то заметила, говоря о Пастернаке: «Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я — наоборот». То же движение от простого к более сложному известно у Мандельштама.

Полтора десятилетия (при активной жизни поэта) почивала в его столе готовая к печати и неизданная книга. Есть в его рукописи и стихи явно 30-х гг. Особенно значительно одно из сохранившихся — «Ты что же камешком бросаешься...». Оно не датировано, но есть в нем

---

[1] Другие считают, что книга была собрана в 1922 г. (Л. Чертков), в 1928 (М. Зенкевич).

реалии времени. На рукописи нет посвящения, но Леонид Чертков, работавший над наследием Нарбута вместе с С. Г. Шкловской и Мих. Зенкевичем, утверждает в своем предисловии, что стихотворение посвящено Осипу Мандельштаму. Это стихотворение, не включенное в книгу «Казненный Серафим», нельзя прочесть, не зная той книги. Между тем Нарбут, видимо, не настаивает на издании «Казненного Серафима». Напечатав одно-два стихотворения из нее на Украине, он, кажется, не предлагал остальные для публикации. Иначе не бытовало бы даже среди ближайших друзей мнение, что он «Расстался навсегда с поэзией».

В чем же дело? Некоторые биографы считают, что усложнение — «непонятность для массового читателя» как бы испугала, остановила Нарбута. Есть эпизод, вроде бы подтверждающий это. В 1923 г., редакцией харьковского еженедельника «Календарь искусств», опубликовавшего стихотворение «Белье», было получено «несколько писем от читателей с просьбой «разъяснить непонятные стихи».

Ответ Нарбута раздраженно-иронический, он нарочито примитивизирует свое стихотворение, разъясняя по пунктам: «1) Распотрошенное помещичье гнездо — теперь совхоз, 2) Призрак феодализма — глупый селезень» и т. д. в том же духе и резюмирует: «Такова диалектика этого стихотворения» (Из книги «Казненный Серафим», напомним мы). «Оно — более чем понятно и, пожалуй, даже примитивно. В. Нарбут». Ответ самой редакции серьезней. Она считает, «что комментарий к стихотворению (даже «непонятному»), вещь более чем странная...»[1]

Трудно все-таки представить себе, что проблема большей или меньшей доходчивости того или иного стихотворения могла остановить или замедлить перо поэта.

Заметнее, при встрече с неизвестной нам ранее книгой «Казненный Серафим», что именно в эти 20-е годы разыгрался и, может быть, уже раздирал душу внутренний конфликт (хотя трудно сказать, насколько осознан он был самим автором книги) — духовная и нравственная несовместимость между его поэтическим мировосприятием и той нараставшей политикой государственного культурного нигилизма, в которой по роду своей партийной и литературно-организаторской работы должен был участвовать Владимир Иванович Нарбут. Впрочем, скоро оборвалась и эта деятельность.

---

[1] См.: Календарь искусств. 1923. № 2, 4.

В 1928 г. Нарбут был исключен из партии. «За сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием на юге во время белогвардейской оккупации»,— сообщено в «Литературной энциклопедии» 1934 года. За факты, «порочащие его как члена партии»,— вспоминает официальную формулировку Варлам Шаламов, читавший газеты летом 1928 года. Если суммировать фрагменты воспоминаний современников, немалую роль в его «персональном деле» сыграл конфликт с Воронским. Насколько принципиальна была их «борьба», трудно сегодня сказать. Но методы ее выражают политизированный дух литературных дискуссий тех лет. Вспоминают, что Нарбут подал в ЦК заявление с обвинением Воронского в недопустимых формах полемики. В ответ Воронский раздобыл из-за границы документ, подписанный Нарбутом в деникинском застенке 1919 года. Поздно судить их. Через несколько лет оба погибли.

А пока Нарбут был исключен из партии, из руководства издательством и журналами. Но еще не из жизни.

Она продолжалась непросто. Владимир Иванович стал, как и многие лучшие поэты тех лет, литературным «разнорабочим» — случайные переводы, составление каких-то сборников, даже справочников, и не поставленные либретто, не ставшие кинофильмами сценарии...

Новые стихи стали появляться в 1933—1934 годах. Но что-то уже надломилось. Навсегда ли? Наверное, никогда не узнаем. Увлечение входившей тогда в творческую моду так называемой «научной поэзией» не обогатило наследие Нарбута. Он пробовал себя в этом жанре не один. Это было довольно широкое движение — с теориями, дискуссиями, афишными вечерами. В общем, вполне объяснимое в пору, когда духовная жизнь не включала науку, а подменялась псевдонаукой. Мы же увидим в разделе «Под микроскопом», как не давались поэту эти, по-видимому, простодушно заданные себе стихи. Как мучаются эти вирши своей совсем негармоничной (ненарбутовской) громоздкостью, не поэтическим — гладким натурализмом (уже без кавычек), растянутостью. И, может быть, наиболее интересно — как иногда стихийно пробивают эту «научность» редкие лирические прорывы поэта.

Отлученный от издательских дел, Нарбут тосковал. «Помню рассказ Нади,— вспоминает Э. Г. Герштейн,— о том, как накануне Нарбут весь вечер говорил о стремительном развитии индустрии Японии, и чувствовалось,

что у него, по выражению Нади, «мурашки по спине бегают, так он рвался к большому делу»[1].

Но все-таки жизнь, казалось, постепенно налаживалась. Уже между стихами «социального заказа» появлялась среди его рукописей тех лет, а то и в журнале и настоящая лирика Владимира Нарбута («Перепелиный ток»). Нарбут вступает в основанный тогда Союз писателей СССР, в члены кооперативного издательства «Советский писатель».

Были и друзья. Молодые — Багрицкий, почти ученик и родственник (три сестры Суок замужем за Багрицким, Олешей и Нарбутом), и, главное, друзья старые: неизменный Михаил Зенкевич, работавший с ним и в ЗиФе; Мандельштам, впервые в жизни получивший квартиру. В Нащокинском переулке, совсем рядом с Нарбутом, жившим на Пречистенке, в Курсовом. В те дни он почти каждый вечер бывал у Мандельштама. Сюда приезжала из Ленинграда и Анна Андреевна Ахматова. Жила на раскладушке в будущей еще необорудованной кухне. «Что вы валяетесь как чудище в своем капище?» — дразнил ее Нарбут. «Так кухня стала капищем»,— это воспоминания Н. Я. Мандельштам [2]. «О. Э. дружба была необходима. 〈...〉 Из тех, кого я встречал у Мандельштама 〈...〉 ближе других, пожалуй, был В. И. Нарбут» — так думает тоже близкий друг Мандельштама тех лет ученый Б. С. Кузин[3].

Шел 1934 г.

13 мая увели Мандельштама.

Багрицкий умер в феврале. Своей смертью. Можно было еще его издавать. Нарбут собрал и отредактировал альманах «Эдуард Багрицкий». Начал работать над собранием его сочинений.

Сложил и свою книгу — «Спираль». Задуманную как избранное. В ней были стихи его основных книг от «Аллилуйи» до «Александры Павловны». Но не все. И почти не было стихов из «Казненного Серафима». А главное — старые стихи здесь сильно искажены, замучены. Задыхающиеся стихи втискивались в прокрустово ложе мертвецких догм, ложных этических представлений, господствовавших в те годы. Правда, мы не знаем, что представляет собой машинописный экземпляр, сохранившийся у вдовы поэта,— сам ли терзал Нарбут свои стихи или редакторы

---

[1] Герштейн Эмма. Новое о Мандельштаме. Париж: Атенеум, 1986. С. 74. Надя — Н. Я. Мандельштам.

[2] Мандельштам Н. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970. С. 8 (В дальнейшем — Н. Мандельштам-I).

[3] Кузин Б. С. Об О. Э. Мандельштаме// Вопр. истории, естествознания и техники. 1987. № 3. С. 142.

водили его рукой. Скорее всего, было в этой работе и то и другое. Правда и то, что стихи сопротивлялись. Живое, прежнее, нарбутовское торчало то там, то тут, «пёрло» как сказал бы он сам, где только могло. Такая полуживая книга ушла в набор. Таким после пятнадцатилетней разлуки предстояло вернуться поэту к читателю.

Но пришла ночь с 26-го на 27 октября 1936 г. В квартире № 17 дома 15 по Курсовому переулку случилось то, что во многих квартирах в ту и другие ночи тех лет.

Об этой ночи расскажем не мы — Серафима Густавовна Нарбут. Это запись ее рукой, сделанная в 1940 г. карандашом в школьной тетрадке без обложки:

«Стук в дверь. Проснулся Володя, разбудил меня. Кто там? Проверка паспортов!! Что-то натянули на себя, открыли дверь: человек в форме НКВД, штатский, Костя[1]. Даю свой паспорт, не смотрят.— Обращается (в форме НКВД) к Володе: — Ваш! У меня закрываются глаза от желания спать, опять разговор с Володей перед сном — неприятный, что мы должны разойтись.— Вижу Володя дает свой паспорт, и ему протягивают бумажку.

Все прошло — сон, нехорошие мысли, лень — покажите мне!

— Он видел.

Мама? — Ордер на обыск и арест.

С этого дня — 26 октября (27-го) кончилась одна жизнь — и началась другая. Всему был конец.

Тогда я этого не понимала. Я как во сне, честное слово, как во сне шла к Лиде в 5 ч. утра после обыска, без мыслей, тупо бежала по улицам рассказать о чудовищном сне — Володю арестовали.

Уходя он вернулся — поцеловал меня. Заплакал — я видела последний раз его, покачался смешной его походкой на левый бок, спину в длинном синем пальто. И все...»[2]

Потом было то, что сегодня младшие знают из «Реквиема» Ахматовой, старшие — помнят. Стояние в очередях на Кузнецком, 24 и под стенами тюрем с передачами. Отказы в свиданиях. Ожидание приговора.

Еще одна запись С. Г. Нарбут: «25 июля[3] мне сказали приговор — 5 лет. Шла по лестнице, мне стало плохо — я упала». Лида, сестра, вдова чтимого поэта Багриц-

---

[1] Костя — неизвестно кто. Из контекста понятно, что — знакомый понятой, может быть, управдом, дворник или сосед.

[2] Архив Шкловского.

[3] 1937 г.

кого, пыталась его именем спасти Нарбута, требуя «правды» и «справедливости». Ее арестовали[1].

А потом были письма — редкое, мало кому выпадавшее счастье.

Сохранилось 11 писем и телеграмма Владимира Ивановича Нарбута из пересыльного лагеря во Владивостоке и с Колымы. И на отвороте каждого конверта поэт писал (обязан был написать): «Нарбут, Владимир Иванович (транзитная командировка, 3-я рота, 2-я зона, 2 барак). Осужден Особым Совещанием в Москве «за К.Р.Д.» на 5 лет исправительного лагеря». Мы теперь грамотные, знаем, что «К.Р.Д.» — «контрреволюционная деятельность» и что пять лет много лучше, чем «десять без права переписки»...

Хватит. Рассуждать об этих письмах нецеломудренно. Их тяжко читать. Но и неловко. Это не воспоминания, обращенные к нам,— интимные письма к далекой любимой женщине, проходившие обязательно через руки и глаза тюремщиков.

Но и нельзя не прочесть их — это последние вести, еще живой голос неуклонно бредущего к своей гибели поэта.

Потому мы прилагаем их к книге стихов. Читайте их сами, наедине с поэтом. Напомним только еще раз, что это не мемуары. Многое недосказывается в них. Приходится дорисовывать, додумывать, доосмысливать. Ныне это не трудно. Помогает описанное выжившими. Так, в рассказе народного артиста СССР Жженова «Саночки»[2] вы узнаете один из лагерей («командировку»), названный в письме Нарбута — Стан Оротукан...

Есть в одном из писем и стихи. Четыре строки. А упоминается о шести стихотворениях, «выношенных устно», «сложившихся в голове». Они не дошли до нас.

Но в тех последних четырех строках, обращенных к музе: «И тебе не надоело ⟨...⟩ ждать,// когда сутулый поднимусь я,// как тому назад годов четырнадцать...»

Четырнадцать лет от 37-го (а может быть, 36-го — стихи написаны еще в тюрьме) — это 1922-й или 1923 г. Значит, все-таки «Казненный Серафим» завещан нам поэтом. Хочется так считать.

Письмо 9 марта 1938 года из Стана Оротукан — последнее. Оно получено Серафимой Густавовной 28 мая...

2 октября Сева Багрицкий (одинокий подросток, убитый на Отечественной), вложив в посылку Нарбуту на Колыму меховую шапку отца, пишет матери в лагерь: «Мамочка, Сима знает о Владимире Ивановиче столько же, сколько

[1] См.: Бондарин С. Судьбы и стихи// Лит. Россия. 1965. 5 февр.

[2] Огонек. 1988. № 5

знаешь ты или я. Говоря прямо, ничего не известно. От него никаких известий больше не приходит». А эпиграфом к своему письму ставит четыре строки: «И тебе не надоело, Муза...» — и подписывает их «Владимир Нарбут», видимо, сознательно отделяя стихи из лагерного письма от сообщения о Владимире Ивановиче без фамилии и вынеся их в эпиграф, словно давно известную цитату. Этот листок, сохраненный матерью и изданный в собранной ею и Е. Г. Боннэр книге «Всеволод Багрицкий. Дневники. Письма. Стихи»[1] — тоже не нынешнее воспоминание, а письмо того времени. Потому трудно было углядеть читателю, что в маленькой посмертной книжке Всеволода Багрицкого состоялась первая публикация последних строк Нарбута.

Потом были слухи, легенды, как о многих канувших узниках...

2 июня 1940 г. С. Г. Нарбут записывает: «Мне сказали, что ты утонул. Верю и не верю. Не могу...»

27 октября того же года она получила очередной отказ на свою просьбу о пересмотре его дела[2]. По нормальной логике надо было поверить, что он жив.

После реабилитации пришла справка из магаданского загса: « Гр. Нарбут Владимир Иванович умер 15 ноября 1944 г. Причина смерти — упадок сердечной деятельности, о чем в книге записей актов гражданского состояния о смерти 1956 года октября месяца 16 числа произведена соответствующая запись». Эта дата (записи в книге) совпадает с датой выдачи справки. В графе «место смерти» — прочерк. Трудно верить такому документу.

И С. Г. Нарбут считала: «трагически погиб в марте 1938».

«Про него говорят, что ⟨...⟩ погиб с другими инвалидами на взорванной барже,— пишет Н. Я. Мандельштам.— Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов»[3].

Но был и свидетель: А. Г. Тихомиров, вернувшийся из колымской ссылки рассказывал: «видели, как столкнул Нарбута с баржи в бухте Находка солдат или заключенный»[4].

Когда? — в марте 1938-го? Но при реабилитации выяснилось, что 7 апреля 1938 г. его снова судила Тройка

---

[1] С. 22—23

[2] Этот и последующие документы — из архива Шкловского.

[3] Н. Мандельштам-І. С. 401.

[4] Сообщено Т. Р. Романовой и в воспоминаниях Романа Нарбута.

УНКВД по Дальстрою. За что — не указано. Приговор не известен. «Обвинение бездоказательное» — все, что сказано в реабилитационной справке.

Пока, как и вдова Мандельштама, знаем одно: «Человек, страдалец и мученик где-то умер». Когда-то. После 7 апреля 1938 г. «И вокруг него копошились другие смертники...»[1]

Реабилитация состоялась 31 июля 1956 г. 3 сентября мертвый Нарбут снова стал членом Союза советских писателей.

Не только ложь (вокруг его смерти), но и забвение было ложным.

Хранила Нарбута память друзей-поэтов. Ссыльный Мандельштам в своем воронежском сообщении об акмеистах сказал: «Не отрекаюсь — ни от живых, ни от мертвых». Ахматова включила стихи, посвященные Нарбуту, в свой цикл «Тайны ремесла». Они были написаны в 1940-м.

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это донник,
Это — пыль, и мрак, и зной[2].

Прочитав из рук Серафимы Густавовны последнее письмо Владимира Нарбута, Зенкевич вспомнил его стихи, отправил другу стихотворное послание в никуда:

«Жизнь твоя загублена, как летопись.
Кровь твоя стекает по письму!..»[3]

«Нам всем гореть огненными столпами,— сказал Владимир Нарбут о своих современниках.— Но какой ветер развеет наш пепел?» Ветер сделал свое дело. Огонь не одолел стихов Нарбута (только портфель слегка обгорел). И вот они вышли к людям.

Нина Бялосинская,
Николай Панченко

---

[1] Н. Мандельштам-I. С. 409.
[2] Ахматова. С. 205.
[3] Архив Шкловского.

В ГОРОДЕ ГЛУХОВЕ

В городе Глухове собрался народ около старца-бандуриста и уже с час слушал, как слепец играл на бандуре...

Н. Гоголь

...А то сидить в брилі, в кері,
З товстою книжкою в руках,
І всім, бач, гонить ахинеї,
І спорить о своїх правах?
То родом з Глухова, юриста,
Він мае чин канцеляриста
І есть — добродій Купавон...[1]

І. Котляревський

[1] Кто в шляпе, в епанче суконной// И с толстой книжкою в руках// Толкует вкривь и вкось законы,// Знай спорит о своих правах?// Юрист из Глухова речистый,// Что выбился в канцеляристы,—// Добродий некий Купавон (пер. Веры Потаповой).

НА ЗАРЕ

Не знаю,— в детстве видел я Тебя ли
Иль только тень Твою, Бесплотный Дух,
Когда уж росы травы колебали
И жертвенный огонь когда потух.

Ты, проходя поляной голубою,
Благославлял вечернюю тропу.
И от голубок не было отбою:
Они сплетали нимб на светлом лбу.

Они, едва касаяся крылами,
Глазами розоватыми в упор
Глядели на Тебя в зеленом храме.
И перьев серебрился их убор.

А Ты, Ты — нежный, тихий и прекрасный,—
Мне в душу кротость робко перелил.
И вот, бреду — вечерний и напрасный —
Под шелест снежный голубиных крыл.

1909

ПЛАВНИ

Камыш крупитчато кистится,
Зерно султаны клонит вниз.
И водяной лопух кустится,
Над топью обводя карниз.

А за карнизом ноздреватым
Буреют шапки кочек. Вдаль
Волнением шероховатым
Дробится плоско речки сталь.

Поет стоячее болото,
А не замлевшая река!
Старинной красной позолотой
Покрыла ржавчина слегка

Его. И легок длинноногий
Бег паука по зыби вод.
Плывут зеленые дороги,
Кровь никуда не уплывет!

И плавни мягкими коврами
В багрянце стынут и горят,
Как будто в допотопной раме
Убийц проходит смутный ряд!..

1909

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Дул ветер порывисто-хлесткий,
Нес тучи кудрявого свитка
И хлопал отставшей калиткой.
А месяц — то сыпал вниз блестки,
То прятался, словно улитка.
Бугор отсыревший и черный
К речному сбегал водоему,
Чтоб силы набраться и дремы.
И взметы его так упорно
Вставали в степи незнакомой!..
А в голом саду безотрадно
Шумели все липы, шумели...
И, точно белесые мели,
Таились снега кой-где жадно,
Но высказать горе не смели...
...Зима умерла. Степь весенним
Намеком волнующим тянет
И вдаль буйной юностью манит...
Лишь лист по балконным ступеням
Шуршит и вздыхает и вянет...
И снова мне кажется, будто
Я — высохший лист прошлогодний...
И этому верю охотней
Я в ночь непогоды, и чуда
Не жду от десницы Господней...

1909

* * *

Высоким тенором вы пели
О чем-то грустном и далеком...
И белый мальчик в колыбели
Глядел на мать пугливым оком.

А звонкий голос веял степью —
Но с древней скифскою могилой!..
И к неземному благолепью
Душа томительно сходила...

И глаз огромной черной вишней
С багряно-поздней позолотой
Смотрел недвижно, будто Кто-то
Уже шептал о жизни лишней...

1909

ВЕСНА

Зеленой феею пришла
С кошницей, полною цветами,
И пьет из теплого дупла
Березы никлой сок струями.
И смуглый предзагарный мат
В ланитах тонко розовеет,
И колокольчики звенят
В траве упругой веселее.
Рябина, почки раздавив,
Кудряво-пепельные листья
Спустила в дремлющий залив
Реки — сизей и серебристей.
А за стволом рябины сам
Следил за поздней я Весною,
Как луч играл по волосам
Ее прозрачной желтизною
И как, соломинку вновь взяв
По-детски тонкими руками,
Она из хрупких нежных трав
Тянула алыми губами
Блестящий и медовый сок...
И разливалась в теле дрема,
Когда я видел поясок,
Схвативший талию подъема...
Одно движенье: расстегнулся
Он, как запястье, и — упал...
И я негаданно проснулся:
Мне ветер волосы трепал...
Ах, то — лишь греза,— думал я...
Кто разбудил меня так рано?..
И, уж любовь к Весне тая,
Я шел с поляны на поляну,
И все мне чудилось, что вот
Сейчас, сейчас она вернется!..
Такою девушкой придет,
Что сердце станет,— не забьется!..
А в клейких ландыши кустах
О чем-то тихие звонили.
Не о ее ли волосах —

Белей и тоньше тонких лилий?..
Она! Она!..
        И я погнался
За тем, кто ею мне казался...
Но в глубь просек меня увлек
Лимоннокрылый мотылек...

1909

СЫРОЕЖКИ

Земля гудела от избытка
Дождей, рассеянных в апреле,
И малой бурою кибиткой
Коробился листок на солнце — прошлогодний.
На ивах иволги горели
Жар-птицею иногородней.

А в лесе почва паровала:
Пронизывало воздух дрожью,
И горб овражьего провала
Был наскоро опутан толстой паутиной.
Клубясь, пыля по бездорожью,
Шли тучи высотой пустынной.

И вот, когда на высшей точке
Стал полдень и схватились тени
С прямыми двойниками, тучи-одиночки
Счастливым ливнем облетели.
Цветов раскрылись лепесточки
Под градом призрачных падений
В лазоревом небесном теле.

И, приподняв листа кибитку
(Там, под березою, где пробежала стежка),
Хлебнув весеннего напитка,
Зарозовела нежно сыроежка...

А через час, скривившись набок,
Вторая вылезла, под зноем
Налившись капельками пота...
С сосны упал сучок — и хлябок
Был звук его в траве, похожей на болото.

Мотал паук по влажным хвоям
Свое гнездо. И покрывалом,
И недовязанным, и редким,
Сиренево-лилово-алым,
Сквозя в орешнике (чрез ветки),
Лежали сыроежки, как монетки.

1909

В ГЛУШИ

Пастель

Как по прадедовским затишьям
Бродили в зимний мы закат!
Ну, золотистым шелком вышьем
Воспоминаний светлый сад.
Вот день!.. Час розовато-белый,
Синея взором в маске сна,
Глядит в готические стрелы
Высокоострого окна.
Но неуверенно и свято
Мы в опустелый входим зал,
И — в коридоре виноватом
Нас отражает ряд зеркал.
Мы в тихом, робком изумленьи,
Как дети кроткие, стоим:
В углах — уже печати тленья
И паутины легкий дым;
Пооблупилися карнизы,
И штукатурка отошла.
Налет, и мертвенный, и сизый,
Кладет на пол протухший мгла.
И только в радужные стекла
Влетает розовый огонь
И золотится пыль поблекло,
Как чья-то длинная ладонь.
Вздыхают, нехотя и тяжко,
В тиши встревоженной шаги.
И вдруг — в пыли сверкнула пряжка...
Откуда? И с какой ноги?..
Затем ушли. Как призрак бледный,
Нас провожая в комнат плен,
Смотрел вослед с укором бедный,
Изрытый молью гобелен.
И все такое ж точно было,
Как и у нас,— и там на нем:
Узор, закатный и унылый,
Залитый жертвенным огнем.

1909

ДВОЙНИК

Заголубели нежно стекла,
И тихий вечер — как печаль.
Но лишь свечу зажгли, поблекла
И потемнела окон сталь.

Встает тоска, идет упрямо,
Чтоб образ прошлого возник.
И свет свечи в окне, за рамой —
Как опрокинутый двойник.

Он золотеет, он трепещет,
Чуть огонек я колыхну,
Он, отражаясь, грустно блещет,
Смотря за стены — на весну...

Я вспоминаю юность снова:
Ушла как скоро и тайком!
И призрак счастья молодого
Стоит знакомым двойником...

1909

НА ХУТОРЕ

Голубовато-серебристый
Загрезил тополь под окном:
Блеск тонко-лунный и иглистый
Пронзил его своим огнем.

Как круг вращающихся ярко
Алмазов, чешуится Рак,
И над небесной синей аркой
Он леденит звездáми мрак.

А рядом — светлое созвездье,
И в нем горит Альдебаран.
Как знак искомого возмездья,
Он постоянен и багрян.

Не развенчать миров загадки!
И ночь таинственно-тепла,
И как одежд опавших складки,
Чуть золотеют купола.

И кажется, что Ангел кроткий
Над скорбной церковью летит
И смотрит в окна сквозь решетки:
В гробу никто ли не лежит?

1909

В ГОРАХ

Прозрачный воздух чист и нежен
И хрупко-тонок, как стекло.
Предел снегами зарубежен.
Долину сжало гор крыло.

Легко повисла скал площадка
Над серебристой крутизной.
Не в небе ль черная заплатка?—
Орел парит косой луной.

А там внизу, по тихим склонам
Пасутся овцы у горы,
Как будто на сукне зеленом
Бильярда сгущены шары.

И звонче в свежести хрустальной
Грустит и искрится тоска —
И безутешный и печальный
Напев седого пастушка.

1909

ПРАЗДНИК

Весенний день пригож и парок.
В деревне — шум и суетня:
Под звон стеклянный хрупких чарок
Сход провожает ясность Дня.

Сегодня праздник, по названью —
Переплавная Середа:
Покрыта светлой Божьей тканью,
Как ризой стразовой — вода,

И от заутрени чуть вышли,
Молебен тихий у криниц...
Уж экипаж, с запряжкой в дышле,
Сверкнул лучами желтых спиц.

Уж укатил на хутор барин.
А день льет дремное тепло,
И свод небесный светозарен.
Огнисто голубя крыло.

Как от взлетевшей белой стаи
Вдруг упадает снежный ком
И вновь, паденье подсекая,
Взмывает плещущим крылом!..

Сегодня — праздник. Завтра рано
В поля потянутся возы,
Чтоб у подножия кургана
Валить на пар навоз в низы.

1909

* * *

Просéка к озеру, и — чудо:
Двойные видишь берега
И дальше — ярче изумруда —
Дождем омытые луга!

Во всем хрустальность тонких линий,
Вода, как зеркало, пуста,
И опрокинулась в ней синей
Бездонной бездной высота.

И неглубокий, невысокий
И солнца яркого двойник,
Прорезав жесткий куст осоки,
В затоне, в золоте поник.

Березки ясно зеленеют,
Как будто девочки в слезах.
И только дуба лист темнеет,
Чуть вырезаясь на глазах.

Стоишь и видишь раздвоенность
И обнаженность всю, до дна.
В тебе — дух ясности и сонность:
Душа дождем раздвоена!

1909

* * *

Туман окутал влажным пледом
Поля и темный косогор,—
И в облаках забытым следом
Идет ночной луны дозор.

А теплый ветер гонит тучи
И, без дождя их пронося,
Ломает ими свет текучий,
Снопами бледными кося.

И лишь на дальнем промежутке
Луна подымет свой фонарь
И проплывет. И снова жуткий
Блеск хрупкий льется, как и встарь.

Хлеба склонились в полудреме,
Чернеют густо и молчат.
И свет луны сильней в изломе.
А ветры туч овчины мчат.

1909

САД

Амфитеатром сад сошел
На луг с звенящею канавой.
А там — напевы диких пчел
И ос, баюкающих травы.

Еще холодная коса
Стеблей цветочных не коснулась,
И серебром лежит роса,
И ива аркою согнулась.

И луг живет. А утро светит.
И воздух чист и голосист.
И вешний миг скворец приветит,
И томно-долог иволг свист.

Берез веселый хоровод
Шумит, сверкая и белея:
Кругами мерными идет
На луг зеленая аллея!

И яблоня, в наряде Мая,
Под снежно-розовой фатой
Замлела, платье подымая
Над осторожной высотой.

И старый тополь — точно маг
В остроконечной темной шапке.

А аист грезит на часах,
Как бы держа гнездо в охапке...

1909

* * *

Кудрявых туч седой барашек
Над неба синей полосой
И стебли смятые ромашек —
Следы, забытые грозой.
Она промчалась над лугами,
Бесцеремонно грохоча,
И, издеваясь над ольхами,
Пугала лезвием меча.
Но ветер, хлынувший из рощи,
Как перья легкие, разнес
И облаков сквозные мощи,
И хохот каменных угроз.
И день, склоненный полумраком,
Опять серебряно парит,
И солнце вновь расцветшим маком
В выси поднявшейся горит.

1909

* * *

Облака, как белые межи́,
Поделили голубое небо.
Ветер дунул, крикнул: — Не лежи,
Уходи: вон — дождевая треба!

Чуть толкнул и к югу улетел.
А — почти сейчас — и дождь нахлынул
И струями ярко заблестел,
Как стальные обручи кто кинул.

Лиловато-красный свет мелькнул,
Окаймил разорванные тучи.
Миг — и вздрогнул небосклон. И гул
Звонко пал, серебряно-текучий.

1909

У СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЫ

Сонно светит снежный серп
В водомете вешних верб.
Зелень зыбкая зарит
Близость пыльных плавных плит.

Поле. Плачет пьяный пес.
Водяной в воде сопит.
Дух дохнул, дошел, донес
Шумы. Шелком шелестит.

Рваной рясой рыжий поп
Запахнул ребенка в гроб.
Веет вешний вертоград.
Звезды — в злате виноград.

1909

НА КОЛОКОЛЬНЕ

Синий купол в бледных звездах,
Крест червонней поздней ржи.
Летом звонким режут воздух
Острокрылые стрижи.

А под маковкой за уши
Кто-то Темный из села,
Точно бронзовыя груши,
Прицепил колокола.

И висят они, как серьги,
И звонят к Христову дню.
В меловой живя пещерке,
Голубь сыплет воркотню.

Вот, в ветшающие сени
Поднимается старик.
И кряхтят под ним ступени,
И стенной добреет Лик.

И рукой дрожащей гладит
Бронзу сгорбившийся дед:
Ох, на плечи в тихом ладе
Навалилось много лет!

Стелет рваною овчиной
На скамейке свой тулуп,
Щурит око на овины
И жует трясиной губ.

1909

ПРЕДУТРЕННЕЕ

Свежает. В побледневшем небе
Еще стоит одна звезда.
Она четка, как яркий жребий,
Красна, как медная руда.

Но и она жива минутой,
Но и она потухнет вдруг!
Каймой широкой и согнутой
Ушел в туманы росный луг.

И на пригорке посизевшем
Заметны знаки уж утра:
Обдаст лицо теплом осевшим
И дымом позднего костра.

1909

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

Как тошнотворно пахнут листья
Смородины — не красной — черной!..
А берег речки все скалистей
Идет извилиной узорной.

Короче тени. Но под ними —
В воде синей тростник стоит,
Крупнее рыбы, будто в дыме.
Их плавники струя двоит.

Скал раскаленная ограда
Под солнцем стойким горяча.
И тянет вянущей прохладой
К бассейну светлого ключа.

Тут искупаться бы. Но кору
Смородина на зное жжет.
Дурман плывет. Восходит в гору.
И тяжким теленьем обдает...

1909

* * *

Сверкали окна пред грозой,
Как полированная сталь.
И дождь косой шел полосой,
И грохотала грузно даль.

Лес понижал и посерел
В колонне первой дождевой.
И хутор скорбно присмирел
И стал заплаканной вдовой.

Зернистый дождь по камышу
Покатых крыш застрекотал.
И в огороде чрез межу
Крапиву ветер закатал.

Но скоро шумное каре
Вождь тучевой к реке увел.
Сияет в млечном серебре
Березы влажный ствол.

1909

* * *

Вода в затоне нежна, как мрамор
Голубоватый и сквозной.
В скалистом гроте гурьба карамор
Пережидает скудный зной.

Блестит сухая там паутина,
Белеет воздух — молоко.
А под вербою, зарывшись в тину,
Лягушка дышит глубоко.

1909

ПОД ВЕЧЕР

Уж вечер недалек, и с поля тянет
Струей пахуче-ровной ветерок.
И знаешь: за пригорком сено вянет,
И цвет травы, как старый хром, поблек.

И, утомленная теплом душистым,
На отдых собирается земля.
Сафьяном золотеюще-лучистым
Закат, грустя, подернул тополя.

Уж скоро вечер голубым потопом —
С отливом зелени — зальет луга,
И осторожный сумрак по окопам
Канав сойдет, как призрак, в облога.

А ночь вновь будет душной и беззвездной...
Вновь из зарниц гудящих семя гроз
На нивы упадет, краснея, слезно...
Как пахнет теплой сыростью берез!..

Густеет мгла... И голубиной стаи
Над садом снежные летят клочки.
Уж мчат, над черной липою блистая,—
Как будто смотришь в белые очки...

1909

ЗНОЙНЫЕ ТРУБЫ

Как в накаляемой печи,
В тиши лиловый воздух гас,
И солнца желтые мечи
Пронзали полдня первый час.

Как разноцветный пыльный хлам,
Пылал под зноем огород.
На кухне трубы по углам
Раскрыли жадно черный рот.

И, точно жала, языки
Их колебались, но острей —
В зловещем пламени легки —
Крыл бархатных нетопырей.

Жизнь отмирала. Даже куст
Крапивы ржавой под окном
Увял, зачах. И был он пуст
Под зыбью тронутым огнем.

И, глядя на полы, во мглу,
Вся, как змея в клубке, груба,
Согнув колено по углу,
Зияла черная труба.

1909

ЗАХОЛУСТЬЕ

Прилипли хаты к косогору,
Как золотые гнезда ос.
Благоговейно верят взору
Ряды задумчивых берез.
Как клочья дыма, встали купы,
И зеленеет пена их.
А дали низкие — и скупы,
И скрытны от очей чужих.
Застенчиво молчит затишье,
Как однодневная жена.
И скромность смотрит серой мышью
Из волокового окна.
А под застрехой желто-снежной —
Чуть запыленный зонтик ос.
И веет грустью безнадежной
От косогора, хат, берез.

1909

ТОРФ

Поэма

Торф, слегка коричневатый,
У спокойных зреет вод,
Мягкий, как волокна ваты,
И сырой — из года в год.

Глохнет он, покрытый илом,
Заложенный веком здесь,
Весь — подвластный тайным силам,
Весь — сожжений тайных смесь.

Огоньки по нем блуждают
В ночь пред душною грозой,
И туманы пеной тают,
Восходя к селу косой.

Погруженный в сон тяжелый,
Редко дышит ядом он,
Но тогда идет на долы
Тихий-тихий странный звон.

И баюкает сень гая,
И колышет в поле ржи,
Умирая, угасая
Над росою у межи.

А наутро — тот же самый
Пласт лежит, как и лежал,
И на нем из черной рамы
Топь синеет, как кинжал.

Будто траурной каймою
Вся она обведена.
Не замерзнет и зимою,
И никто не знает дна.

Как-то глупая корова
Оступилась, подойдя,—
И пастух не слышал рева,
И узнал, лишь счет сведя!..

С тех пор стадо издалека,
Запоет когда весна,
Торфяное видит око —
Темень грязного окна.

Ниже — руслом, измененным
Буйной полою водой,
Протекает полусонно
Мрамор ржаво-золотой.

И ручей реки потомок,
Отошедшей, как Мамай,
Не болтлив, не быстр, не громок —
В мерном плеске струйных стай.

Нежный аир точит стрелы
На неведомых врагов
И в канаву смотрит смело,
Наклоняясь с берегов.

Черно-синие стрекозы
Пляшут, крыльями звеня.
Облака белы, как козы
На горах в излучьи дня.

А под ними жадным оком
Торф глядится в небосклон,
Как во времени далеком
Утонувший рыжий слон.

1909

ШМЕЛИ

Мохнато-грузные шмели
Бичуют воздух, золотясь,
И синей радугой вдали
Плетут вдвоем на солнце вязь.

Друг друга хлопая с разбега,
Совьются клубом, упадут:
В траве прохладной стынет нега
И колокольчики цветут.

И, медленно ползя по стеблю,
Как бы уверившись, что цел,
Гудит... И крылья вдруг окрепли:
В лазурь он снова улетел.

Другой лежит еще спокойно
В траве, как будто бы угас,
Но тельце движется нестройно,
Огнем блестят агаты глаз.

В тени от зноя сладок отдых.
Но через миг уж и второй
В прозрачней аметиста водах
Мерцает солнечной игрой.

Лучи полудня горячи.
А в доме — гул колоколов:
То, как упругие бичи,
Шмели шныряют у углов.

1909

ОБЛАКА

Облака на богомолье
В скит лазоревый идут.
Солнцу вешнему — раздолье:
Дрема, нега и уют.

Озимь гонит стебель тощий
И в испарине дрожит.
А кукушка в ближней роще,
Озираясь, ворожит.

Кто-то едет грузным шляхом:
Верховой иль на возу?
Но тяжелым верным взмахом
Набирает зной грозу.

В скит ушли или вернулись
Богомолки-облака,—
Только тучи изогнулись,
Накренились на бока.

И — ползут в глуби акулой
Серохвостой и большой:
Уж катятся громов гулы
Меднозвучною межой.

1909

ВИШНЯ

Налилась золотистая вишня
Соком алым, как кровь, как вино.
Почернела, обвисла в затишьи,
Ожидая, что ей суждено.

Урожай от нежданного груза
Опустил гибких веток концы,
И на штамбе — зеленая блуза
Да побегов стальные гонцы.

Таял день, словно синяя льдина,
В накаляемом небе-печи.
И горели гвоздикой куртины,
Одуванчиков плыли мячи.

Но уже зацвирикали звонко,
Налетев стайкой из лозняка,
Дубоносы. И сели на тонкой
Затененной лучине сука.

И выклевывать косточки стали
Из вишневых монист наливных,
И носами — упругее стали —
Разжимать и расщелкивать их.

Солнце жгло розоватые плиты
У крыльца, где стояли два льва.
И была кровью свежей облита
Потемневшая вишен листва.

1909

НОЧЬ

1

Ночь, как священник в черной рясе,
Степь обходила, рожь кропя.
А перепел в отрывном гласе
Лощине выдавал себя.

Еще мерещились колосья,
Хоть догорел закат давно.
Туманность поднималась осью,
Как с.пряжею веретено.

Камыш, над мертвой речкой стоя,
Как жуткий траур шелестел.
И редко белою чертою
Болид с небес, как дух, летел...

2

Запруду черными платами
Мгла уж успела заволочь.
И тянет влажными плодами
Из саду медленная ночь.

Созвездья четкие сверкают,
Как давние богов следы,
И ожерелья их мигают
Так ломко-нежно, точно льды.

И в изумрудной их короне
Ночь — будто мрамор золотой —
Лежит подножьем в Божьем троне
Над изумленной высотой.

Да, там сады и грады Рая
И ангелов лучистый хор...
У каждого звезда. Взирая
На землю, ткут они ковер

Блестящих звезд, туманных нитей
Неясно-млечного Пути,
Куда и силами наитий
Уму вовеки не дойти!

А Август золотистощекий
Стоит в Украйне, без огня —
Загаром кожи — крутобоко
Густые яблоки красня,

И за плетнями лиловеет
Крапивы спорыньевый лист.
Но ночь покуда снами веет
В мерцаньи звездочных монист.

И пахнет тмином и плодами...
В их сладком дуновеньи Сны
Давно забытыми следами
Проходят в терему Весны.

1909

СОСНЫ

Нынче четный високосный
Золоченый год.
В желтой пыли млеют сосны:
Каждая цветет.

От зацветов легковейных
Тяжело дышать,
В синих воздуха бассейнах —
Пуха благодать.

Ветра нет, да и не надо:
Зреют семена.
Пней ветшалая ограда
На бугре видна.

Хвоя стынет. Иней кинет.
Смотрит дуб-бобыль:
Цвет янтарный паутинит
Золотую пыль.

1909

* * *

В посиневшем небе виснут
Золотые гроздья звезд,
Млечный Пояс, как и присно,
Тянет редкий снежный мост.

А под куполом небесным
Темным станом стала Степь,
К далям черным, неизвестным
Убежала шляха цепь.

И курганы, как шеломы,
Грузно кое-где лежат,
Будто древние изломы
Скифских войлочных палат.

1909

ОТЪЕЗД

Недолгий день, но долгий шлях
С каплицею на перекрестке:
Налет травы на куполах,
В решетке окон свечек блестки.

Уж пожелтел вербовый ряд,
Что протянулся по канаве.
Как курени, дубы горят,
Поля и межи кротко славя.

Солому срезанную нив
Связали паутины нити,
Чуть золотясь. Мой вол ленив.
О ветры, бури хороните!

Прощай, Украйна, до весны!
Ведь в череп города я еду,
И будут сны мои грозны,
Но я вернусь к тебе, как к деду.

Я — смуглый отрок. А пути
Легли в синеющем тумане.
Прости и ты, прости, прости,
Курган в щите степных преданий!..

Тоска разлучная в полях:
Связали пожени друг друга,—
Как жены с милыми в боях.
Уполз и шлях грядой до Юга.

Да и вверху — все волоса:
Сверкают ткани паутины.
И снежных облаков коса
Чуть шевелится над долиной.

Прощай, Украйна. А вдали —
Уж в землю вросшая каплица,
И купола ее ушли,
Как шара два, как жар теплицы.

И только звездочка свечи
В вечерней мгле следит за мною.
Ты мне в окошко постучи,
О ветер, раннею весною!

1909

ПОМОРЬЕ

С налету ветер стружит волны,
Кидая брызги в берега:
Песок, студеный и безмолвный,
Узорят пенные снега.

Все ниже тучи, все серее
Их волокнистое руно.
А огонек на старой рее,
Качаясь, теплится давно.

О, эти сумерки морские
И их суровая печаль!
И дали низкие, глухие,
И пены тающая шаль!

И сколько непонятных жалоб
В ритмичном ропоте валов!
В заливе — скрип железных палуб,
А в море — вой колоколов.

То там, за отмелью песчаной,
На ржавом якоре баклан
Гудит зловеще в мгле туманной,
Чернея властно, как курган.

Но долги сумерки и серы,
И вечер медлит, как тоска...
В скале отдушину пещеры
Заткали спицы паука.

Поселок дальний, чуть мерцая
Огнями узкими домов,
Стоит, как цепь сторожевая,
На хране честных рыбаков.

Кого-то дома нет, и жутко
Семье — баклана слышать звон,
Когда в молчаньи перепутка
Как будто отпевает он...
1909

* * *

Как рано вышел бледный серп
Луны на зимний небосклон!
И, точно неба древний герб,
Над городом он наклонен.

Снега все тише, розовей
От вечереющей зари.
И облака промеж ветвей,
Как на конях богатыри.

Ложится мгла. И лед хрустит
У пешехода под ногой.
И липа черная грустит
В саду, согнув навес дугой.

А серп, как кованая сталь,
Все резче, ярче и ясней
Берет под власть — и неба даль,
И по домам ряды огней.

1909

РУСЬ

Деревня на пригорке —
В заплатанной сорочке:
Избушки, как опорки,
Овины — моха кочки.

Поломанные крылья,
Костлявые скелеты —
То ветряки. И пылью
Грустит над ними Лето.

Убогие ходули
Надев, шагают тучи.
И клеет желтый улей
Зной, точно мед, тягучий.

1909

ДЛИННЫЙ ВЕЧЕР

Как длинен, длинен вечер зимний!..
За окнами мороз крутой,
И вьюга в перепевном гимне
Грядет над сада наготой.

Грядет и веет волосами
Седых, серебряных старух.
За нею ветер полосами
Сдувает снег, как след укрух.

Горит лампадка у иконы,
Моргает красный фитилек.
Но отблеск сумерек, зеленый
И чуть прозрачный, уж поблек.

И вечер длится богомольно:
Такая в доме тишина!
И будто отклик колокольный —
В печной трубе и у окна.

Я знаю: жестко подметает
Снег сыпкий на полях метель,
И, попадая в прорубь, тает
Поземки змейка-повитель...

1909

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ

Мужской сонет

Я прожил жизнь, всю жизнь во сне,
Тебя не зная, но любя:
Ты проходила в стороне,
Весну и молодость губя.

Как часто грезилась ты мне
Идущей в белый скит, скорбя!
В бездомной ночи, в синем дне —
Следил я схимницей тебя...

Мрак голубеющий влача,
Смерть близит облик палача
И раскрывает тихий склеп.
Я — полунем, я — полуслеп.

Уж оплыла твоя свеча,
Завернутая в карий креп...

1909

НЕВЕСТА

1

Еще вчера, когда заглох
Шум бестолковый городской,
На крест синеющих дорог
Глядела из окна с тоской.

Но вечер гас. И, как свеча,
Закутанная в древний креп,
Немые сумерки влача,
Шла Ночь в свой тихий-тихий склеп.

Неясно видел темный взор
Сквозь паутину покрывал —
Пластом залегший косогор
И с соловьями вешний вал

И тусклый отблеск над водой,
Чтоб ничего не отражать...
— Как больно груди молодой
На подоконнике лежать!

Устала. Странная ушла.
И вновь пришла. И вновь одна.
Мечтами райскими светла
Всю ночь невеста у окна.

2

А сегодня — бледна и грустна —
С синевою подведенных глаз,
Вспоминает: светила луна?
Повторяет: в который уж раз?

Милоокого тихая ждет
В мезонине на красном верху.
И на пепельнице спички жжет
И подсолнечника шелуху.

Все — в саду, никого нету дома:
Там привозят черешни от мызы.
Фиолетовой знойной истомой
Дышит сад, опаленный и сизый.

Пахнет горечью блеклой полыни
И известкою: флигели чинят.
Топоры говорят на долине.
Голоса натекут и отхлынут.

Холодок пробегает. И пол
В арабесках спирально-живых:
Воздух тучку на солнце навел.
Чу, звонок — оборвался и стих...

И по лестнице пыльной крутой
Опускается. Щеки горят
Розоватой зернистой рудой.
Знойно груди пылают, как сад.

1909

* * *

Ласкай меня... Ласкай, баюкай...
Уж недалеки те часы,
Когда единственной порукой
Мне будет — лента из косы.

Твое прощание так нежно,
Как будто умираю я...
И грусти тихой безмятежно
Находит флер, огонь тая...

Наивно тонкими руками
Ты обвиваешь шею мне...
Ласкай, ласкай!.. Мы в вечном Храме
Горим на медленном огне...

1909

ВДАЛИ

Едва миновала опушка лесная,
Тропинка под сумрак пошла на изгиб.
Эгэ! Вон — подушка полян вышивная —
Цветы и цветы. А вон — лепится гриб.

Уселся кряжистый, как важный боярин,
В коричневой шапке под дуб, хоть не люб.
Просвет, как окно: небосклон лучезарен.
Просеки синеет туманная глубь.

Чем дальше — сырее. Кукует кукушка
Далеко-далеко, как в жизни иной...
Давно позабыта на солнце опушка
И золото шали поляны сквозной...

1909

ВСТРЕЧА

Тебя забыл я... И какою
Ты предо мной тогда прошла,
Когда к вечернему покою
Сходила мгла на купола?..

В равнинном устье бесконечно
Текли позорные года.
Я думал: уж тебя, конечно,
Не повстречаю — никогда...

Но как обманут был нежданно:
Стекло зеркал ночных следя,
Заметил профиль сребротканый
И лилию — хрустальней льда!

И вот — ты предо мной в тумане
Стоишь такой, как в первый раз:
Со взором никнущим в обмане
Янтарно-черных скорбных глаз...

1909

АЛЛИЛУЙЯ

Хвали́те Гдⷭ҇а ѿ землѝ, ѕмі́еве и҆ всѧ̑ бе́здны: О҆́гнь, гра́дъ, снѣ́гъ, го́лоть, дꙋ́хъ бꙋ́ренъ, творѧ́щаѧ сло́во є҆гѡ̀: Го́ры, и҆ всѝ хо́лми, древа̀ плодоно́сна, и҆ всѝ ке́дри: Ѕвѣ́рїе, и҆ всѝ ско́ти, га́ди, и҆ пти̑цы перна́ты: Ца́рїе зе́мстїи, лю́дїе, кнѧ̑зи и҆ всѝ сꙋдїѝ зе́мстїи: Ю҆́ноши и҆ дѣ̑вы, ста́рцы съ ю҆нота́ми, да восхвалѧ́тъ и҆́мѧ Гдⷭ҇не. [Каѳ. к҃, ѱало́мъ рмⷱи҃].

[1] Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, Горы и все холмы дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, Цари земные и все народы, Князья и все судьи земные, Юноши и девицы, старцы и отроки — Да хвалят имя Господа.

Псалом 148, ст. 7—13

НЕЖИТЬ

Из вычурных кувшинов труб щуры и пращуры
в упругий воздух дым выталкивают густо,
и в гари про́жилках, разбухший, как от ящура,
язык быка, он — словно кочаны капусты.
Кочан, еще кочан — все туже, все лиловее —
не впопыхах, а бережно, как жертва небу,
окутанная испаряющейся кровию,
возносится горе: благому на потребу.
Творца благодарят за денное и нощное,
без воздыханий, бдение — земные чада.
И домовихой рыжей, раскорякой тощею
(с лежанки хлопнулась), припасено два гада:
за мужа, обтирающего тряпкой бороду
(кряхтел над сыровцем), пройдоху-таракана,
и за себя — клопа из люльки, чуть распоротой
по шву на пузе,— вверх щелчком швыряет рьяно.
Лишь голомозый — век горюет по покойнице:
куда занапастилась? — чахнущий прапращур
мотает головой под лавкой да — в помойнице
болтается щуренок: крысы хлеб растащат.
И, булькая, прикинувшись гнилой веревочкой,
он возится, хопая корки, реже — мясо,
стегает кожуру картошки (елка-елочкой!)
и, путаясь, в подполье волочит все разом.
А остальные: — Эй, хомяк, дружней подбрасывай,—
сопя, на дверника оравой наседают:
он днем, как крестовик, шатается саврасовый,
пищит у щеколды, пороги обметает.
Глотая сажу дымохода, стоя голыми
иль в кожурах на угреватых кирпичинах,
клубками турят дым, перетряхая пчелами,
какими полымя кусало печь в низинах.
Но меркнет погани лохматой напряжение,—
что ж, небо благодарность восприяло втуне:
зарит поля бельмо, напитанное ленью,
и облака под ним повиснули, как слюни.
Шарк — размостились по углам: вот-вот на пасеке
колоды, шашелем поточенные, стынут.
Рудая домовиха роется за пазухой,

скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть.
А в крайней хате в миске — черепе на припечке
уху задергивает пленка перламутра,
и в сарафане замусоленном на цыпочки
приподнялся над ней ребенок льнянокудрый.

1912

ЛИХАЯ ТВАРЬ

Летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма.

Н. В. Гоголь

1

Крепко ломит в пояснице,
тычет шилом в правый бок:
лесовик кургузый снится
верткой девке — лоб намок.
Напирает, нагоняет,
дышит: схватит вот-вот-вот!
От онуч сырых воняет
стойлом, ржавчиной болот.
Ох, кабы не зачастила
по грибы да шляться в лес,—
не прилез бы он, постылый,
полузверь и полубес;
не прижал бы, не облапил,
на постель не поволок.
Поцелует — серый пепел
покрывает смуги щек...
Пятится на угол угол,
по горшкам гудит ухват.
Сколько чучел,
сколько пугал! —
все кривляться норовят.
Кошка горбится, мяучит,
ежась, прыскает, шипит...
А перину пучит, пучит,
трет бутылками копыт.
Лапой груди выжимает,
словно яблоки на квас,—
и от губ не отымает
губ прилипчивых карась.
Отпихнула локтем острым:
насосался и отпал
и бормочет:
— Только сестрам
не рассказывай...—
Устал.

Три сестры из трухлых дупел,
три тушкана из норы —
стерегут, чтоб не насупил
братец пущи до поры.
Чуть закатится из гущи,
молонья как полоснет.
Невод шумный и текущий
разорвет кресты тенет!
И трясись, покуда братца
не пригонит в лес рассвет,
и ручьи не затаятся
между пней, взъерошив след...
Да проспали, проглазели:
лопнул сук — улепетнул.
И у ведьмы на постели
соль стирает с жарких скул.
Целовал, душил —
                    и нету,
точно прянул в потолок.
Ведьма ногу (ту и эту)
щиплет, божится:
                    утек!
Давит прелью и теплынью,
исподница — горяча:
мял он логово — полынью,
оцарапал у плеча.
И утек.
        И ноет кошка.
Не зашиб ли кто ее?
В стекла узкие окошка
месяц втиснул лезвие.
Стали более скрипливы
половицы, где порог;
и на прялке, как на гриве,
гребешком застрял творог.
Миски дочиста прибиты...
Девка ахнула во мгле:
«За корявые копыта
слушать сплетни на селе?
Погоди! Коли уж этак,
потаскаешься тайком!..»
В переплет оконных клеток

погрозила кулаком.
И, схватив вихрастый веник,
на метлу да в печку — пырь...
Зирь,— кружочки ярких денег
месяц сеет — вдоль и вширь.
Мотыльками засыпает,
кормит яри молоко.
И несется, утопая,
девка в небе высоко.
Вон, всклокоченной, над степью
кувыркнулась.
                    С нами Бог!
А в гнезде ее — черепья,
немощь плоти да творог...
1911 (1922)

2

С. Судейкину

Как махнет-махнет — всегда на макогоне —
отбиваться от Шишиги по пути
(ущипнуть, ехида, норовит), а кони —
да таких других и в пекле не найти!
Приставал репьем, чуть выскочит за бани:
«Эй, кума, куда нелегкая несет?»
Тут по челюстям, потылице в тумане
накладет ему: лежнюга да урод!
Ржаво-желтой, волокнистою, как сопли,
сукровицею обтюпает, а он
высмыкнется узловатою оглоблей,
завихрится, колыхаясь, в небосклон.
Пропадом — пойдет — писать напропалую,
расчухмаривать, расчесывать виски,
и — бывало, святками, свистит, не чуя,
как мороз щекочет пяток пятаки...
В пригороде всем раскидисто живется —
парубкам, девчатам, бабам матерым:
посудачить вдоволь можно у колодца —
над окном кисельно-мутным: ледяным.
На ночь (клуба бестолкового не надо)
где-нибудь в каморе табуном засесть,
чтоб, попаровавшись, шибко на усладу
променять (малина!) отрочества честь.

Только выдумали прихвостни затею,
несуразную достаточно-таки:
сплюснутым жгутом лупить да покрутее,
кто зевает простофилей «в дураки».
«В дураки» — еще туда-сюда, поладить
довелось бы, а за «ведьмой» — прямо грех:
улюлюкает и — шепелявит прадед
(порохня уж сыплется) и тот — на смех.
Мочи — нет! Навозом рыла забросать бы,
порчу на насмешников бы напустить!
Бойся: вырежет следы-то от усадьбы,
в глине запечет и — квит: никак не жить!
А смерком и на волос, дрожа, нашепчет
и дворняге кинет в хлебном колобке:
и сгниет соперница! Чернявый крепче
по косе зажурится да по руке.
Руки, руки!
Подколодные гадюки!
Бухнись с нею на жестяный на сундук
и — подхопишься, когда петушьи звуки
пересилит выкованный солнцем Звук.
Ох, разнузданно — не желобами! — льется
в закоулках пригорода житие:
жеребцов на бой пускают у колодца,
барышни, хихикнув, щурятся в окне.
Жалостно проржав, вдруг рушатся на крупы
самок разухабистые жеребцы:
выполаскиваются утроб скорлупы,
слизью склеиваются хвостов концы.
Мощью изойдя в остервенелой случке,
грузнут на копыта, а колени — клюв...
Из-под мышек заторопятся колючки
и — мурашки маком, беленьким сыпнув,
побегут по коже — чуть ли не до пальцев.
Словно омут, взбаламутится душа.
И на макогоне, вылизанном смальцем,
ведьма выкатит за будяги, шурша.
«Черт их подери, пусть тараторят после
в пригороде! Гайда, гайда: невтерпеж!
Не беда, что черняка он — низкорослей,
мерзостнее, пакостнее — гадких рож!..»

1912

3

Н. Гумилеву

Луна, как голова, с которой
кровавый скальп содрал закат,
вохрой окрасила просторы
и замутила окна хат.
Потом,
расталкивая тучи,
стирая кровь об их бока,
задула и фонарь летучий —
свечу над ростбифом быка...
И в хате мшистой, кривобокой
закопошилось, поползло,—
и скоро пристальное око
во двор вперилось: сквозь стекло.
И в тишине сторожкой можно
расслышать было, как рука
нащупывала осторожно
задвижку возле косяка.
Без скрипа, шелеста и стука
горбунья вылезла, и вдруг
в худую, жилистую суку
оборотилась, и — на луг.
Погост обнюхала усами
(полынь да плесень домовин),—
и вот прыжки несутся сами
туда, где лег кротом овин.
А за овином, в землю вросшим,—
коровье стойло: жвачка, сап.
Подкрадывается к гороже,
зажавши хвост меж задних лап.
Один, другой, совсем нетвердый,
прозрачно-легкий, легкий шаг,
и острая собачья морда —
нырнула внутрь вполупотьмах.
В углы шарахнулась скотина...
Не помышляя о грехе,
во сне подпасок долгоспинный
раскинулся на кожухе
и от кого-то заскорузлой
отмахивается рукой...
А утром розовое сусло

(не молоко!) пошлет удой.
Но если б и очнулся пастырь,
не сцапал ведьмы б все равно:
прикинется метлой вихрастой,
валяется бревном-бревно.
И только первого приплода
опасен ведьмам всем щенок.
Зачует — ох! И огороды
отбрасывает между ног...
И в низкой каше колкой дрожью
исходит, корчась на печи.
Как будто гибель — Кару Божью —
Несли в щенке луны лучи.

1912 (1914)

ПЬЯНИЦЫ

И чарка каторжна гуляе по столи.

Е. В. Гребенка

Объедки огурцов, хрустевших на зубах,
бокатая бутыль сивухи синеватой
и перегар, каким комод-кабан пропах,—
бой-баба, баба-ночь, гульбою нас посватай!
Услонов-растопыр склещился полукруг,
и около стола, над холщовой простынью,
компания (сам-друг, сам-друг, и вновь сам-друг)
носы и шишки скул затушевала синью.
И подбородки — те, что налиты свинцом
и вздернуты потом (как будто всякий потрох)
так — нитками двумя, с концами, под лицом
заштопанными вкось, где скаты линий бодрых,—
замазала она, все та же стерва-ночь,
все та же сволочь-ночь, квачом своим багровым.
Ах, утлого дьячка успело заволочь
под покуть,— растрясти и заклевать под кровом!
Да гнутся — и майор, и поп, и землемер,
обрюзгший, как гусак под игом геморроя.
Надежен адвокат.
— Аз, Веди, Твердо, Хер,—
ударился в букварь.— Глиста вы, не герои! —
и, чаркой чокнувшись с бутылью,— попадье:
Ее же, мать моя, приемлют и монаси.—
Дебела попадья.
— Не сахар ли сие? —
И в сдобный локоть — чмок.
А поп, как в тине, в рясе.
Торчмя торчит, что сыч.
Ворочается глаз,
фарфоровый, пустой
(а веко — сен-бернара):
мерещится попу, что потолок сейчас
с половой плюхнет вниз, сорвавшись с ординара.
Вояка свесил ус, и — капает с него.
...Под Плевною пошли на вылазку османы:
в ущелье — таборов разноголосый вой,
тюрбаны и чалма, и феска — сквозь туманы.

Светает. Бастион... Спросонья... «Ро-та, пли!..»
Обрюзгший землемер — находчивый бурсак:
Цыбулю — пополам, не круто посоли,
не заблудиться б тут да не попасть впросак.
Все собутыльники в размывчивом угаре.
Лишь попадья — в жару: ей впору жеребец.
Брыкаясь, гопака открамсывают хари,
и в зеркальце косом, в куске его — мертвец.
— Эге, да он, кажись, в засиженном стекле
похож на тот рожок, что вылущила полночь...—
А муха все шустрей — пред попадьей во мгле —
зеленая снует, расплаживая сволочь.

1911—1915

ГОРШЕЧНИК

Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши.
Н. В. Гоголь

Как метет мотня дорогу за горшеней,
прилипает полосатая рубаха!
В перевяслах — воз. Горой, без украшений —
над чумацкою папахою папаха.
Гибкой, розовой, свистулечной соломой
шапки завиты: шершавый и с поливой:
тот — для каши; тот — с нутром, борщам знакомым;
тот — в ледник: для влаги, белой и ленивой.
С некоторою претензией на вазы
(...если б круглый низ не выдавал обжоры...),
к молодицам в гости едут долговязы:
бузину, сирень ломают ухажеры...
А кругом: усаткой (острой, вырезною)
колосится поспевающее поле;
рясным шорохом кузнечикам на зное
пособляет гомонить о ясной доле...
Вперевалку, еле двигая рогами,
мордою тупой, зобатой выей,—
мерно тащатся волы над колеями,
и глаза их — лупы, синие, живые.
Деревянное ярмо квадратной рамой,
ерзая, затылок мшистый натирает...
Господи! Как и пред Пасхой, тот же самый
колокольчик в небе песню повторяет!
Вьется-плачет жаворонок невидимка
(ты ль то, ангелок серебрянокрылатый?);
он — и над полями, он — и над заимкой,
он — и над колодцем у присевшей хаты...
Скрипнул воз:
— Горшки, горшки! — скороговоркой
человек (с мотней до пят) кричит бабенке,
торопящейся (подол подмят) с приборкой;
в окнах недомыты стекол перепонки.
А волы жуют широкими губами

(тянут деловито мокрую резину),
вдруг — как вкопанные:
                                        человек (на память)
молодице вырыл звонкого верзилу.

1912 (1932)

КЛУБНИКА

Как скоропреходящие лучи обманчивого счастья! Увы! Неужели гроб есть колыбель для человека?

В. Нарежный

Изволив откушать со сливками в плоском,
губатом сосудике кофия рано,
вдова к десяти опротивела моськам
и даже коту — серой муфте — с дивана.
Что делать на хуторе летом — в июне?
Отраву разложишь для мух да хлопушкой
велишь погонять их увесистой Дуне;
завяжешь в платочек (калекам) полушку.
— К обедне наведаться б надо: Купало
подходит, а с Троицы лба не крестила.
Все — некогда.
Маврушка-нетель пропала.
И до смерти с грыжей возня опостыла.
Сумбур в голове.
От поганой касторки
кишки и печенку на клочья порвало...
А ягод-то, ягод!
Присмотр нужен зоркий
хозяйского глаза: добра-то немало...—
Скорбит и болеет хозяйское сердце.
Тем временем Дуня убрала посуду;
язык соловьиный (за сколько сестерций
помещицей куплен?) притихнул повсюду.
И, шлепая пятками, девка в запаске,
арбузную грудь напоказ обтянувшей,
вильнула за будку.
Потом — за коляски,
в конюшню — к Егору, дозор обманувши.
И ляжкам пряжистым — чудесно на свитке
паяться и вдруг размыкаться, теряя.
А полдень горячий подобен улитке:
ведь тени — под чадом — себя пожирают
занозисто-душно (от сладости — тошно!),
закрапана рыхлая россыпью пшенной,

клубника в пару раздышалась — и можно
опиться воздусями, словно крюшоном.
И хволые девки, натолкши желудки
утоптанной сытой квашнею, на блюда,
по грядкам ползя да ползя, как ублюдки,
сгребают бескостную смачную груду.
Лишь изредка косятся на дом, который
годами и бревнами в жабу раздуло:
хозяйка за легкою ситцевой шторой
ныряет, качая качалку простую.
Живот, под капотом углом заостренным
в колени уткнувшийся, слишком неровен:
где впадиной вылился пах,— под уклоном
свихнулось одно из обглоданных бревен.
Не выкорчуют его даже и годы!
Владелицу с домом сугубо сцепили,
и, может, беспомощные эти роды
они разрешат, просмердевши, в могиле;
и, может, плывучее рвотное масло,
в плечистых флаконах коснея покамест,
достанет и до́сердца щупальцем — назло,
дабы не пропели купальский акафист.

1912—1915

АРХИЕРЕЙ

Натыкаясь на посох, высокий, точеный,
с красноватой ребристою рыбьей головкой,
строго шествует он под поемные звоны:
пономарь тормошит вислоухие ловко.
Городской голова, коренастый и лысый
(у него со лба на нос стекают морщины),
и попы, облаченные в жесткие ризы,—
благочинный вертлявый (спираль из пружины)
и соборный брюхатый (ужели беремен?)
заседатель суда, запятая-подчасок,—
все за ним! все за ним!
Бесшабашная темень
распылила по улице курево красок...
В кумаче да в китайке, забыв про сластены,
про возки, причитанья, торговки нахрапом
затирают боками мужчин.
А с плетеной
галереи аптеки глядят эскулапы.
Оседает булыжник от поступи дюжей,
и слюдой осыпается колотый воздух.
До костей пропотела лавина.
Снаружи
босоножки летят — в лишаях и коростах.
А в хвосте на тяжелых горбатых колесах —
будто Ноев ковчег — колымага с гербами:
домовина вбирает владыку и посох,
домовина пропахла сухими грибами.
Уж гречихой забрызганы чалые кони,
но развалина движется.
Угол — и церковь.
У, гадюкой толпа закрутилась: ладони
прикурнула колдобина, кисть исковеркав.
И жужжанье и колокол — умерли оба,
только тонкие губы разверзлись, и — слово
синеватые выжали десна.
Как проба,
в них застряла частица огрызка гнилого.
И увяла рука.
И вверху зазвонили:
проглотила соборная пасть камилавку.
Завизжала старуха в чепце: придавили.
А на репчатой шее, как клещ, бородавка.
1911 (1922)

ШАХТЕР

Вин взявши торбу, тягу дав.

И. Котляревский

Залихватски жарит на гармошке
причухравший босяком шахтер...
В горнем черепе — не мухи — мошки,
дробные да белые.
                                        На двор,
из-за тополей, такой сторожкий,
крадется рогатый крючкотвор.
Брешут псы на хуторе у пана:
осовелые овчарки — там.
И паныч-студент, патлач румяный,
шастает с Евдохой по кустам:
«Слушай, все равно я не отстану...» —
«Отцепитесь от меня,— не дам...» —
«Экая, скажите, недотрога!
Барыня из Киева! Чека!..» —
«Маменьке пожалюся, ей-богу.
Будет вам, как летось...»
                                                            Башмака
корка тарабанится под ногу,
и шатырит передок рука.
«Ой, панычику, боюсь — пустите...»
Завалились, и всему — каюк.
Перепел колотит емко в жите;
выгибает крючкотвор свой крюк,
да не видно: «Шельмы! Подождите,—
вынырнет в Филипповки байстрюк».
А шахтер — неистовая одурь
на него напала, как пчела —
голодранец, прощелыга — лодырь,—
закликает (ноченька светла!)
любу-горлинку на огороды,
где, как паутина, ткется мгла.
Да не прилететь туда Евдохе,—
смутной из крапивы удерет:
сладостны и горьки будут вздохи
в тесненьком чулане — у ворот.
За ночь спину истерзают блохи —
теребил их на постели кот...
И напрасно, ей-же-ей, напрасно

надрывается у хат шахтер,
дуя прелестью разнообразной
на затопленный чернилом двор,—
прелестью, которой непролазный
научил его — степной простор.
Знал бы, как потупит завтра очи
девушка, заметив паныча,
как ресницы — черный хвост сорочий —
распахнутся разом сгоряча,
окропив росою жаркой ночи
кожу век: так брызнут два ключа...
знал бы, зарыдал бы сдуру...

1912

ВОЛК

Живу, как вор, в трущобе одичавший,
впивая дух осиновой коры
и перегноя сонные пары
и по ночам бродя, покой поправши.
Когда же мордой заостренной вдруг
я воздух потяну и — хлев овечий
попритчится в сугробе недалече,—
трусцой перебегаю мерзлый луг
и под луной, щербатой и холодной,
к селу по-за ометами крадусь.
И снега, в толщь прессованного, груз
за прясла стелет синие полотна.
И тяжко жмутся впалые бока,
выдавливая выгнутые ребра,
и похоронно воет пес недобрый:
он у вдовы — на страже молока.
«Не спит, не спит проклятая старуха!»
Мигнула спичка, желтый свет ожог.
Чу!
  Звякнул наст...
                              Как будто чей прыжок...
Заиндевев, свернулось трубкой ухо...

1912 (1922)

ПОРТРЕТ

*Взглянь на род человеческий. Он ,
ведь есть книга: книга же черная.*

Гр. С. Сковорода

Мясистый нос, обрезком колбасы
нависший на мышастые усы,
проросший жилками (от ражей лени),—
похож был вельми на листок осенний.
Подстриженная сивая щетина,
из-под усов срывалась — в виде клина;
не дыней ли (спаси мя от греха!),
глянь, подавилась каждая щека?
Ленивей и сонливей лопухов,
солонки сочные из-за висков,
ловя, ховая речи, вызирали
печурками (для вкладки в них миндалин).
А в ямках-выбоинах под бровями
два чернослива с белыми краями,
должно быть, в масле (чтоб всегда сиять),
полировали выпуклую гладь.
И лоб, как купол низенький извне,
обшитый загорелой при огне,
потрескавшейся пористою кожей,
проник заходиной в колосьев ложе;
и взмылила главы обсосок сальный
полсотня лет, глумясь над ним нахально:
там — вошь сквозная, с точкою внутри,
впотьмах цепляет гнид, как фонари.

ГАДАЛКА

Открой, аще можешь, сердца тво го бездну.

Гр. С. Сковоро

Слезливая старуха у окна
гнусавит мне, распластывая руку:
— Ты век жила и будешь жить — одна,
но ждет тебя какая-то разлука.
Он, кажется, высок и белоус.
Знай: у него — на стороне — зазноба...
На заскорузлой шее — низка бус:
так выгранить гранаты и не пробуй!
Зеленые глаза — глаза кота,
скупые губы — сборками поджаты;
с землей роднится тела нагота,
а жилы — верный кровяной вожатый.
Вся закоптелая, несметный груз
годов несущая в спине сутулой,—
она напомнила степную Русь
(ковыль да таборы), когда взглянула.
И земляное злое ведовство
прозрачно было так, что я покорно
без слез, без злобы — приняла его,
как в осень пашня — вызревшие зерна.

1912

УПЫРЬ

О нетопыры! Горе тебе! Творящему свет тьмою.
Гр. С. Сковорода

Свежей глины невязкий комок
безобразно-паучьей усмешкой
перекривлен: два щуплых орешка
запустил под плеву старичок.
Ерепенясь, пронзительно-звонко
заливается он — божий дар:
туго-натуго сгорнут пеленкой,
отрыгнувшей протухший угар.
А над люлькой — приземистой мамки
щепетильная дмётся копна:
в ней — нудота потрепанной самки
да пыхтенье пудового сна.
И, тягая из кофты грязнющей
гретый мякиш с прижухлым стрючком,
утоляет прорыв негниющий —
идиота с набрякшим лицом.
Невдомек ротозейке-неряхе,
молоко отдоившей из гирь
(иль из дуль, впрок моченных?),— что взмахи
перепонок вздымает во мраке
захлебнувшийся пойлом упырь;
что при гноте жестяной коптючки —
в жидком пепле — дитенок чудной
всковырнется и липкие ручки,
как присоски при щедрой получке,
лягут властно на плечи, и — вой...

1912

ВИЙ

ЛЕВАДА

Ой, левада несравненная
Украинския земли!
Что мне Рим?
И что мне Генуя,
Корольки и короли?

В косовицу (из-за заработка)
В панские пойду дома.
Спросит девушка у парубка:
— Кто вы?
— Брут.
— А звать?
— Хома.

Усмехнется темно-розовым
Ртом — и спрячется в дверях.
И уйду Хомой-философом,
Весельчак и вертопрах.

Иволга визжит средь зелени,—
Нет, не птицы т а к поют.
Крокодил торчит в расселине:
Ящеричный там приют.

Свинтусу расстаться с лужею
Очень, очень не легко:
Дышит грудью неуклюжею,
Набирает молоко.

Супоросая!..
Под веткою
(Глубоко от клюва птиц)
Гадом, лысою медведкою,
Сотня сложена яиц.

Пресмыкайся, земляной рак,
Созревай, яйцо-икра!
Мох — не мох, а мягкий войлок:
Яйца высидеть пора.

Сколько кочек!
Их не трогали,
Их не тронут косари:
Пусть растут, как и при Гоголе...

Ты со мной поговори,
Украина!
Конским волосом,
Бульбой был бунчук богат...
Отчего же дочка голосом
Кличет маму из-за хат,
Пробираясь наугад
Меж крапив и конопляников?
А на ярмарке — одеж
Для красуль, монист и пряников
Тоже прежних не найдешь...

Украина!
Ты не та уже,
Все кругом в тебе не то...
На тебе — очипок: замужем!
Пусто молоко: снято!..
Как же быть Хоме с левадою,
Парубку: косить траву?..
Бурсаком на горб я падаю —
В лунном бреде, наяву.

Подыму полено медленно,
Стану бить по масти ведьминой —
От загривка до бедра...
В Глухове, в Никольской, гетмана
Отлучили от Петра...

А теперь — играй ресницами
Перед свежим женским ртом
Там, за бойней, за резницами,
Где мелкопоместный дом.

А теперь — косою, жаркою
От песка (с водой лохань),
Парубок, по травам шаркаю.
Подле — реченька Есмань...

Ой, левада!
Супоросого
Края бульбу держишь ты...
Доведешь ты и философа
До куриной слепоты!

1910

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Журавли на улице поскрипывают,
А другие пронеслись давно.
И пропахнул сад корою липовою,
Талым днем и всем, что негою дано.

Вылез дед, на солнышко посетывая:
Не печет.— Иглится пыльный пруд.
Медуницы красно-фиолетовые
Не сегодня завтра в роще зацветут.

Мреет пар над ветхою завалиною —
Под окошком радужным избы:
Малевал с мечтою опечаленною:
Были ставни бы, как небо, голубы.

Стая весен пела над серебряною
Головою. И опять — весна...
Но за жизнью, былями одебрянною,
Смерть летит, как кобчик пестренький грозна.

⟨1911⟩

НА ДАЧЕ

День, как голубь, встрепенулся
Желтым, розовым и синим.
За окном плывет, плывет.
О, быть может, взором долгим
И любовным мы окинем
Стекла выпуклые вод?
Неулыбчиво и косо
Смотрит дева из террасы —
На поля скользящих шляп.
Глубью светятся аллеи.
Пляшет пруд голубоглазый.
Рой стрекоз уже ослаб.
Зной течет, как мед из сота.
Чуть вздыхает на балконе
Занавесок кисея.
Ободки шляп — кругло-узки.
Фаэтон промчали кони,
Пыль янтарную вия...

⟨1911⟩

ОСЕННЯЯ СКАЗКА

Сергею Городецкому

Бродила по лесу, срывая капли
Оранжево-янтарной костяники.
Синели руки — худенькие: зябли,
И их царапал-грыз терновник дикий.

Осенний день был холоден и строен.
И влажный мох был вязок, точно тина.
В попутный яр — меж дождевых промоин —
Приволоклась кисейка паутины.

Приволоклась и растянула сети:
Загорожу путь,— шепчет поползунья.
А под косматой елью, в полусвете,
Застряла, сгорбилась изба колдуньи.

Спал, размалеван киноварью жгучей,
На вершняке нахохлившийся петел.
И дверь-дупло, заткнутое онучей.
И тын — не в тын: и ветх и дрябло-светел.

И тень, змеей чуть-чуть голубоватой,
Оплыла, как ледок, на пни, на бревна.
И по углам перекрестились схваты,
И кто-то поворочал их неровно.

Медвежий дух, тяжелый, сонно-теплый,
Возник, как дым, из узкого оконца.
И серое лицо — серее воблы —
Метнуло в щели два зрачка-червонца.

Раскрыла ротик девочка и стала:
Сосульки белые висят под крышей,
Хоть осень в роще теплится устало,—
А крыша, как сироп, как тесто — выше!

— И, то-то, заглянула в гости к бабке,—
Грозится крючковатый палец-коготь.
И рыжий кот вытягивает лапки:
Ему бы сливок в погребе потрогать.

Дрожит, дрожит испуганный ребенок
Под длинным зорким взглядом хищной птицы...
И подойти боится. Сипл и тонок
Протяжный клекот старой ястребицы:

— А много ль ягодок нашла-то, ягод?
Небось и на ладонь не уложила?
Вон в полнолунье листики полягут,
Тогда зальется ягодная сила.

Ну, ну, покаж...— И гнется коготь цепкий
В передник рваный девочки-тростинки...
Окутав фиолетовые щепки
Сосны погибшей, блещут паутинки.

Сияет серебристый долгий волос.
Не седина ль осенняя сверкает?
И сипл, и тонок злой старуший голос.
А день — колодец света — иссякает.

Ложится тень угрюмыми крылами —
Все зеленей, все шире — травянисто.
Наверно, за опушкой плещет пламя
И кровью в облачные бьет мониста.

Дохнуло холодком. И кот — где делся?
Течет сироп с громоздкой рыхлой крыши.
Строй елок — ворожей хвоёй распелся,
И завозились иглы, словно мыши.

Нет девочки... В избе — писк хволой птицы.
Соленый запах тянется в оконце.
И толстая слюда на нем искрится,
Как муть бельма, попавшего на солнце.

⟨1911⟩

ЗИМНЯЯ ТРОЙКА

Колокольчик звякнул бойко
Под дугой коренника,
Миг, и — взмыленная тройка
От села уж далека.
Ни усадьбы, ни строений —
Только: вехи да снега
Да от зимней сонной лени
Поседелые луга.
Выгибая круто шеи,
Пристяжные, как метель,
Колкой снежной пылью сея,
Рвут дорожную постель.
А дорога-то широка,
А дорога-то бела.
Солнце — слепнущее око —
Смотрит, будто из дупла:
Облака кругом слепились
Над пещеркой голубой.
И назад заторопились
Вехи пьяною толпой.
Закивали быстро вехи:
Выбег ветер — ихний враг.
И в беззвучном белом смехе
Поле прянуло в овраг.
Под горой — опять деревня,
С красной крышей домик твой;
А за ним и флигель древний
Потонул, нырнул в сувой.
— Вот и — дома. Вылезай-ка
Поживее из саней!
Ну, встречай гостей, хозяйка,
Костенеющих — родней!—
Снова кони, кучер, сани —
Оторвались от крыльца.
А в передней — плеск лобзаний,
Иней нежного лица.

⟨1911⟩

СМЕРТЬ

Река, змеясь по злым долинам,
В овраг вошла о край села;
Там церковь в золоте старинном
Тяжелый купол подняла.

Дорога в ветлах — так печальна,
Еще печальней синий взгляд
Осенних сумерек, прощально
Скользящих в парк, где пни горят.

Они пылающей листвою
Занесены и — как костры.
И светят зеленью живою
Лишь сосны, иглы чьи — остры.

А в доме, белом и безмолвном,
Над гробом свечи возжжены:
Благоуханный ладан волнам
Лиловым отдал лик жены.

Неугасимое страданье —
Острее колких игл, и в нем
Сквозит с краснеющею дланью
Фигура ангела с мечом...

Прозрачна синь грядущей ночи,
Всей — в шепоте и вздохах снов;
И неземных сосредоточий
Полна печаль немых венков...

Фамильный склеп закроет скоро
Парчу и розовый глазет,
И крупные цветы, и взора
Под бледным веком круглый след...

Но от морщин ли тонко-четких
Усопшей барыни иль так —
Плывет суровость. И решетки
Хрипят под шагом: сон иссяк.

Струятся свечи. Жмется дворня,
А тени пляшут по стенам —
Лохматей, шире и проворней,
Ох, будет, будет лихо нам!

Прядет дьячок сугубым ритмом
Из книги кожаной псалом,
И капли воска по молитвам
Горячим катятся стеклом.

Тяжел и низок церкви купол.
И Ангел пасть уже готов.
— Смотри: Он склепа герб нащупал!
И крупен снег чужих цветов.

⟨1911⟩

* * *

Сегодня весь день на деревне
Кричат красноглазые певни,
А в воздухе тлеет тепло.
От хат коноплей отгоняет
И матовым блеском играет
Заплывшее окон стекло.
Морщинистой кожею-пленкой
Рябится под рощицей тонкой
Заозерных заводей ряд.
И в пестрых косынках старухи —
Давно они — слепы и глухи —
По призьбам сычами сидят.
Невесело греться на солнце,—
Когда уже жизнь веретенце
Денечков земных довила;
Когда — от кручины и скорби —
На спинах повылезли горбы
И — смотришь сычом из дупла...
А день — и зыбуч, и раздолен.
С незримых святых колоколен,
С небес — все летят голоса.
Ах, жаворонки-колокольцы!
В Печеры бредут богомольцы
Разлужьем, где клад поднялся.
Идите, идите чрез рощи —
Увидеть холодные мощи,—
По рощам медянка горит...
Сутулятся, жмурятся бабы.
А в панской усадьбе, где рябо,
Цесарка призывно зарит
Свое одиночество вешней
Печальной-печальной любовью...

⟨1911⟩

ЛЕТОМ

Уж солнце, отойдя к лугам,
Запало в глубь далеких рощ;
И по широким лопухам
Закапал редкий крупный дождь.
За буйною слезой слеза
Ударила в стекло окна;
Сверкнула молния в глаза,
Блеснула пламенем она,—
И гром раскатом дом потряс,
И серый сумрак двор закрыл...
И щедрый ливень добрый час
Шумел в саду и воду лил...
Затем, когда гроза ушла,—
Лужайка стала озерком,
И в небе радуга легла
Зеленоватым ободком.
Свистели иволги, и свист
Переливался и звенел;
Ручей болтал, журчал и пел,
И сад был ярок, свеж и чист...

1911

ИЗ ЦИКЛА «УЩЕРБ»

Улыбнулся древнею улыбкою —
Холодна улыбка полумесяца!—
И застыл над люлькой ночи зыбкою,
Чтоб загрезил тот, кому не грезится.

Бледным пеплом поле заморозило,
Замело пригорки за провальями,
В просини позеленело озеро
Под березами светло-усталыми.

Тени в ужасе успели вырасти
Длинными, как повилики, стеблями,
И плеснулся воздух тягой сырости,
Чьими-то губами чуть колеблемый.

На паучьих лапах на прогалину
Выполз лесовик, в ручье полощется...
И в ручье болтается оскаленный,
Тот, пред кем закоченела рощица...

⟨1911

ПАСХА

1. КРАСНАЯ

Пасха красная, Пасха красная.
Зелень, бутыли, торты...
Но улыбаюсь напрасно я:
Балки во льдах затерты.
Издали колокол тянется
Звоном глухим в окошко.
И качаюсь я — белый пьяница.
Что — я: улитка, сошка?
Веет хутором гул. Укра́ина.
Где же бунчук Мазепы,
Волосом конским нечаянно
Перевитый нелепо?..
Гетману ль никнуть пред радою
Иль Запорожью плакать?..
Шум пасхальный, шум, я падаю!..
За огородом — слякоть.
Пасха красная, Пасха красная:
В толстых бутылях — вина.
Месячным серпиком гасну я —
Льда на душе не сдвину...

2. ЛЕСНАЯ

Под шепотом, под ветрами сухими
Лесная Пасха — нерушимей.
И я причастен кроткой схиме.
Брожу по узкой радостной поляне
И — все милей мне, все желанней
Черники точек на беляне.
И бусы облачных великолепий —
Все дальше, глубже — все нелепей.
И небо тонет в синем склепе.
В кустах окраинных не испугайся
Платком метнувшегося зайца...
А в хуторе — на блюде — яйца.
Три желтых кулича: два без миндалин,
А третий ягодой завален...

Кругом — кружки лесных отталин.
Кругом — Весна плывет, изюмом вея.
Попеть бы с зябликом живее
И стать бы вдруг горбуньей-феей...
Нос — закорючкой, посох золотистый.
Постой в углу, молчи и — выстой
Янтарно-звонкие мониста.
И, если поцелует, нежно вспыхни:
Румянец свежий — ворог ихний.
И с дятлом над дуплом затихни...
Встречай, встречай на трепетном прогале,
В березах — вешние печали,
Что эту Пасху укачали,
Что душу, как Исуса, искололи
Томлением извечной боли.
И — утечи скорее в поле.
А через межи в хутор белобокий,
Звенящий — вон на солнцепеке —
Хрустящим стрекотом сороки.
И в ясной хате, опустив ресницы,
Целуйся с девой длиннолицей.
Ведь после поцелуй приснится.
И Пасха, алой в небо улетая,
Вздохнет, как лес берез,— святая.
И вновь вздохну, как и тогда, я...

⟨1911⟩

* * *

В доме — сонники да кресла
Да заржавленная пыль...
Сказка ль давняя воскресла?
Иль завяла нежно быль?..

Ночью каждою я слышу
Дряжлый кашель старика...
Месяц капает на крышу,
Разгребая облака.

Туфли шаркают, и люстра
Так таинственно звенит,
Будто стриж какой-то шустрый
Тонко трогает гранит...

Ночь плетется, как волчица
Свежей осенью к реке...
Жалостно комар стучится
В паутине-гамаке...

Я вздыхаю в кресле сидя.
Кресло — маленький ковчег,
Отдающий тете Лиде
Пламя ласковое нег.

Сядешь — скрипнет и охватит
Ленью теплою тебя,
И сидишь на пестрой вате,
Ночь-притворщицу любя.

Ан, не правда? Кто же трется
За стеною?.. Старичок?
И за домом, у колодца,
Без ведра висит крючок?..

У колодца колядует
Да смеется синий свет.
А в ресницы Дрема дует,
В уши сон несет привет...

Говорил мне папа строго —
Помню прыгала я днем:
— Ты при месяце не трогай
Кресла в сумраке ночном!

Ну и тлей. Забыла папин
Я наказ, и — нет тоски...
Ручки — в зернах желтых крапин,
А на спинке — коготки.

⟨1911⟩

* * *

Снова август светлый и грустящий,
Снова тишь и неба синева;
Бродят вздохи, шорохи по чаще,
Звоны ветра слышатся едва...
Просипит кузнечик на припеке
И заглохнет. Пахнет листопад.
Листья льнут к земле, как лежебоки;
Перегной лесной ореху рад.
И дубы уже роняют желудь —
Колобками скатанный янтарь.
Если хочешь зря посвоеволить,
Подойди к дуплу и в сук ударь.
И в ответ — не гулко и не глухо —
Звякнет домовитое дупло:
Дремлют в нем теперь жуки и мухи.
Все, что смутно к лету отошло.
Все, что было раньше непонятно,
Стало ясным, чистым, как хрусталь:
Эти звуки, эти тени — пятна,
Эта леденеющая даль!
Оттого-то небо умиленней,
Блеск от солнца — суше и косей,—
И на кровью опаленном клене
Связки лап зарезанных гусей...

⟨1911⟩

ГРОЗА

Клубясь тяжелыми клубами,
Отодвигая небосклон,
Взошла и — просинь над дворами
Затушевала с трех сторон.
Вдоль по дороге пыль промчалась,
Как юркое веретено;
Трава под ветром раскачалась;
Звеня, захлопнулось окно.
Упала капля, вслед другая,
И зашумело по листам
И, длинный пламень высекая,
Загрохотало здесь и там...
Но так приветливо сияла
Лазури ясной полоса,
Что все и верило и ждало:
Сейчас-сейчас уйдет гроза,
И снова день прозрачно-яркий
Раздвинет синий свой шатер,—
И радуги цветною аркой,
Сквозя, оцепит кругозор!..

1912

НАКАНУНЕ ОСЕНИ

Уходит август. Стало суше
в родной степи. Поля молчат.
Снимают яблоки и груши:
благоухает ими сад...
Кой-где и лист уже краснеет
и осыпается, шурша...
В истоме сладкой цепенеет
моя усталая душа...
Окончен труд — и опустели
луга и желтые поля;
и вот на той еще неделе
я слышал крики журавля.
Они тянули цепью дружной
на юг, за синие моря,
туда, где Нил течет жемчужный,
струей серебряной горя.
Там у высокой пирамиды,
свалив дороги долгий груз,
они, быть может, вспомнят Русь —
родные болота и виды...
Как будто с каждою минутой —
прозрачный, реже тихий сад...
А небеса стеклом сквозят...
И грустно-грустно почему-то...
Не то я потерял кого-то,
кто дорог был душе моей,
не то — в глуши родных полей
меня баюкает дремота...
Но только жаль, так жаль мне лета,
что без возврата отошло.
И — словно ангела крыло
меня в тиши коснулось этой...
Природа мирно засыпает
и грезит в чутком полусне...
Картофель на полях копают,
и звонки песни в тишине.
И — эти звуки, эти песни,
навек родные, шепчут мне:
хотя на миг, хотя во сне,
о лето красное, воскресни!
1912

ТЕЛЕПЕНЬ И ЕГО СЛУГА

Ражий помещик (длиннющие руки
И широченная лапа-ступня),
Влезши в короткие (в клеточку) брюки,
Брюзгнет, как перепел, день изо дня.

Что-то знакомых не видно давненько,
Законопатился в отчем и сам...
Вон на крыльце (на парадном) ступенька
Плесенью кроется: ей бы — ко мхам.

Скоро, пожалуй, и крыша из теса
Рухнет, расплющив чердачную ларь...
Только высокие — в сажень — колеса
Катят карету, отживший фонарь.

О, как торжественно, в праздник стремится
В церковь, влекомая парой коней!..
Спицы мигают. Дорога дымится.
А на запятках — в ливрее лакей.

Пуху подобно расчесаны баки,
Выбрил старательно старый усы...
Будка. Баштаны. Отхлынули злаки,—
Брешут и к дышлу кидаются псы.

Весело телепню: месят подковы,
Девки, шарахаясь, липнут к плетню.
И расправляется глоткой здоровой:
— Эй, вы, такие-сякие, тю-тю!

А на запятках, прижавшись, как муха,
И расползаясь улыбкой на крик,—
Вежливо клонит к окошечку ухо
В траченной молью ливрее старик.

1911—1912

* * *

Подкатил к селу осенний праздник
На возку, расписанном в полоску.
Молвит мужу попадья: «Подрясник
Хоть чуть-чуть почистил бы от воску.

Как закапал на Илью у кума,
Как повесил на гвоздь в гардеробе,—
И забыл про пятна от изюма,
А в изюме, знаешь, полы обе...»

«Не ворчи»,— устало огрызнулся,
В портсигаре шаря папиросу.
Теплым, вязким дымом затянулся,
Выпустил его в воронки носа.

А потом, потрогав пальцем книжку,
В кожаном тисненом переплете,
Постучал в серебряную крышку,
Что досталась с чайницей от тети,—

Вышел, головою в такт кивая,
Напевая что-то, из столовой.
Скрип, и — принесла рука рябая:
Рукава с раструбами — лиловый.

«Спиртиком, а тут — на самоваре»,—
Отряхнул, глаза, как кошка, щуря.
«Марфа, самоварчик!» — «Да угарит.
Батюшка, никак и вам накурит...»

«Матушка, нельзя ли будет ваты
Раздобыть у вас: поскресть бы полы...»
И с улыбкой льстивой виновато
Наклонился поп к жене тяжелой.

«Вечно, право, Федя, ты беспечен»,—
Вскинув очи серые, сказала
Та, живот кого был изувечен,
И в зрачках страдание сияло.

И, стрелой нездешнею пронзенный,
Убиенный духом голубиным,
Ясно понял поп, что непреклонный
Лютый призрак — здесь, а не за тыном!

Не за садом, тихим и приветным,
Золотом окрапанным,— а в доме
Поселилась смерть, дабы с последним
Милым вздохом — все отдать истоме...

И во взор попа голубоватый,
Верно, ужас заглянул уродом,
Что супруги, наподобье статуй,
Обмерши, застыли над комодом.

А когда прислуга притащила
С талиею низкою и узкой
Грузный звучный самовар,— уныло
Пили долго-долго чай вприкуску.

⟨1913⟩

ГАДАНЬЕ

Нападет вранье на воронье.
Тянется, ворочается сволочь,
Свекорья — на якорь, и с родней
У ворот не достучаться полчищ.
А сугробы лбами намело,
Сквозь подсвечник светится сочельник.
И петух сочится на мелок
Лютым клювом: выискался мельник!
Он вошел, и пыльный чернозем
Ярким мелом начертил двенадцать,
Сругучом печатку и — при сем
Следует, сказал, распеленаться.
Валенки долой, долой кожух:
На пол, об пол — вроде как и надо б
Он сказал, и что ему скажу:
Козырек петуший над ушатом.
Теплая оскомина во рту
И помет куриный красит святки.
К черту четверговую черту,
Тело выспится в телячей схватке.

ОХОТНИК

Стеклянный взор усопшей птицы,
Убийства ангельский позор —
Влечет охотник смуглолицый
В бездумный синий кругозор.

Но всех похитчиков счастливей
Он, возлюбивший весь и кровь:
— Пусть душегубка там, в заливе;
Скоблит волны тугую бровь;

Пусть груз мертвеющий в ягдташе,—
Не больше, чем омет куста:
Но тишины небесной краше
Ему — земная маета.

1913

ПЛОТЬ

Сергею Ингулову посвящаю

Что подвиги? Подвижничество — мир.

В. Г.

* * *

Бездействие не беспокоит:
не я ли (супостаты, прочь!) —
стремящийся сперматозоид
в мной возлелеянную ночь?
От бытия, податель щедрый,
не чаю большего, чем кто
от лопающейся катедры
перетасовки ждет лото.
И, наконец, обидно, право,
что можно лишь существовать,
закутываясь в плащ дырявый
и забывая про кровать.

* * *

Очеловеченной душой — медвежий,
а телом — гад, во плоти всем толку:
— О, без сомнения, одни невежи
болтают про скучище и тоску!
Коль солнце есть,— есть ветер, зной и сляк
и радуги зеленой полоса.
Так отчего же нам чураться злака,
не жить, как вепрь, как ястреб, как оса?
Дыши поглубже. Поприлежней щупай.
Попристальней гляди.
Живи,
чтоб купол позолоченной залупой
увил колонны и твоей любви.

ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА

В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,
сверля глазком калмыцким мутный хлев,
над слизким, втоптанным в навоз корытом
кабан заносит шмякающий зев.
Как тонкий чуб, что годы обтянули
и закрутили наглухо в шпагат,
стрючок хвоста юлит на карауле,
оберегая тучный круглый зад.
В коровьем вывалявшись, как в коросте,
коптятся заживо окорока.
«Еще две пары индюков забросьте»,—
на днях писала барская рука.
И, по складам прочтя, рудой рабочий,
крапленный оспой парень-дармоед,
старательней и далеко до ночи
таскает пойло — жидкий винегрет.
Сопя и хрюкая, коротким рылом
кабан копается, а индюки
в соседстве с ним, в плену своем бескрылом,
овес в желудочные прут мешки.
Того не ведая, что скоро казни
наступит срок и — загудит огонь
и, облизнувшись, жалами задразнит
снегов великопостных, хлябких сонь;
того не ведая, они о плоти
пекутся, чтобы, жиром уснастив
телá, в слезящей студень позолоте
сиять меж тортов, вин, цукатных слив...
К чему им знать, что шеи с ожерельем,
подвешенным, как сизые бобы,
вот тут же, тут, пред западнею-кельей,
обрубят вдруг по самые зобы,
и схваченная судорогой туша,
расплескивая кляксы сургуча,
запрыгает, как под платком кликуша,
в неистовстве хрипя и клокоча?
И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна, хоть смутно, подсказала,

что ждет его прохладный нож и дым?..
Молчите, твари! И меня прикончит,
по рукоять вогнав клинок, тоска,
и будет выть и рыскать сукой гончей
душа моя ребенка-старичка.
Но, перед Вечностью свершая танец,
стопой едва касаясь колеса,
Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,
и кровь его — убойная роса».
В раздутых жилах пой о мудрых жертвах
и сердце рыхлое, как мох, изрой,
чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мертвых,
утробою отравленная кровь!

1913 (1922)

ЧЕТА

Блаженство сельское!
Попить чайку
с лимоном, приобретенным в лавчонке,
где продавец, как аист, начеку,—
сухой, предупредительный и звонкий;
прихлебывая с блюдечка, на дне
которого двоятся Китеж, лавра,
о мельнице подумать, о коне
хромающем: его бы в кузню завтра...
И, мысли-жернова вращая, вдруг
спросить у распотевшейся супруги:
— А не отдать ли, Машенька, на круг
с четвертой тимофеевку в яруге?..—
И баба в пестром плисовом чепце,
похлопав веками (совсем по-совьи),
морщинки глубже пустит на лице,
питающемся вылинявшей кровью,
обдернет скатерть и промолвит: — Ну...—
И это «ну» дохнет годами теми,
когда земля баюкала весну,
как Ева и Адама сны в Эдеме.
О время, время!
Скользкое, как уж,
свернулось ты в душе, и — где же ропот?
— В дежу побольше насолить бы груш,
надрать бы пуху с гусаков...—
И копит
твое бессменное веретено
и нитки стройные, и клочья пакли.
Но вот запнулось, гулкое, оно:
ослабли руки, и глаза иссякли.
И что с того, что хлопотливый поп
похряскивает над тобой кадилом,
что в венчике бумажном стынет лоб,
когда ты жил таким ленивцем милым,
когда и ты наесть успела зоб...
1913 (1922)

БАНЯ

На мокрых плотных полках — скомканные груды
из праотцов, размякших, как гужи:
лоснящиеся, бритые верблюды,
брудастые медведи и моржи.
Из пены мыла, взбитого в ушате
до синей белизны, до горяча,—
выглядывают кстати и некстати
то пятка, то полуовал плеча.
Там рыжего диакона свирепо
вдоль надвое разваленной спины —
березой хлещет огненный Мазепа,
суровый банщик, засучив штаны.
А здесь — худой, с ужимками мартышки,
раскачиваясь, боли покорив,
мочалой трет попревшие подмышки,
где лопнул, как бутон, вчера нарыв.
А сей верзилистый — не Геркулес ли?
Вот только б при корнях упругих ног,
меж яблочных пахов, привесить если
ему фигурный фиговый листок.
И кровь, и мышцы, и мускулатура,—
живые телеса, параличом
еще не потрясенные, Амура
к двенадцати впускающие в дом,—
какому божеству, смывая грязи,
жиров и пота радужный налет,
в глухом самодовлеющем экстазе
из вас хвалу-осанну всякий шлет?
Не матери-земле ль, чтоб из навоза
создать земной, а не небесный рай?
Гуляй в пару, рысистая береза,
по коже спин, по задницам гуляй!
И, доморощенное пекло бани,
выбрасывай свой ярмарочный флаг:
я в облако войду без колебаний
(украинский апостол) в постолах.
Из облака явлюсь,
                                        как Саваоф
                                                            в тюрбане.

1912 (1922)

ПОРЧЕНЫЙ

Сивея, разлагается заря,
как сыворотка мутного тумана.
А здесь — дупло, вздыбленная ноздря
чихнуть собравшегося великана.
А и чихнул бы этот пень-коряга,
да власти нет, да время не пришло.
Ногой куриной сгорблюсь и прилягу:
пусть бродит, спотыкаясь, ночи зло.
Оно и хило, и подслеповато:
вращающееся веретено.
Нос высверлился, как орех, и вата
закисла в мокнущей дыре давно.
Сморкнуться некуда!
И со слюной,
вобрав в себя, проглатывает тину.
А язвы в нёбе щиплет жгучий гной
и судорога четвертует спину.
Вернуться на село?!
О, никогда!
Слоняться под амбарами вдоль улиц,
сгорать и задыхаться от стыда:
родные, как от вора, отшатнулись!
Невеста Соня...
Господи!
И слезы
из безресничных брызнули очей,
и, обхватив руками ствол березы,
от всхлипываний задрожал кащей.
Трясясь, исходит плачем ночи зло,
ублюдок ада, возле пней — у ската
хребта лесного.
Вяло поползло
зеленоватое по губке ваты...

1913

ТИФ

Прикинулся блохою крысиной,
подпрыгнул, как резиновый мяч,
и пал на собаку, чтобы псиной
втереться в казармы, где шумят.
Играют в «дурачки» и в «железку»,
хохочут,— а скользкая блоха
стальная по закалу и блеску,
накачивает сок в потроха.
И ночью, когда кругом погаснет
и жилистый настоится пот,—
клыками первобытными ляснет
и лапами мужика сгребет.
Насядет и, схвативши за глотку,
как яблоки, вылупит белки
и — бросит в баснословную лодку,
в качающиеся гамаки.
Несите, качайте по Тибету,
по Африке, по мерзлой луне,
где карт и революции нету,
где думать не надо о жене!
Не скиф, а щеголь великосветский:
в небрежный галстук вколот рубин...
И разве этот голый в мертвецкой —
изысканнейший тот господин?..
Скуластый, скрюченный, белобрысый,
и верхняя припухла губа...
Мошонку растормошили крысы,
и — сукровицу можно хлебать!..
Узнает жена лишь по рубашке,
а дочка не узнает уже...
Так вот какой навоз для запашки,
сыпняк, ты месишь и без дрожжей!
Простер над жизнью людскую кару,
прикинулся знойною блохой
и — скачешь, скачешь по тротуару
за долей, старушкою глухой...

1919

САМОУБИЙЦА

В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!

А. Пушкин

Ну, застрелюсь. Как будто очень просто:
нажмешь скобу — толкнет, не прогремит.
Лишь пуля (в виде желвака-нароста)
завязнет в позвоночнике... Замыт
уже червовый разворот хламид.
А дальше что?
Поволокут меня
в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дожидался дня.
И не заметят, что, быть мóжет, гвозди
концами в сонную вопьются плоть:
ведь скоро, все равно, под череп грозди
червей забьются — и начнуть полоть
то, чем я мыслил, что мне дал господь.
Но в светопреставленье, в Страшный суд —
язычник — я не верю: есть же радий.
Почию и услышу разве зуд
в лиловой прогнивающей громаде,
чьи соки жесткие жуки сосут?
А если вдруг распорет чрево врач,
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи,
как вымокший заматерелый грач
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,
разбухший вывалю кишок калач.
И, чуя приступ тошноты: от вони,
свивающей дыхание в спираль,—
мой эскулап едва-едва затронет
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,
зубов необлупившихся эмаль.
И вновь — теперь уже как падаль — вновь
распотрошенного и с липкой течкой
бруснично-бурой сукровицы, бровь

задравшего разорванной уздечкой,—
швырнут меня... И будет мрак лилов.
И будет червь, протиснуться стремясь
меж мускулов, головкою стеклянной
опять вбирать в слепой отросток мазь,
чтоб, выйдя, и она по-над поляной
поганкой зябнущею поднялась.
И даже глаз мой, сытый поволокой
(хрусталиком, слезами просверлив
чадящий гроб), сквозь поры в недалекий
переструится сад, чтоб в чаще слив,
нулем повиснув, карий дать налив...
Так, расточась, останусь я во всем.
Но, собирая память, кокон бабий
и воздух понесет, и чернозем,—
и (вырыгнутый) прокричу о жабе,
пришлепывающей (комок — весóм)
в ногах рассыпавшегося меня...

1914 (1921)

ЗНОЙ

Упал, раскинулся и на небо гляжу.
В сиропе — в синеве густой — завязнуть хочет
расслабленный, дрожащий судорожно кобчик.
А зной, как ливень: в жито, в жито — чрез межу.
Голубенькая глупенькая стрекоза
прилипла к льющемуся колосу — и жмутся
морщинистые складки живота; смеются
две пуговицы перламутровых: глаза.
Лупатая!
Висишь над самой головой
и слушаешь, как надрывается кузнечик.
Смешно, что нынче я — никчемный человечек,
сраженный зыбкой негой, млею, чуть живой?
Ну, да.
Зато, когда б сквозь жаркий и зеленый
и васильковый бор сюда вдруг забрела
она — и ты, как пасечник во дни урона,
во дни ройбы промолвила бы:
— Вот и рай...

1915 (1922)

* * *

Одно влеченье: слышать гам,
чуть прерывающий застой,
бродя всю жизнь по хуторам
Григорием Сковородой.
Не хаты и не антресоль
прельстят, а груша у межи,
где крупной зернью лижет соль
на ломоть выпеченной ржи.
Сверчат кузнечики.
И высь —
сверкающая кисея.
Земля-праматерь!
Мы слились:
твое — мое, я — ты, ты — я.
Мешает ветер пятачки,
тень к древу пятится сама;
перекрестились ремешки,
и на плечах опять сума.
Опять долбит клюка тропу
и сердце, что поет, журча,—
проклюнувшее скорлупу,
баюкаемое курча.

ВДОВЕЦ

Размякла плоть, и — синевата проседь
на реденьких, прилизанных висках.
Рудая осень в прошлое уносит
и настоящего сдувает прах.
В бродячей памяти живут качели —
в скрипучих липах — гонкая доска.
Колени заостри, и — полетели,
нацеливаясь в облака.
И разве эта цель была напрасной?
Все туже шла эфирная стезя,
и все нахальнее метался красный
газ пред лицом, осмысленно грозя.
Но слишком дерзостен был и восторжен
(с пути долой, тюлени-облака!)
полет, должно быть, если вечный коршун
скогтил, схвативши лапой, голубка.
И только клуб да преферанс остался,
да, после клуба, дома Отче наш,
да целый день мотив усталый вальса,
да скука, да стихи, да карандаш...

СТОЛЯР

Визжит пила уверенно и резко,
рубанок выпирает завитки,
и неглубоким желобком стамеска
черпает ствол и хрупкие суки.
Кряжистый, низкий, лысый, как апостол,
нагнулся над работою столяр:
из клена и сосны почти что создал
для старого Евангелья футляр.
Размашистою кистью из кастрюли
рука медовый переносит клей,—
и половинки переплет сомкнули
с колосьями не из родных полей.
Теперь бы только прикрепить застежки,
подернуть лаком бы, да жалко,— нет...
В засиженные мухами окошки
проходит пыльными столбами свет,
осенний день чрез голубое сито
просеивает легкую муку.
И ею стол и лысина покрыты,
и на столе она и на суку.
О светлая, рассыпчатая манна!
Не ты ль приветствуешь господень труд,
не от тебя ли тут благоуханно,
и мнится: злаки щедрые растут?
Смотри, осенний день, и на колосья,
что вырастить, трудясь, рука могла.
Смотри и молви:
— Их пучок разросся
цветеньем Ааронова жезла!

1912 (1922)

* * *

Цедясь в разнеженной усладе,
вся жизнь текла и — протекла.
Но как побрел бы, бога ради,
поклянчить грубого угла!
К сохе, в степи, где край непочат,
подвесть мордатого коня,
и, знаю, ветры защекочут
руками хлябкими меня.
И, только солнце выткет кокон,
в него залезет и замрет,—
чрез прясло, возле влажных окон,
перевалиться в огород,
нарвать моркови и укропа,
гнездо картофеля подрыть
и после, в печке низколобой,
сгребая пену, суп варить...
И, помянув Христа во вздохе,
отдаться тяге сна легко,
чтоб видеть медленные сохи
на горизонте — далеко...

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Как быстро высыхают крыши.
Где буря?
Солнце припекло!
Градиной вихрь на церкви вышиб —
под самым куполом — стекло.
Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду —
метавший ледяные зерна,
гудевший в небе на лету.
Овсы — лохматы и корявы,
а рожью крытые поля:
здесь пересечены суставы;
коленцы каждого стебля!
Христос!
Я знаю, ты из храма
сурово смотришь на Илью:
как смел пустить он градом в раму
и тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
я богохульствую, я лгу —
твоя раздробленная голень
на каждом чудится шагу.

1913

СИРИУС

Ангел зимний, ты умер.
Звезда
синей булавкою сердце колет.
Что же, старуха, колоду сдай,
брось туза на бездомную долю.
Знаешь, старуха, мне снился бой:
кто-то огромный, неторопливый
бился в ночи с проворной гурьбой,—
ржали во ржах жеребцы трубой,
в топоте плыли потные гривы...
Гулкие взмахи тяжелых крыл
воздух взвихрили, и — пал я навзничь.
Выкидышем утробной игры
в росах валялся и чаял казни.
Но протянулась из тьмы рука,
вылитая — верь! — из парафина.
Тонкая, розой льнущая, ткань,
опеленав, уложила в длинный
ящик меня.
Кто будет искать?
Мертвый, живой — я чуял:
потом
пел и кадил надо мною схимник,
пел и кадил, улыбался ртом,—
это не ты ли, мой ангел зимний?
Это не ты ли дал пистолет,
порох и эти круглые пули?..
Песья звезда, миллионы лет
мед собирающая в свой улей!
Ангел, ангел, ты умер.
Звезда,
что тебе я — палач перед плахой?..
В двадцать одно сыграем-ка.
Сдай,
сдай, ленивая, сивая пряха!

СЕАНС

Для меня мир всегда был прозрачней воды.
Шарлатаны — я думал — ломают комедию.
Но вчера допотопного страха следы
словно язвы в душе моей вскрыл этот медиум.
С пустяков началось, а потом как пошло
и пошло — и туда, и сюда — раскомаривать:
стол дубовый, как гроб, к потолку волокло,
колыхалось над окнами жидкое марево,
и звонил и звонил, что был заперт в шкапу,
колокольчик литой, ненечаянно тронутый.
На омытую холодом ровным тропу
двое юношей выплыли, в снег опеленуты.
Обезглавлен, скользя, каждый голову нес
пред собой на руках, и глаза были зелены,
будто горсть изумрудов — драконовых слез —
переливами млела, застрявши в расщелинах.
Провалились, и — вдруг потемнело,
но дух
нехороший, тяжелый-тяжелый присунулся.
Даже красный фонарь над столом — не потух! —
почернел, как яйцо, где цыпленок наклюнулся.
— Ай-ай-ай,— кто-то гладит меня по спине,—
дама, взвизгнув, забилась плечами в истерике.
Померещилось лапы касанье и мне...
Хлынул газ из рожков — и на ярком мы береге.
— Боже, как хорошо! — мой товарищ вздохнул,
проводя по лицу трепетавшими пальцами.
А за ставнями плавился медленный гул:
может, полночь боролась с ее постояльцами.
И в гостиной — дерзнувший чрез душу и плоть
пропустить, как чрез кабель, стремление косное —
все не мог изможденный еще побороть
сотворенное бурей волнение грозное.
И, конечно, еще проносили они —
двое юношей, кем-то в веках обезглавленных,—
перед меркнущим взором его простыни
в сферах, на землю свергнутых, тленом отравленных.

1913 (1922)

* * *

Она некрасива.
Приплюснут
обветренный нос, и глаза,
смотрящие долго и грустно,
не раз обводила слеза.
О чем она плачет — не знаю,
и вряд ли придется узнать,
какая (святая, земная?)
печаль ее нежит, как мать.
Она молчалива.
И могут
подумать иные:
горда...
Но только оранжевый ноготь
покажет луна из пруда,—
людское изменится мненье:
бежит по дорожке сырой,
чтоб сгорбленной нищенской тенью
скитаться полночной порой.
Блуждает, вздыхая и плача,
у сонных растрепанных ив,
пока не плеснется на дачу
пунцовый восхода разлив.
И снова на трухлой террасе
сидит молчаливо-грустна,
как сон, что ушел восвояси,
но высосал душу до дна.

1912 (1916)

ЛЮДСКАЯ ПОВЕСТЬ

Летучей мыши крыло
задело за сердце когтем,—
и грудь — пустое дупло,
хоть руку засунь по локоть.
Сегодня, завтра, вчера —
все тот же сумрак в деревьях:
кленовые вечера
в раскидистом, добром чреве.
Нет плоти и — нет греха,
нет молний мертвецких ночью...
Сутулого жениха
заластили по-сорочьи.
Как вздернут лукавый нос!
И солнце поет в веснушках!
Худой, привязчивый пес —
я с Вами, моя пастушка!
Лиловое, синь кругом:
цветочки: иван-да-марья.
Откуда же этот гром,
удушье тягучей гари?
Ах, девушка, всех милей,
не девушка, а наяда...
Душа!
Как пес, околей!
Под тыном валяйся, падаль!

ПОКОЙНИК

В прихожей — выщербленный рукомойник
да на лежанке хромоногий кот.
А что, когда вдруг добренький покойник
сюда с погоста в сумерках придет?
Шатаясь, в николаевской шинели
с бобровым вылезшим воротником,
войдет, поскрипывая еле-еле
косым, ходьбою сбитым каблуком.
Потрет ладони, связки пальцев грея,
Никиту, может, кликнет впопыхах,
да, вспомнив, что давно прогнал лакея,
закашляется, захрипит в сердцах.
Сурово сдвинет брови, тучей-туча,
стряхнет на стул шинель с костлявых плеч,
и —встанет кот, испуганно мяуча,
коробясь, не осмелится прилечь...
Потом, разглаживая бакенбарды,
прильнувшие к изъеденным щекам,
направится в ту комнату, где карты
раскладывает дряхлая madame.
Качнется тень и поползет портьерой,
окинет взором столик со свечой,
старуху чопорную в тальме серой —
и полукруг пасьянса небольшой.
— Bonjour, Nadine[1],— и щелкнет каблуками,
и ужас заберется в женский взгляд.
Замельтешив крахмальными руками,
старуха вся откатится назад.
В трубе простонет вьюшкою тяжелой
холодный ветер: хватит и швырнет...
А утром девка выцветший околыш
под креслом продырявленным найдет.
Помнет — и в сенцах на чердак забросит:
— Никак, от баринова картуза?
Черт лешего опять, наверно, носит.
Не отмахнуться двойкой от туза...

---

[1] Здравствуй, Надин *(фр.)*.

И — ну мести, да так, чтоб рукомойник
не загремел: ведь старая — больна.
Лежит она.
— Повадился покойник.
Ужели богом власть ему дана?

1913 (1922)

УКРОП

Тянет медом от укропа,
поднял морду, воя, цербер.
Из-за века — глаз циклопа:
полнолунье на ущербе.
Под мельницей ворочает
колеса-жернова
мучарь да нежить прочая,
сама едва жива.
А на горке, за овином,
за цыгельной — ветряки.
Ты нарви, нарви, нарви нам,
ведьма, зелья от руки!
Пошастать бы амбарами,
замки травой взломать:
не помирать же старыми,
такую твою мать!
Прется виево отродье;
лезет в гору на циклопа.
Пес скулит на огороде,
Задыхаясь от укропа.

⟨1913⟩

ЛЮБОВЬ

БРОДЯГА

Ты разглагольствовала, нищета,
Со стоиком, учеником Сенеки;
Сковородою ты была взята
Из бурсы: вынута из-под линейки.
Обезображенная, без имен,
Апулией шаталась, Украиной,—
И твой большак был много раз клеймен
Подковою, находкой соловьиной...
Но даже наискромная из скромных
Домашних пищ покажется хулой,
Когда бродяга, в башмаках огромных,
Толкнется в дверь светящейся скулой.
Чего о семени так властно трубишь,
К хребту приставшая вплотную плоть:
Живот, согревшийся в пеленках рубищ,
И перочинным можно проколоть.
Как башмаки, сбивая по дороге
Наперстки мака, второпях несли
Веселого, что вырос на пороге
Лазоревой, студенческой земли!
Мотнет пивными патлами, ноздрею
Попробует: не пахнет ли борщом?
Его на пир, на сеновал настрою,—
Он перспективой будет обольщен...
Я на него похож: бурсак, бродяга
(грохочет в торбе гиря-просфора).
Меня мутит, и бьет, и гонит тяга,
Как вальдшнепа — в свеченьи фосфора.
Большое тело жалуется на ночь:
Облобызай, облобызай меня,
Кровь преврати в вино — и в теплом чане
Подай к вечере, ушками звеня.
Упрямую да одолею шею,
Да придавлю ее к земле ногой,
И кану в Кану, кану в Галилею —
Непреткновенный, шумный и нагой.

1914 (1922)

* * *

О бархатная радуга бровей!
Озерные русалочьи глаза!
В черемухе пьянеет соловей,
И светит полумесяц меж ветвей,
Но никому весну не рассказать.

Забуду ли прилежный завиток
Еще не зацелованных волос,
В разрезе платья вянущий цветок
И от руки душистый теплый ток,
И все, что так мучительно сбылось?..

Какая горечь, жалоба в словах
О жизни, безвозвратно прожитой!
О прошлое! Я твой целую прах!
Баюкай, вечер, и меня в ветвях
И соловьиною лелей мечтой.

Забуду ли в передразлучный день
Тебя и вас, озерные глаза?
Я буду всюду с вами, словно тень,
Хоть не достоин, знаю, и ремень
У ваших ног, припавши, развязать.

1917
Киев

ЛЮБОВЬ

1

Обвиняемый усат и брав
(мы других в герои не желаем).
Бесполезно спорить с Менелаем:
прав он был, воюя, иль не прав.
Но любовь играет той же дамой
(бархатная, сметливая крыса) —
от широколапого Адама
до крылатоногого Париса.
Что ж дурного, если вдруг она
и в мою щеку вдавила зубки:
так свежи и так душисты юбки,
яблоком накатана луна.
Охраняют, заливаясь лаем,
кобели домок за частоколом.
(Бесполезно спорить с Менелаем,
тяжбою грозящим протоколом.)
Ты не бойся яблочных часов,
в кои плоть не ведает раздора:
сыростью напитанная штора
да табачный запах от усов.
Опадает холодок на плечи
голые.
Усатый молодчина,
лишь теперь я понял, в чем причина
суматохи нашей человечьей.
Лишь теперь я понял: никогда
нам не надо превращаться в кремний.
Пусть — вперед и взад — стегает время,
собирает круглые года;
Пусть течет густая (до колена)
судорога, вьется лай собачий.
Ева ты моя, моя Елена,
что ты в жертве ценишь наипаче?
Выпяченные — бери! — соски?
Виевы ли веки или губы?
Иль в пахах архангеловы трубы,
взятые в утробные тиски?
Мы поймали то, что днем ловили.
И любовь попробует свой рашпиль

не однажды, как и когти филин —
смерть на яблоке двуполой тяжбы.

1915 (1922)

2

Не ночь, а кофейная жижа:
гадать и гадать бы на ней!
Пошла полумесяца лыжа
на полоз моих же саней.
Козлиные гонятся лица,
поблеивают и поют.
Животная шерсть шевелится,
и волос — не гол и не крут.
Куда мне и что мне, заике,
коль ворох соломы тяжел,
коль первый попутный, великий,
огонь лишь туманом прошел.
Валун! То не я ли, дорожный,
сквозь ртутную глянул слезу?
Ухабистый, неосторожный,
везу мое бремя, везу.
Могильникам не развалиться,
за пазуху сунули крест,
и виселицам веселиться —
напраслина! — не надоест.
Под полозом — жарко и скользко,
и ворох соломы тяжел.
Но что мне, заике, до происков,
коль кучер — и тот вот — козел!
Присел, кучерявый, на козлы,
поблеивает и поет.
Чтоб жилой, хомячьей и рослой
(поет) подоило живот,
чтоб, выдавив дышащий розан,
я сам, облысел и умен,
пропал, потому что обсосан,
в киваюшей прорве времен.

1914 (1922)

3

Хорошенько втоптать чемоданы,
запихнув их в горбатый задок...
Канделябр,— провожают каштаны:
греховодный, прощай, городок!
Облака поддувает, как стружки,
наливает штаны у колен.
Над крылечком, к заржавленной дужке,
прицепил свой фонарь Диоген.
А и сколько сырых да курносых
белоногих белуг взаперти
сторожишь, променявшая посох
на четьи непотребных житий?
А и что тебе, пава, до сусла
кровяного, до плоти людской,
коль в лихом и сама ты загрузла,
опустившись с разящей клюкой?
И блюдешь, ястребица, в домашней
канарейчатой юбке враструб,
чтоб не вянуло вымя от шашней,
не болталось у Катек и Люб...
Лопнет месяц-яйцо и прольется
(ну, отваливай, ну, на ночлег),—
от папаши до золоторотца —
всякой твари налезет в ковчег.
И на поте замешено тесто.
Не связует расстрига-поэт
виноградной стопой анапеста
с чревоблудием схимы обет.
(Увести бы отсюда, жениться
на пропащей... несчастной... святой!
Привыкает же к людям синица,
и в трущобе немало цветов...)
Оловянные выстынут лужи.
Но тяжелый и розовый пар
там, где окорок девки белужий,
распирает берлогу, как шар.
И кровать, убаюканный кузов,
на ухабах скрипит и поет
до утра. Одноглазый Кутузов
сквозь мушиный моргает помет —
в щеки брызнуло старческий йод...
Вон из города тащит расстригу.

Детвора разменялась по псам,
тарантас сотрясается.
Прыгай,
мой возок, по ежастым овсам!
Разливается май, златокудрясь.
И ныряет, пророча успех,
мой возок — Мономахова мудрость,—
выбивая мне
— Сидя в санех.

1916 (1922)

НОЧЬ

К полуночи куда прилежней
Перепелиный перебой,
Шмыганье нежитей и лежней
Сквозь полумесяц голубой:
Бутонами обвисла роза,
И каждый лепесток — губа!
И в кочке теплого навоза —
Жука домашняя судьба.
А ты раскинулась на ложе.
Ненасытимая любовь!
И росное чело тревожит
Пером отброшенная бровь.
По волосам, густым, как деготь,
Стекает, вздрагивая, лень —
На грудь, на виноградный ноготь,
На чаши лунные колен.
Под вычерпнутой с детства ямкой —
Пылающего рта разрез...
За белою, за сонной самкой,
Самец, гонись в трущобный лес!
И, не натягивая лука,
Под куст добычу волоки,
Чтоб мутная, хмельная мука
Четыре выжала руки.

⟨1920⟩

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

...Порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок;
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребенок.

Капитан И. Лебядкин

* * *

Водяное в барабане,
И дурачится она:
Жар и сутолока бани,
Одуванчик смутный сна.
В завитом упругом дыме
Убыстряют бег часы:
— Добрый день тебе, Владимир! —
И: — Спокойной ночи, псы!..—
Но любовь одна и та же,
Вне пространств и вне веков,
Метит крестиками даже
Спины гладких пауков,
Нежит в замшевой постели
Шалопая до восьми,
Чтоб вынюхивал он щели,—
Канительный райский змий.
И, когда в последней дрожи
Задымится чадом лесть,
Станет донельзя похоже
На Сатурн все, что есть!

⟨1922⟩

* * *

Глаза, как серьги голубые,
В пушке — курчат и верб — ресниц,
И слезы по щекам, по вые
Текут, чтоб пасть, чтоб кануть ниц.
А ночь протягивает коготь,
Сжимая лапу в темноте,
И хочет месяцем потрогать
Рыдающую от затей.
Плачь и стенай! Паук подходит
Зудеть и закорючкой «З»
Зиять в развернутой колоде,
В мушиной мучиться грозе.
Постой! Я вспомнил: то не ты ли
Украла ночью нож кривой,
Ушла и — после наследили
Кругом. «Ну, что?» — Да, неживой.
И то не ты ль, не твой ли коготь —
Царапаете смуглый лик,
Чтоб горбоносый грубый Гоголь
Был менее при мне велик?

⟨1922⟩

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

(Отрывки из поэмы)

Скучно жить на этом свете,
господа!

Гоголь

1

Вы набожны, высокомерно-строги.
Но разве я не помню, как (давно)
во флигеле при городской дороге
летело настежь, в бузину, окно!
Вас облегал доверчиво и плотно
капот из кубового полотна.
О май! Уж эти тонкие полотна,
уж эти разговоры у окна!
А смерть не ждет.
Не стало в доме дяди,
и тети Клеопатры долг тяжел.
Она живет, чужого счастья ради,
нудясь: скорей бы почтальон пришел.
И, если вечером звонок с хрипотцей
в прихожей поперхнется раз иль два,
какая суматоха разольется
по комнатам, не вымершим едва!
Из Питера вы пишите со скуки:
«Здесь, тетя Капочка, дожди да грязь...»
Блестят очки, и сухонькие руки
берут альбом, завернутый в атлас.
Когда-то тем, кому вы очень близки,
в альбом портрет ваш подарила мать.
И трудно в этой щуплой гимназистке
вас, Александра Павловна, признать!

2

Оранжевые, радужные перья
и женщин судорожные глаза,—
павлинья нефть! И пятнышки на веере,

и вера верб, и заячий Мазай...
Проносится, визжа и выжимая
подол разгульный, регульным кропя
индюшьи яйца, лица, чтоб хромая
дьячиха не взглянула на тебя,
чтоб храм, где хоры спят, твои веснушки
за звезды принял в куполе своем,
чтоб ситцевые сдобные подушки
горошинами грели — кто вдвоем...
Весна.
К ночи́ выматывает жилы
из коконообразных тополей,
и (медуницей чаша просквозила)
фитиль я заправляю дебелей.
Приплюснутую комнату обшарив,
на кухню — тень, где скалок стук и гром,—
и в булке (в сетчатом, дрожащем жаре)
кишмиш сквозь лак продавится угрем.
Однако и в столпотвореньи тела,
яиц, окороков и куличей,
ты, Сашенька, девчонкой пролетела
и опахнула темень горячей
покоса похотливого, и снова
ресницами и веером маня,
и снова искрами дождя дневного
сеча, пронзая, встретила меня —
и просветлела. Мы пойдем к дьячихе,
индюшек будем щупать, ветви гнуть
и мерина пузатого, в гречихе,
за поводок на водопой тянуть.
Там, за амбаром, где хлебают хляби
расплавленную нефть, где волокно
кострики вымоченной,— астролябий
полно к ночи чердачное окно.
Веретеном, капканами, гитарой
(...Прижалась Сашенька к плечу: следи...)
являет звезды, и века-татары
бредут передо мной и позади.
С Мамаем переулками шагаю,
плечо к плечу, со мною Пугачев:
я верю заячьему малахаю
и дереву, цветущему пчелой.

3

Яблоками небо завалило:
на «барашки» нынче урожай.
Пара в дышло — дьявол гривокрылый!—
селезенкой екнула: езжай!
Александра Павловна — бумагу
из волос, из папильоток — прочь,
зонт с оборочкой — и — в колымагу,
чтоб турусы по ярам толочь.
В колее по оси увязая,
пьяное плетется колесо,
и за ним стегает мрак борзая
долгоспинной, верткою осой.
В холоде поблескивают тускло
стекла колымаги, ровный лак;
бьет и бьет перепелиный мускул,
и линяет дальний лай собак.
В супесок удар копыт (бутылок)
глуше — под пригорок с ветряком:
примостился, дурень, на затылок,
встал на четвереньки — пауком,
и колдует в поле по-кожаньи,
снегом осыпает с небеси.
В жерновах — сопенье и ворчанье...
Николай-угодник, пронеси!
И проносит. И уже направо —
жабий, бородавчатый погост:
человечьей пользуют приправой
чернобыльник и лопух свой рост.
Но плывут, попрыгивают хаты,
рыжий глаз мигает и верней
вырубы забора, что рогаты.
Тень, как тушь, и мезонин за ней.
Александра Павловна проворно
ножку на подножку, пурх — в подъезд.
Закрутило б носом и Ливорно:
переносицу амбре проест!
Смоляные разметав, к покою:
коридорчиком — к пуховикам.
Как же ночи сахарной такою
быть, коль жар зыбится по ногам?
И еще: какие панталоны:
сединой насквозь прошел мороз!

Только отчего огонь зеленый
в твой зрачок и в заресничье врос?
— Душно, душно мне!
И жутко! —
Ежась,
ластится борзая,
по хребту
дико шерсть вздымается и — в дрожи,
корчась, лезет сука в пустоту.
Александра Павловна — в капоте:
персей колокольчики и — страх.
Сердце задыхается на взлете:
кто там в коридоре, шах-шарах?
Взять подсвечник?
Нет! И, прижимая
пальцы выточенные к груди,
вся — испуг, крадется, вся немая,
осторожная, за двери, впереди.
А борзая Хлоя задом-задом,
под кровать забилась и — скулит
жалобно.
Луна проходит садом,
он росой отборною налит...
Александра Павловна, дрожите?
Может, разморила вас кровать?
Вдруг за выходом во двор:
— Пустите,
Христа ради, переночевать,—
глухо-глухо старческой утробой
вынянченный голос.
Тишина.
Не кудлатый ли и низколобый
прощелыга клянчит у окна?
И, вся в трепете,— в стекло под аркой:
на ступеньках, морду в лапы ткнув,
хвост зажав, большущая овчарка
обомлела, шевеля копну.
И опять:
— Пустите, Христа ради,
переночевать...—
Дудит в дупло.
А потом — понурую — к ограде,
за балясины, поволокло.
Ты откуда, темный человече?

Светом силуэт твой окаймлен...
Под луной — в антоновке заречье,
сахарами пересыпан клен.
Александра Павловна, что с вами?
Отчего вы мечетесь, ножом
рассекая темень?
— К маме! К маме!
Не хочу я в доме жить чужом!

4

Зеленоватый, легкий и большой,
Удавленник качается на ветке
С дуплом, оглохшим ухом.
А вверху —
Такой же мутный, мертвый полумесяц.
Что за нелегкая сюда несет
И что меня в оцепененьи держит,
Когда дышу, когда глотаю здесь
Вино, исторгнутое из могилы,
Вино, ползущее едва-едва
Чрез горло узенькое полуштофа,
Приплюснутого в толстые бока?
И сукровица зажимает глотку.
А небо в звездах, как кожух в репье,
Мотузка скользкая не оборвется.
Но высунутый репнувший язык —
Он мой, он пьет мою же кровь и слюни!
И не удавленник, рудой, с платком
Намотанным на шее, господинчик,—
А я, веселый, голый и худой,
Созревший плод, болтаюсь на голюке.
И знаю:
Многому я научусь
Под этим месяцем ущербным, много
Переберу я в памяти людей
(Так схимники перебирают четки),
И после, пуповиной перегнив,
Мозутка лопнет, и — облезший, мокрый,
Я упаду, и треснет мой живот,
Кисельным маслом обелив потеки.

Гнусавя под нос, скорчившись, ночлег
Найдя под деревом и в жаркий полдень
Накликав смрадами фольговых мух,
Я потянусь, захлюпаю, я встану —
Чуть снова месяц ззубренным серпом
Распорет чрево,— встану и, хромая,
Межой поковыляю, чтоб потом,
Минув овраг и ток, на хутор выйти...
Ты, пес, не вой!
Окошко, не звени!
Храпи в углу, курносая служанка!
Теплеет кожа, ласковый вельвет,
И пахнет рот, во сне полураскрытый...
Сашурчик! Сашенька!
И ты — одна?
А где же муж, возлюбленный тобою?
Иль в тарантасе в город укатил
На ярмарку?
Не бойся: это — Воля...
Теплеет кожа (пепел мой живой!),
И бьется жила медленно и ровно,
И пахнет рот.
А под белком моим,
Под веком вывернутым, безресничным,
Торчат кривые вепрьевы клыки
И, распирая челюсти, все ниже
За подбородок тянутся, и вот —
Впились, урча, и вот — всосались в горло.
Сашурчик! Сашенька!
Ты, как тогда,
Во флигеле (забыла?) вновь трепещешь,
Вновь вся — от жестких роз и до ногтей —
Моя, моя ты!..
Пес, трубить не надо...
Храпи, служанка.
Не звени, стекло
В окне, куда, нырнув, теряя капли
Белесой слизи с рук и живота,
Протискиваю лысый, липкий череп...
А месяц светит, и пока в овраг,
Прихрамывая, обтирая губы,
Плетусь к погосту, празелень его
Сочится в дыры глаз моих, и волчий,
Стоячий купорос — как на Страстной...

5

От досиня наколотого сахара
на скатерти слепило по утрам,
и самовар звенел у парикмахера
на подоконнике,— с камфоркой храм.
Назойливая растворилась зелень
и, назудив до бешенства собак,
чихала перхотью из всех расщелин
(не нюхательный ли попал табак?).
И лето легкое (сухое якобы)
потело через редкое трико,
утенка гадкого (твой туфель лаковый)
пихая под топчан неглубоко.
Трепался бисерный ягдташ охотника,
напяливал ботфорты мушкетер...
А в переулке только тлела родинка
и только заносило дождик штор...
Отравленный медянки скучным ядом
(своей же прелестью), лысел июнь,—
и ежели б не в платьице измятом
ты подбегала к врытому коню
и, полосатым промелькнув чулочком,
в рубец — мизинцем:
— Ну, и коновал!—
не волновалось бы ничто по точкам,
томления никто бы не знавал...
Не волочит обузу переулочек,
и даже парикмахер (гиацинт
сутулый) уличит (и до полуночи),
что храм есть храм,
а кран есть просто винт...
Собор!
Ударь враздробь в колокола:
Здесь Александра Павловна жила.
Во всю ивановскую бей, собор:
здесь кенар напевает до сих пор.
И, наконец, умолкните враздробь:
без пробки фляга: лопнула от проб...

1914—1916 (1922)

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Под рысь рессорную перечеркнул
Край сумерек фонарный карандаш
И, выжидая (сердца не отдашь?),
Аукается город, как аул.
Болтливое, ты взято на болты,
На даче спрятано, висит замок.
Но и под крест, что на холму измок,
В слезах подкатываются кроты.
Плакучий зонт — прозрачен и надут,
Похож на мышь летучую, но так
Нельзя ж, любимая, встречаться тут,
Нельзя ж дьячихиных дразнить собак!
Как птица падает (и пропадет
С лукавым локоном!) твой голос, твой.
Дитя, большеголовый идиот,
Бараньей мямлит, мучит тетивой.
Ягненок-ангелочек! Только сей
Наследует нам царствие. Увы!
Не Даниилы — мы, — и здесь не львы,
Не ров, а ровный перестук осей.
Не светляки молчат, а папирос
Да вот фонариков висят ряды,
И стрелочники ищут череды,
Чтоб разрешить таинственный вопрос.
И просто все: в вагоне простыня,
Мутящиеся щеки охладив,
Как плащаница пестует меня:
Качайся, пасынок, не будь ретив!
Да не хочу (и вспомнить больно мне!)
О Пасхе — мамочка, ты умерла?
И думать — необыкновенный лай
И в необыкновенной стороне.
Толчок, и — нотные несут столбы
Скрипичный ключ и жизнь — от «ре» до «си
Голубчик! Четверга не уноси,
Не уноси страстей моей судьбы!
Ведь как же быть: скрипит мое перо,

Нога медвежья, паперть заперта,
И крест нахохленный, сырой-сырой
Над юностью сжимает два болта...
И даже зонтик, в ребрах подробясь
Бесчисленными спицами слывет
За колею и за беседку. Вот —
Как режет рельс, упрямый контрабас!
И вот как станция летит, мелькнет
И пропадет (уже навек, навек!)
Среди ключей, мурлыканий и нот,
Где детский похоронен человек.

⟨1922⟩

В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

И брови, легкие, как два пера,
Над изумленной изумрудной бездной;
И подбородок (из-под топора),
Углом обрубленный, сквозь синь железный;
И голос властный, вкрадчиво певучий,
Так скупо опыляющий слова;
И пальцы-щупальцы, что по-паучьи
Дотрагиваются едва-едва.
Пугало, колдовало и влекло
Меня неодолимою стремниной.
Как ненадежно хрупкое весло!
И как темны вампирьи именины!
Но сквозь румяна и трущобы бреда
На колеснице мчась, как фараон,
Я настигала в нем не людоеда,
Восставшего из канувших времен;
И не монаха, огненной трубой
Из гроба ринутого на ухабы.
— С презрительно отваленной губой,
Зачем так давишь, каменная баба?

КОЛДУН

Истает талия у вас,
Паук и знойная оса!
На тусклом сусле млеет квас,
В трубе коптится колбаса,
И, домосед и нетопырь,
Хоронится бобыль в дупле.
Распарившийся шубой вширь,
Шушукается: мне б теплей...
Да лежебоку не дано,
И, что ни кафля, жар,— а лед
Сочится, и застужено
Прищуренное у ворот
Куриное окно.
Шушукается: мне б теплей...
А (няни спицами) паук
Сучит сияние стеблей,
А осы выгрызли чубук...
Лазурно добела. И все ж
Не талия, а перехват.
И выщербленный узкий нож
От ярости голубоват.
И пахнут потом сапоги,
Чтоб топотом потом пройтись
Среди кузнечной колкой зги
По костякам, упавшим вниз.
И, выколачивая дух
Из тела — пыльное рядно,—
В сенях аукнется петух
И пустит радугу в окно.

〈1922〉

В СКЛЕПЕ

Позеленела каждая кость,
Выветрилась, как память, известка.
Было и будет так: только горсть
Пепла, тумана, холода, воска.
Где же теперь ты, нега моя?
Где? И не все ли в мире едино:
Волос и шерсть, перо, чешуя —
Глина жужжащая господина?
Где же искать мне губ твоих пух,
Иней, что мы и летом растили,
Если собачье ухо в лопух
Жизнь развернула, воя в могиле?
Слушать тебя, тобою дышать
И, задохнувшись душным помолом,
Ноздри раздув, кобылой проржать,
Мчась через гати, по суходолам.
В этом ли ты меня не поймешь?
Взоров не знать бы мне синеглазых!
Сам на себя отточенный нож
(Черт-полумесяц) грею за пазухой.

⟨1922⟩

* * *

Лавина, сонная от груза,
Дохнула холодом на шлях,
И град — не град, а кукуруза,
Что в синих вызрела полях.
Сыпнуло мутным и каленым
По косогорам и низам,—
И, как павлин, хвостом зеленым
Играет день по небесам.
Взмордованный ройбою улей,
Шумит и гаснет дюжий гром.
И красноперою зозулей
Кукует сердце под ребром.
И вновь по жилам, что стеблями
Вросли в меня, ползет вино,—
И в златосолнечном Адаме
Яйцо грозой опалено.

⟨1922⟩

ХЛЕБ

Отфыркиваясь по-телячьи
Слепой пузырчатой ноздрей,
Сопит, одышкою горячий,
Чванливый хлебный домострой.
Толчется в кадке (баба бабой),
Сырые бухнут телеса,
Пока в утоме сладкой, слабой
Тяжелый гриб не поднялся.
И вышлепнутый на лопату,
Залакированный водой,
В сиянье зоба, сам зобатый
С капустной прется бородой.
И, в голубое серой грудой
Мозгов вползя, сквози, дрожи,
Чтоб гаснущей рудой полудой
Стянуть желудочные ржи;
Чтоб затхлым запахом соломы,
Перепелами пропотев,
На каткий стол под нож знакомый
Переселиться в слепоте.
Лишь челюсть, комкая, расскажет
Утробе, смоченной слюной,
О том, как скоро снова пажить
На стебель выплеснет зерно.
И, утучнив его угрюмым,
Литым движением в кишках,
Отдаст, разнежив, частым думам
О розовеньких гребешках,
Что прояснили взор девичий,
Отбросив русые с чела:
Над ломтем прадедов обычай
Половой сытого дупла.

1915 (1922)

ВЕЧЕР

Крыжние в зеленом росном небе
Сгинули, как табор: у-лю-лю...
И, в ремизе ревизор, молебен
В прихожане кличет коноплю.
Палец в палец встала ветряная
Чаща, сквозняками заперта,
Думает, на Индию пеняя,
Что фонарь факира — кругл и стар.
И туманы глаз твоих, и губы,
Горю обреченные в углах,
Сашенька, как голуби, мне любы,
Ворчуны на глиняных крылах.
Птичья клетка (лапки в перепонках,
Шаткие шершавые носы,
Горловой горох) и вперегонки —
На бочонках обручи-часы.
Птичья клетка, как сухие ребра
Дедовой и внуковой судьбы!
Хорошо быть в канделябрах доброй
Свечке — ну, а как стеречь гробы!
От Адама повелся курятник,—
Сашенька, и мы ль не так живем?
Мы ли, в этих вечерах опрятных,
Закручинимся под рукавом?
Подадут немного нам в сосуде
Душного, как пена, молока.
(Выменем и шерстью пахнут люди,
Коноплей и временем слегка.)
И опять об Индии мы вспомним,
И о нем, похожем на попа,—
О факире,— что каменоломням
Вверила солопница-судьба.
Жил он, обрастая и худея
Рыжим волосом, питаясь лишь
Зернами-сморчками, лиходея
Вызывая тенью чрез гашиш.
Как гасила черная природа
Жгучий камень (тихий, славный пот),—
Огненнобородый в огороды

Выходил: а что, она живет?
Щупал обметенную и, прямо
Стоя, протирал свое бельмо —
След утиного удара,— шрама
Холодок, покачивал чалмой
И, наверное (не правда ль, Саша?),
В нашей клетке нас благословлял:
Птичье счастье, глохнет простокваша,
Муха учит плесени фиал.

⟨1922⟩

ЩУКА

Кулешом стреляет казанок
В осадившие его носы.
У речного тигра (иль осы)
Выгравированный бок размок.
Провела по животу ножом,
Вырвала, поддев, пузырь рука,—
И померкла навсегда в чужом
(Масло конопляное) река.
Трижды включ перевернуло пасть
(С передка оскаленный башмак),—
И пропасть ей под пшеном, пропасть,
Чтоб в крутящемся и хрящ размяк.
Предскажу (на левую хромой):
Хрустнет кость и брошен будет в таз
Жаберник с ресничной бахромой,
Ржавой солью выгрызенный глаз...
Где ж веленье щучье, твое,
Где разбойничий, прямой покрой?
Не тебе рассыпаться икрой,
Промелькнуть на целый водоем!
Под сосной заждалась (у корней)
Друга, не приметила врага,—
И сквозь факел, выстрела верней,
Гикнула в три пальца острога...
В эту ночь — неслыханная тишь:
Сосны, дым, и в дыме (в небо) брешь.
Ты одна внимательно следишь,
Как доваривается кулеш.
В эту ночь, среди песков и трав,
Ты особенно мне дорога...
В позвоночник вилу мне направь,
Чтобы не увидел я врага;
Чтобы пред тобой, притворный друг,
Я (один!) без чешуи размяк,
Жабрами в тазу пугая вдруг
Девушек,
Несносный суд шемяк.

1921

СПИРАЛЬ

* * *

Гудок стремительный, и — в море
Отваливает пароход.
В каюте, в тесненькой каморе
Мы прокоптились целый год.
По кабакам, по дырам порта —
Шататься надоело нам.
На суше быть?! Какого черта,
Коль счет утратили мы дням.
Морского не унять повесу:
Ему ль заказаны пути
Из Севастополя в Одессу,
Из Сингапура в Джабути!
Под ветром парус, словно вымя,
Все туже, туже,— прет дугой,
И над просторами живыми
И горизонт совсем другой!
Сияйте, чайки! И дельфины,
Дробите хлябкий антрацит,
Гранатов сладость, горечь хины
Нам край иной предвозвестит...

БАБЬЕ ЛЕТО

Веселое, широкое зерно
Шумит и льется под лопатой свежей,
И, вычерпнутое, печально дно
Полей, где льнут водоразделы-межи.
А в закромах осела паутина.
Но, радиусы клеткой перебив,
Блакитный блеск паучьего притина
Продернулся сквозь пыль, вольнолюбив.
Он всюду зазимует, этот блеск!
Никто уж не поможет, не расскажет,
Как электрический тревожный треск
Взрывался рикошетом через пажить...
Никто уж не поверит Веронике,
Что это волосы ее, что и
В России голос некий бабий, дикий
Вопит в пустых просторах:

— Утаи!..—

А что и как — вовеки не узнать!
И от того, печальные морщины
Вобрав в чело, беременеет мать,
Вздыхает конь в оглоблях, без причины...

. . . .

Так широко, так весело шумит
Зерно в ладонях, пахнущих половой.
Раскрыт амбар, и веялка гремит,
И гаснет день, по-зимнему лиловый.
Несложное хозяйство — совершенно:
Топор остыл и прикорнул к пиле.
И вороха прирезанного сена
Пред мордою жующего милей.

И что — печаль, и паутина — что?
Не Вероникино, не бабье лето,
А труд и сила, дружною четой,
Среди крестьянского проходят света!

ГАПОН

Прорвана суровая попона
звездными ежами.
И звенит
холодком щекочущим зенит,
и победным холодком — колонна.
Чуток сон твой, питерский гранит.
Но и ты не слышишь, как влюбленно
совесть-заговорщица Гапона
в мутный омут ручкою манит.
Вот и день купается в тумане.
И на площади — пятно пятна румяней:
лижет кровь гиеною зима.
А потом над дачей опустелой,
где удавленник висит, на тело
пялится луна: акелдама.

1915 (1922)
Петербург

КАЗАК ИЗ КИРГИЗОВ

Скуластый и рыжий, с притертою пикой,
Которая пяткой — в носок сапога,—
Волчище степное,— ему ли без гика,
Без свиста лететь на драгуна-врага!

Притиснуться к гриве клокочущей, чтобы,
Как светлый челнок, человеческий глаз
Вылущивался из совместной утробы,
Вертел острием и выдергивал враз.

Густой (керосиновой) копотью-пылью
Обдаться, копытами низ облупить
И, выгнув до вывиха шею кобылью,
Гнедую на круп, на чурбан осадить.

Не выдержат, нет, сыромятные путы
В полнеба свистящий кентавра нажим!..

О греческий юноша, дивно обутый
В сандальи крылатые, лучше бежим!

А, ты обернулся на визги? Смотри же:
Драгуна, как бабу, облапил киргиз,
Захлюпанный кровью, скуластый, рыжий —
И, кажется, горло ему перегрыз!

1914

* * *

Короткогубой артиллерией
Губили город. Падал снег.
А тучи и шинели серые,
Обоз к обозу: на ночлег.
Прищуренное (не со страху ли?)
Окошко проследило, как,
Покачиваясь под папахами,
Взобрались двое на чердак.
Ползло по желобу, и в желобе
Захлебывалось по трубе,
Когда шрапнель взрывалась голубем
И становилась голубей.
И наконец ворвались.
                                        Ясное
Сиянье скользкого штыка.
На грудь каленая, напрасная
Напрашивается рука...

АБИССИНИЯ

1

Мимозы с иглами длиной в мизинец
и кактусы, распятые спруты,
и кубы плоскокрышие гостиниц,
и в дланях нищих конские хвосты,—
о, Эфиопия!
Во время оно
такой, такой ли ты была, когда
твоя царица в граде Соломона
сверкала, как вечерняя звезда?
Погибла в прошлом ты иль неужели
вернуться к Моисею предпочла,
влача толстоподошвые доселе
сандалии из грубых чресл вола?
Слежу тебя в ветхозаветном мраке,
за кряжем осыпающихся гор,
у чьих подножий тучных кожемяки
распластывают кожи до сих пор.
И копья воинов твоих — как будто
несут все те же, те же острия,
что из груди распятого разутой
исторгли вздох последний бытия.

1912

2

На пыльной площади, где камень
посекся мелкою остряшкой,
коричневатыми руками
суются слизанные чашки,
мычат гугняво и гортанно,

выклянчивая милостыню,
те, кто проказой, Богом данной,
как Лазарь, загнаны в простыни.
На маковке и на коленке
как будто наросла замазка.
Но сердцевина этой пенки,
как сук сосны, тверда и вязка.
Сидят на зное и — невнятно
нудят лиловыми губами,
лениво колупая пятна
чуть закоптелыми ногтями.
Сидят в пыли, копаясь часто
в плащах, где в складках вши засели...
А под мимозой голенастой —
петух скрипит, но еле-еле.
И все — и маленькие куры,
и площадь в скрюченных мимозах,
и в небе облак белокурый
в расщепленных застыло грезах...
И притчится, что здесь когда-то
Сын Божий проходил, касаясь
сих прокаженных — и лохматой
тень ползала за Ним косая...
И вот теперь, от спертой гари,
урод болезненный в известке —
в проказе — треплется в Хараре,
вонючий, сжабренный и жесткий.
Сидит на грудах обгорелых,
просовывая из рубашки
узлами пальцев омертвелых
так тонко слизанные чашки...

1913 (1922)

3

Незабываемое забудется
прежде, чем высохнут моря,
и лишь тебя не проглотят чудища,
желтая Эфиопская заря!
В шорохе, в накипающем шуме

раковины, сердцем ловлю
твои, распеленутая мумия,
сетованья ручному журавлю...
В прахе колесница полукруглая
мчится, и сужен лук стрелка,
туда, куда маленькая смуглая
женская указывает рука...
Что это?
Сбоку выходит (здание?),
башней поскрипывая, слон.
Измена!
Народное восстание
предано, продано, и меч — на слом...
Не бег ли расчесывает волосы,
крутит и полыхает плащом?
На западе песочные полосы
застятся низким и косым дождем.
Синими оползнями по склонам
в заросли тянется река.
Неистовая рать фараонова
крокодилов вывела на берега.
Ближе и ближе витые чудища
(щучьи, утиные носы)...
Прощайте, наши надежды, будущее
наше! Прощай, мой милый сын!..
Снова осташковских кочки топей,
пляшет журавлик на заре,—
тот самый, что с тобой, Эфиопия,
хаживал важно, с кольцом, во дворе.
Снова домашняя обстановка,
вербы — не вербы: молочай...
Поздравь, смуглянка, меня с обновкою —
полной свободой, журавля встречай!
Сына ты ищешь! Ищи меж нами:
вот-вот вертелся, и притом
(не помню: возле Днепра ль, за Камою ль)
оригинальничал большим зонтом...

1918 (1922)
Петербург

В ОГНЕННЫХ СТОЛБАХ

СЕМНАДЦАТЫЙ

1

Неровный ветер страшен песней,
звенящей в дутое стекло.
Куда брести, октябрь, тебе с ней,
коль небо кровью затекло?
Сутулый и подслеповатый,
дорогу щупая клюкой,
какой зажмешь ты рану ватой,
водой опрыскаешь какой?
В шинелях — вши, и в сердце — вера,
ухабами раздолблен путь.
Не от штыка — от револьвера
в пути погибнуть: как-нибудь.
Но страшен ветер. Он в окошко
дудит протяжно и звенит,
и, не мигая глазом, кошка
ворочает пустой зенит.
Очки поправив аккуратно
и аккуратно сгладив прядь,
вздохнув над тем, что безвозвратно
ушло, что надо потерять,—
ты сажу вдруг стряхнул дремоты
с трахомных вывернутых век
и (Зингер злится!) — пулеметы
иглой застрачивают век.
В дыму померкло: «Мира!»—«Хлеба!»
Дни распахнулись — два крыла.
И Радость радугу в полнеба,
как бровь тугую, подняла.
Что стало с песней безголосой,
звеневшей в мерзлое стекло?
Бубнят грудастые матросы,
что весело-развесело:
и день и ночь пылает Смольный.
Подкатывает броневик,
и держит речь с него крамольный
чуть-чуть раскосый большевик...
И, старина, под флагом алым —
за партией своею — ты

идешь с Интернационалом,
декретов разнося листы.

1918 (1922)

2

Семнадцатый!
Но перепрели
апреля листья с соловьем...
Прислушайся: не в октябре ли
сверлят скрипичные свирели
сердца, что пойманы живьем?
Перебирает митральеза,
чеканя четки все быстрей;
взлетев, упала Марсельеза,—
и, из бетона и железа,—
над миром, гимн, греми и рей!
Интернационал...
Как узко,
как тесно сердцу под ребром,
когда напружен каждый мускул
тяжелострунным Октябрем!
Горячей кровью жилы-струны
поют
и будут петь вовек,
пока под радугой Коммуны
вздымает молот человек.

1919 (1922)

3

Октябрь, Октябрь!
Какая память,
над алым годом ворожа,
тебя посмеет не обрамить
протуберанцем мятежа?
Какая кровь,
визжа по жилам,
не превратится вдруг в вино,
чтоб ветеранам-старожилам

напомнить о зиме иной?
О той зиме, когда метели
летели в розовом трико,
когда сугробные недели
мелькали так легко-легко;
о той зиме,
когда из фабрик
преображенный люд валил
и плыл октябрь, а не октябрик,
распятием орлиных крыл...
Ты был, Октябрь.
И разве в стуже,
в сугробах не цвела сирень?
И не твою ли кепку, друже,
свихнуло чубом набекрень?..
1920
Тирасполь

4

От сладкой человечинки вороны
в задах отяжелели, и легла,
зобы нахохлив, просинью каленой
сухая ночь на оба их крыла.
О эти звезды! Жуткие... нагие,
как растопыренные пятерни,—
над городом, застывшим в летаргии:
на левый бок его переверни...
Тяжелые (прошу) повремените,
нырнув в огромный, выбитый ухаб,
знакомая земля звенит в зените
и — голубой прозрачный гул так слаб...
Что с нами сталось?.. Крепли в заговорах
бунтовщики, блистая медью жабр,
пока широких прокламаций ворох
из-под полы не подметнул Октябрь.
И все: солдаты, швейки, металлисты —
О пролетарий! — Робеспьер, Марат.
Багрянороднейший! Пунцоволистый!
На смерть, на жизнь не ты ли дал наряд?
Вот так!
Нарезанные в темном дуле,
мы в громкий порох превращаем пыл...

Не саблей по глазницам стебанули:
нет, то Октябрь стихию ослепил!

1921

5

Кривою саблей месяц выгнут
над осокорью, и мороз
древлянской росомахой прыгнет,
чтоб, волочась, вопить под полозом.

Святая ночь!
Гудит от жара,
как бубен сердце печенега
(засахаренная Сахара,
толченое стекло: снега).
Я липовой ногой к сугробам,—
на хутор, в валенках, орда:
потешиться над низколобым,
над всласть наеденною мордою.

(...Вставало крепостное право,
покачиваясь, из берлоги,
и, улюлюкая, корявый
кожух гнался за ним, без ног...)

— Э, барин!
Розги на конюшне?
С серьгою ухо оторвать?
Чтоб непослушная послушней
скотины стала?!—
Черт над прорвою
напакостил и плюнул! Ладно:
свистит винтовочное дуло,
над степью битой, неоглядной
поземка завилась юлой...
Забор и — смрадная утроба
клопом натертого дупла.
— Ну, где сосун? Где низколобый?
А под перинами пощупали?..
Святая ночь! (Не трожь, товарищ,
один, а стукнем пулей разом...)

Над осокорью, у пожарища,
луна саблюкой: напоказ.
Не хвастайся!
К утру застынет,
ослепнув, мясо, и мороз
когтями загребет густыми
года, вопящие под полозом...

1920

* * *

Зачем ты говоришь раной,
алеющей так тревожно?
Искусственные румяна
и локон неосторожный.
Мы разно поем о чуде,
но голосом человечьим,
и, если дано нам будет,
себя мы увековечим.
Протянешь полную чашу,
а я — не руку, а лапу.
Увидим: ангелы пашут,
и в бочках вынуты кляпы.
Слезами и черной кровью
сквозь пальцы брызжут на глыбы;
тужеет вымя коровье,
плодятся птицы и рыбы.
И ягоды соком зреют,
и радость полощет очи...
Под облаком, темя грея,
стоят мужик и рабочий.
И этот — в дырявой блузе,
и тот — в лаптях и ряднине:
рассказывают о пузе
по-русски и по-латыни.
В березах гниет кладбище,
и снятся поля иные...
Ужели бессмертия ищем
мы, тихие и земные?
И сыростию тумана
ужели смыть невозможно
с проклятой жизни румяна
и весь наш позор осторожный?

1918
Москва

РОССИЯ

Щедроты сердца не разменяны,
и хлеб — все те же пять хлебов,
Россия Разина и Ленина,
Россия огненных столбов!
Бредя тропами незнакомыми
и ранами кровоточа,
лелеешь волю исполкомами
и колесуешь палача.
Здесь, в меркнущей фабричной копоти,
сквозь гул машин вопит одно:
— И улюлюкайте, и хлопайте
за то, что мне свершить дано!
А там — зеленая и синяя,
туманно-алая дуга
восходит над твоею скинией,
где что ни капля, то серьга.
Бесслезная и безответная!
Колдунья рек, трущоб, полей!
Как медленно, но всепобедная
точится мощь от мозолей.
И день грядет — и молний трепетных
распластанные веера
на труп укажут за совдепами,
на околевшее Вчера.
И Завтра... веки чуть приподняты,
но мглою даль заметена.
Ах, с розой девушка — Сегодня! — Ты
обетованная страна.

1918
Воронеж

В ОГНЕ

Овраг укачал деревню
(глубокая колыбель),
и зорями вторит певню
пастушеская свирель.
Как пахнет мятой и тмином
и ржами — перед дождем!
Гудит за веселым тыном
пчелиный липовый дом.
Косматый табун — ночное —
шишига в лугах пасет,
а небо, как и при Ное;
налитый звездами сот.
Годами, в труде упрямом,
в глухой чернозем вросла
горбунья-хата на самом
отшибе — вон из села.
Жужжит веретёнце, кокон
наматывает рука,
и мимо радужных окон
куделятся облака.
Старуха в платке, горохом
усыпанном, как во сне...
В молитве, с последним вздохом,
ты вспомнила обо мне?
Ты вспомнила все, что было,
над чем намело сугроб?..
Родимая!
Милый-милый,
в морщинах прилежный лоб.
Как в детстве к твоим коленам
прижаться б мне головой...
Но борется с вием-тленом
кладбище гонкой травой;
но пепел (поташ пожарищ)
в обглоданных пнях тяжел...
И разве в дупле нашаришь
гнездо одичавших пчел;
да, хлюпнув, вдруг захлебнется
беременное ведро:

журавль сосет из колодца
студеное серебро...
Пропела тоненько пуля,
махнула сабля сплеча...
О теплая ночь июля,
широкий плащ палача!
Бегут беззвучно колеса,
поблескивает челнок,
а горе простоволосым
глядит на меня в окно.
Ах, эти черные раны
на шее и на груди!
Лети, жеребец буланый,
все пропадом пропади!
Прощайте, завода трубы,
мелькай, степная тропа!
Я буду, рубака грубый,
раскраивать черепа.
Мое жестокое сердце,
не выдаст тебя, закал!
Смотри, глупыш-офицерик,
как пьяный навзничь упал...
Но даже и в тесной сече
я вспомню (в который раз)
родимой тихие речи
и ласковый синий глаз.
И снова учую, снова,
как зерна во тьме орут,
как из-под золы лиловой
вербены вылазит прут.

1920
Бровары

ДОМБРОВИЦЫ

Сияй и пой, живой огонь,
над раскаленной чашей — домною!
В полнеба — гриву, ярый конь,
вздыбленный крепкою рукой,—
твоей рукой, страда рабочая!
Тугою молнией звеня,
стремглав летя, струит огромная
катушка полосы ремня,
и, ребрами валы ворочая,
ворчит прилежно шестерня.
А рядом ровно бьется пульс
цилиндров выпуклых.
И радуги
стальной мерещащийся груз,
и кран, спрутом распятый в воздухе,—
висят над лавой синих блуз.
И мнится: протекут века,
иссохнет ложе Вислы, Ладоги,
Урал рассыплется под звездами,—
но будет направлять рука
привычный бег маховика;
и зори будут лить вино,
и стыть оранжевыми лужами;
и будет петь веретено,
огнем труда округлено,
о человеческом содружестве.

1919
Киев

* * *

России синяя роса,
крупитчатый, железный порох,
и тонких сабель полоса,
сквозь вихрь свистящая в просторах,—
кочуйте, Мор, Огонь и Глад,—
бичующее Лихолетье:
отяжелевших век огляд
на борозды годины третьей.
Но каждый час, как вол, упрям,
ярмо гнетет крутую шею;
дубовой поросли грубее,
рубцуется рубаки шрам;
и, желтолицый печенег,
сыпняк, иззябнувший в шинели,
ворочает белками еле
и еле правит жизни бег...
Взрывайся, пороха крупа!
Свисти, разящий полумесяц!
Россия — дочь!
Жена!
Ступай —
и мертвому скажи: «Воскресе».
Ты наклонилась, и ладонь
моя твое биенье чует,
и конь, крылатый, молодой,
тебя выносит — вон, из тучи...

1919
Харьков

СОВЕСТЬ

Жизнь моя, как летопись, загублена,
киноварь не вьется по письму.
Я и сам не знаю, почему
мне рука вторая не отрублена...
Разве мало мною крови пролито,
мало перетуплено ножей?
А в яру, а за курганом, в поле,
до самой ночи поджидать гостей!
Эти шеи, узкие и толстые,—
как ужаки, потные, как вол,
непреклонные,— рукой апостола
Савла — за стволом ловил я ствол,
Хвать — за горло, а другой — за ножичек
(легонький, да кривенький ты мой),
И бордовой застит очи тьмой,
И тошнит в грудях, томит немножечко.
А потом, трясясь от рясных судорог,
кожу колупать из-под ногтей,
И — опять в ярок, и ждать гостей
на дороге, в город из-за хутора.
Если всполошит что и запомнится,—
задыхающийся соловей:
от пронзительного белкой-скромницей
детство в гущу юркнуло ветвей.
И пришла чернявая, безусая
(рукоять и губы набекрень)
Муза с совестью (иль совесть с музою?)
успокаивать мою мигрень.
Шевелит отрубленною кистью,—
червяками робкими пятью,—
тянется к горячему питью,
и, как Ева, прячется за листьями.

1919 (1922)

ЧЕКА

1

Оранжевый на солнце дым
и перестук автомобильный.
Мы дерево опередим:
отпрыгни, граб, в проулок пыльный.
Колючей проволоки низ
лоскут схватил на повороте.
— Ну, что, товарищ?
— Не ленись,
спроси о караульной роте.
Проглатывает кабинет,
и — пес, потягиваясь, трется
у кресла кожаного.
Нет:
живой и на портрете Троцкий!
Контрреволюция не спит:
все заговор за заговором.
Пощупать надо бы РОПИТ.
А завтра...
Да, в часу котором?
По делу 1106
(в дверях матрос и брюки клешем)
перо в чернила — справку:
— Есть.—
И снова отдан разум ношам.
И бремя первое — тоска,
сверчок, поющий дни и ночи:
ни погубить, ни приласкать,
а жизнь — все глуше, все короче.
До боли гол и ярок путь —
вторая мертвая обуза.
Ты небо свежее забудь,
душа, подернутая блузой!
Учись спокойствию, душа,
и будь бесстрастна — бремя третье.
Расплющивая и круша,
вращает жернов лихолетье.
Истыкан пулею шпион,
и спекулянт — в истоме жуткой.
А кабннет, как пансион,

где фрейлина да институтки.
И цедят золото часы,
песка накапливая конус,
чтоб жало тонкое косы
лизало красные законы;
чтоб сыпкий и сухой песок
швырнуть на ветер смелой жменей,
чтоб на фортуны колесо
рабочий наметнулся ремень!

2

Не загар, а малиновый пепел,
и напудрены густо ключицы.
Не могло это, Герман, случиться,
что вошел ты, взглянул и — как не был!
Революции бьют барабаны,
и чеканит Чека гильотину.
… … … … … … … …
… … … … … … … …
Но старуха в наколке трясется
и на мертвом проспекте бормочет.
Не от вас ли чего она хочет,
Александр, Елисеев, Высоцкий?
И суровое Гоголя бремя,
обомшелая сфинксова лапа
не пугаются медного храпа
жеребца над гадюкой, о Герман!
Как забыть о громоздком уроне?
Как не помнить гвоздей пулемета?
А Россия?
— Все та же дремота
В Петербурге и на Ланжероне:
и все той же малиновой пудрой
посыпаются в полдень ключицы;
и стучится, стучится, стучится
та же кровь, так же пьяно и мудро...

1920
Одесса

КОБЗАРЬ

Опять весна, и ветер свежий
качает месяц в тополях...
Стопой веков — стопой медвежьей —
протоптанный, оттаял шлях.
И сердцу верится, что скоро,
от журавлей и до зари,
клюкою меряя просторы,
потянут в дали кобзари.
И долгие застонут струны
про волю в гулких кандалах,
предтечу солнечной коммуны,
поимой потом на полях.
Тарас, Тарас!
Ты, сивоусый,
загрезил над крутым Днепром:
сквозь просонь сыплешь песен бусы
и «Заповіта» серебром...
Косматые нависли брови,
и очи карии твои
гадают только об улове
очеловеченной любви.
Но видят, видят эти очи
(и слышит ухо топот ног!),
как селянин и друг-рабочий
за красным знаменем потек.
И сердцу ведомо, что путы
и наши, как твои, падут,
и распрямит хребет согнутый
прославленный тобою труд.

1920
Харьков

БОЛЬШЕВИК

1

Мне хочется о Вас, о Вас, о Вас
бессонными стихами говорить...
Над нами ворожит луна-сова,
и наше имя и в разлуке: три.
Как розовата каждая слеза
из Ваших глаз, прорезанных впродоль!
О теплый жемчуг!
Серые глаза,
и за ресницами живая боль.
Озерная печаль живет в душе.
Шуми, воспоминаний очерет,
и в свежести весенней хорошей,
святых святое, отрочества бред.

Мне чудится:
как мед, тягучий зной,
дрожа, пшеницы поле заволок.
С пригорка вниз, ступая крутизной,
бредут два странника.
Их путь далек...
В сандальях оба.
Высмуглил загар
овалы лиц и кисти тонких рук.
«Мария,— женщине мужчина,—жар
долит, и в торбе сохнет хлеб и лук».
И женщина устало:
«Отдохнем».
Так сладко сердцу речь ее звучит!..
А полдень льет и льет, дыша огнем,
в мимозу узловатую лучи...

* * *

Мария!
Обернись, перед тобой
Иуда, красногубый, как упырь.
К нему в плаще сбегала ты тропой,
чуть в звезды проносился нетопырь.

Лилейная Магдала,
Кариот,
оранжевый от апельсинных рощ...
И у источника кувшин...
Поет
девичий поцелуй сквозь пыль и дождь.

* * *

Но девятнадцать сотен тяжких лет
на память навалили жернова.
Ах, Мариам!
Нетленный очерет
шумит про нас и про тебя, сова...
Вы — в Скифии, Вы — в варварских степях.
Но те же узкие глаза и речь,
похожая на музыку, о Бах,
и тот же плащ, едва бегущий с плеч.
И, опершись на посох, как привык,
пред Вами тот же, тот же,— он один!—
Иуда, красногубый большевик,
грозовых дум девичьих господин.

* * *

Над озером не плачь, моя свирель.
Как пахнет милой долгая ладонь!..
...Благословение тебе, апрель.
Тебе, небес козленок молодой!

2

И в небе облако, и в сердце
грозою смотанный клубок.
Весь мир в тебе, в единоверце,
коммунистический пророк!
Глазами детскими добрея
день ото дня, ты видишь в нем
сапожника и брадобрея
и кочегара пред огнем.
С прозрачным запахом акаций

смесился холодок дождя.
И не тебе собак бояться,
с клюкой дорожной проходя!
В холсте суровом ты — суровей,
грозит земле твоя клюка,
и умные тугие брови
удивлены грозой слегка.

3

Закачусь в родные межи,
чтоб поплакать над собой,
над своей глухой, медвежьей,
черноземною судьбой.
Разгадаю вещий ребус —
сонных тучек паруса:
зноем (яри на потребу)
в небе копится роса.
Под курганом заночую,
в чебреце зарей очнусь.
Клонишь голову хмельную,
надо мной калиной, Русь!
Пропиваем душу оба,
оба плачем в кабаке.
Неуемная утроба,
нам дорога по руке!
Рожь, тяни к земле колосья!
Не дотянешься никак?
Будяком в ярах разросся
заколдованный кабак.

И над ним лазурной рясой
вздулось небо, как щека.
В сердце самое впилася
пьявка, шалая тоска...

4

Сандальи деревянные, доколе
чеканить стуком камень мостовой?
Уже не сушатся на частоколе
холсты, натканные в ночи вдовой.
Уже темно, и оскудела лепта,
и кружка за оконницей пуста.
И желчию, горчичная Сарепта,
разлука мажет жесткие уста.
Обритый наголо хунхуз безусый,
хромая, по пятам твоим плетусь,
о Иоганн, предтеча Иисуса,
чрез воющую волкодавом Русь.
И под мохнатой мордой великана
пугаю высунутым языком,
как будто зубы крепкого капкана
зажали сердца обгоревший ком.

1920
Киев

В ЭТИ ДНИ

Дворянской кровию отяжелев,
густые не полощатся полотна,
и (в лапе меч), от боли корчась, лев
по киновари вьется благородной.
Замолкли флейты, скрипки, кастаньеты,
и чуют дети, как гудит луна,
как жерновами стынущей планеты
перетирает копья тишина.
— Грядите, сонмы нищих и калек
(се голос рыбака из Галилеи)!—
Лягушки кожей крытый человек
прилег за гаубицей короткошеей.
Кругом косматые роятся пчелы
и лепят улей медом со слюной.
А по ярам добыча волчья — сволочь,—
чуть ночь, обсасывается луной...
Не жить и не родиться б в эти дни!
Не знать бы маленького Вифлеема!
Но даже крик: распни его, распни!—
не уязвляет воинова шлема,
и, пробираясь чрез пустую площадь,
хромающий на каждое плечо,
чело вечернее прилежно морщит
на Тютчева похожий старичок.

⟨1920⟩

РАССВЕТ

Размахами махновской сабли,
Врубаясь в толпы облаков,
Уходит месяц. Озими озябли,
И легок холодок подков.
Хвост за хвостом, за гривой грива,
По косогорам, по ярам,
Прихрамывают торопливо
Тачанок кривобоких хлам.
Апрель, и — табаком и потом
Колеблется людская прель.
И по стволам, по пулеметам
Лоснится, щурится апрель.
Сквозь лязг мохнатая папаха
Кивнет, и матерщины соль
За ворот вытряхнет рубаха.
Бурсацкая, степная голь!
В чемерках долгих и зловещих,
Ползет, обрезы хороня,
Чтоб выпотрошился помещик
И поп, похожий на линя;
Чтоб из-за красного-то банта
Не посягнули на село
Ни пан, ни немец, ни Антанта,
Ни тот, кого там принесло!
Рассвет. И озими озябли,
И серп, без молота, как герб,
Чрез горб пригорка, в муть дорожных верб,
Кривою ковыляет саблей.

ГОДОВЩИНА ВЗЯТИЯ ОДЕССЫ

От птичьего шеврона до лампаса
казачьего — все погрузилось в дым.
— О город Ришелье и Де-Рибаса,
забудь себя!
Умри и — встань другим!
Твой скарб сметен и продан за бесценок.
И в дни всеочистительных крестин,
над скверной будней, там, где выл застенок,
сияет теплой кровью Хворостин.
Он жертвой пал.
Разодрана завеса,
и капище не храм, а прах и тлен.
Не Ришелье, а Марксова Одесса
приподнялась с натруженных колен.
Приподнялась и видит:
мчатся кони
Котовского чрез Фельдмана бульвар,
широким военморам у Фанкони
артелью раздувают самовар...
И Труд идет дорогою кремнистой,
но с верной ношей: к трубам и станку,
где (рукава жгутами) коммунисты
закабалили плесень наждаку.
Сощурилась и видит:
из-за мола,
качаясь, туловище корабля
ползет с добычей, сладкой и тяжелой!..
— И все оно, Седьмое Февраля!

7 февраля 1921
Одесса

НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

Узнать, догадаться о тебе,
Лежащем под жестким одеялом,
По страшной, отвиснувшей губе,
По темным под скулами провалам?..
Узнать, догадаться о твоем
Всегда задыхающемся сердце?..
Оно задохнулось!
Продаем
Мы песни о веке-погорельце...
Не будем размеривать слова...
А здесь, перед обликом извечным,
Плюгавые флоксы да трава
Да воском заплеванный подсвечник.
Заботливо женская рука
Тесемкой поддерживает челюсть,
Цингой раскоряченную...
Так,
Плешивый, облезший — на постели!..
Довольно!
Гранатовый браслет —
Земные последние оковы,
Сладчайший, томительнейший бред
Чиновника (помните?) Желткова.

1921 (1922)

КАЗНЕННЫЙ СЕРАФИМ

НА РАССВЕТЕ, ПРАВЕДНИКОМ

ОКНО

На мужа горько жаловалась скрипка,
Такая жилистая, как и я.
Се — хрущ, полакированный улыбкой,
Ресницами пошевелил, поя.
Безумной фиолетовою спичкой
Черкнула голубь и, взметнув икру,
Дышала плавником и по привычке
Во снах кормила манной детвору.
А в липах, где обрыв, ждала засада.
По красному горюя фонарю,
И погребом от дождевого сада —
В упор и в рупор: в уши и в ноздрю.
Горели свечи в пузырях, и это,—
Ах, ах,— распахнутое в сад окно:
Гимназия; и синего рассвета —
Невыразимое, для всех одно!
Как смугленький с косичкой, в биллиардной,
Забились в угол (рама — негатив),
Плененные планидой — Ариадной,
Что вьет кадриль, задачник захватив!
Под алебардой — алгеброй, высокий
Наш век, наш Соломон сидел-гадал,
Мучительные разрешал уроки
И в крестиках сиреневых рыдал.
Коса плетеная и пелерина,
И в раме свет не синий, а мучной.
Кадриль со скрипкою я не отрину
И не захлопну теплое окно!
Жуками майскими и крепкой жилой,
Вбирающей лазурью,— навсегда
Ты, свежая, к себе расположила
Гимназии галунные года!
И в биллиардной угол есть; и это,—
Ах, ах,— распахнутое в ночь окно:
До гробовой луны и до глазета,
Невыразимое, сойдет оно!

ДЕТСТВО

1. ВНАЧАЛЕ

Очаровательный растаял аист,
И голое дитятя-индюша.
В очипке бабушка бубнит, простая:
вернулась на землю ее душа...

Как бы двойной в единой оболочке
Завязан плод был, и помолодел
(когда взыграл оборками сорочки
младенец у грудей) его удел.

Вернулась, душенька, и восвоясях
пупырышками тело поросло,
и ухо перелило бреды пасек
в кота мурлыкающее мурло...
А с горизонта погрозила церковь
(антихриста отродье, отлучу!)
мизинцем скорченным — и табакеркой,
балуясь, занялся, полез к ключу.
Резной, пощелкивавший музыкально
за пазухой амбарного замка,
на костыле висел он (возле спальной),—
худая, почерневшая рука...
Невесть куда родителево горе
зрачками и копытами брело:
чтоб я змееныша на косогоре
не придушил, чтоб горло на село
насело, жадное, и пило-пило?!
Случилось так, что круглым ртом луны
(при солнце) день, как лампу, закоптило.
Очнулись черепами валуны...
И все ж ручонки рыли печерицу
под осокорью (зонтик-шампиньон),
и вдребезги разбитой черепицы
шампанским блеском глаз был опьянен...
Мохнатые махнули махаоны
и ситчиком перемахнули чрез
домок одноэтажный и согбенный:

Чего в бурьян и бурелом залез...
Гнилое яблоко, шлепок, щепотка
трухи трутневой — и чудная быль,
когда, пропахнувший таранью, водкой,
как в воду канул пасечник-бобыль.
За косогором обернулся, куцый,
сафьяновым притопнул сапожком...
Фаянсовые в мураве пасутся
гусыни (вперевалку и шажком).
И черногузово гнездо на дубе,
в сохе которого (под треск, в сухмень)
мгновенная игла, сквозь кору-струпья,
продернула лоснящийся ремень.
Ликуя, молния на деревянный
отцовский домик возложила нимб.
Сатурн стыдливо вышмыгнул из ванны,
ванильный воздух шелестел над ним.
И плыли, таяли и снова плыли
стрекозы-самолеты, махаон
матерчатый, жуки-автомобили,
мурлыкающий (часом позже) сон.
Грозила церковь бабушке за внука:
во благовремении б утопить.
И в архалуке приплелась наука:
архаровца над грифелем зудить.

1916

2. ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вербой скользкой, розовой девчонок
похлестать бы, да идут попы,
да звезду клюет луна-курчонок,
вылупившийся из скорлупы.
Улица, прогавканная псами,
переулок, козырьком крыльцо;
от рудых подпалин под глазами
скорбно материнское лицо.
Руки по локоть в горячем тесте,
наспех вывернутые чулки...
...Сколько бы корабликов из дести
можно сделать — мы не дураки.
Завтра обязательно на речку:

рафинадом крыги у быков
рушатся... Да где же дел я свечку?
Скажет репетитор — «Гусь каков...»
— Повтори четвертое спряженье,—
выворачивает мать чулок.
Тает, тонет головокруженье:
тянет рот полудою зевок.
У, латынь поганая! — Я сброшу,
мамочка, мундир.— А это что?
— Что, следы? — Ты потерял галошу!
— Это мокрою полой пальто...—
А чрез три минуты (...как у Гейне):
Выпей чаю да пора и спать...
В крепко настоявшемся, в портвейне,
палочки взойдут, нырнут опять.
К счастью... Так и на ногтях бывают
пятнышки. А все ж латынь зубрить
надо... сахарные наплывают
мысы на мост, силясь повалить...
Гавкает луна, гоняясь с вербой
за попами, обожравшись звезд,
и шербет в лоханке не исчерпан,
скалкою накручивает гроздь.
Локти месят, мешковата усталь
лампы — перед Пасхой так всегда.
Как у матери, в страданьях, Суздаль
сузил лик — из глаз течет руда.
Зубы медными, чужими стали.
Но, оскомину искомкав, рот,
ухо ловят шлепанье сандалий,
легкий крик, на сале поворот...
Сонное перо на теплых крыльях
снизу поотрепано, и я —
будто на перроне, где решили
ветерком пощекотать меня.
Пышут паровозы через сетку
и, отпихиваясь рычагом
(локтем),— дальше смятую салфетку
дали мне — и никого кругом...
Чую: серафимова забота
борется с больной твоей слезой,—
волосом заросшая суббота,
восковою лайкой и лозой.

1916 (1922)

ЧАЕПИТИЕ

По тебе одной соскучился,
Тульская моя Фита,
Что слезой (не ради случая,—
Совестию!) налита.
Разлучился и — лучинами,
Как лучами, вниз и вверх,—
Поперечными морщинами —
В синеградусный четверг.
Переламывает полымя,
Дым спирает под матрац,—
Выжми вымя,— только голыми
Пальчиками, чтоб не драться.
Не к чему! Не плачет, сотистый,
Преет — преет сквозь слезу,
Сыр и — мухи муж колотится:
Обморок зовет грозу,
И затем: на дне шатаются
Кремовые кремельки,
С пагодами и китайцами
(По погоде) уголки...
Саваоф, ветхозаветная
Тяга к меди и ключу.
Тень квартирная, каретная,—
Всех ремеслам обучу.
Но по картам до разлуки ли.
Рим и Тула — как одно.
Мы себя заулюлюкали:
Холод за дверь, жар — в окно.
И раздуть ли до подрясника
Скатерть, кроме того, тень.
Синий, синий, узкоградусный
(Четвергом, как грудью) день.
Напоказ лукавит луковицей,
А лучи — и вверх, и вниз.
И... и, если не аукнется,
обмороком задохнись.

МАЛЯРИЯ

Журавли, шурша рогожей:
Ленточка, не оборвись.
И нагую, с ровной кожей,
Вылихорадило высь.
В рясе путаной монаха,
Подожком — все тык да тык,
И к бараньей Мономаха
Узкий череп мой привык.
Ляписа я насосался.
Жаркие, сквозные льны
Свищут в темя, дуют в пальцы,
Бабочки — и те больны.
Над кулачною капустой,
Сонным тыквенным цветком —
Тыкаются: грустно, пусто,
Ни о чем и ни о ком...
Жухнет кожей детородный
И коричневеет цвет,
Горечию огородной
Волос сводится на нет.
А какие были ставни,
Домик славный был какой:
Как под сердцем у Христа, в ней —
В комнате — тень и покой...
И теперь... на ленты рвется
Коленкор, и не помочь
Никому, чтоб у колодца
Не зазимовала ночь.
Кочанами запотело,
Бородавкой подавись:
Вылихорадило тело,
Вылихорадило высь.

РОЖДЕСТВО

Не знаю, как и попроситься
В твой дом мне,— маленькой, в плаще:
Запахло в воздухе лисицей
И свежим мехом вообще,
Огромные такие окна,—
Не окна, проруби. А вот
Под частым я дрожу и мокну,
А мамочка не позовет...
Рождественские едут елки,
Полозья рельсами звенят,
И бестолковые (что — в толке)
Трамваи чешут свой канат.
Фиалковый шипучий магний
Обронит одуванчик. Ты
С дивана (розовая, ангел)
Не встанешь: нет тебе фаты.
Не встанешь, потому что проще
Покоиться и не курить,
И лакированный извозчик
Копыт не испытает прыть.
И у театра, где дорожки
В сукне, где мутные шары,—
Не вспыхнут долгие сережки
И не растают от игры.
Сегодня молодо и грустно
И радостно, как никогда;
Переговаривая устно,
Растапливается вода.
И в оттепель развозят елки,
Под лыжами сочится след.
Сочельник в рваной треуголке —
Наполеон, а где же дед.
Воспоминанье виновато,
Серьга да разве ты — слеза.
Огромной белой-белой ватой
Зазастило глаза...

ТЯГА

Прополото теплом болото,
И вальдшнеп, карий, гиревой,
Покрякивая от полета,
Нежнее в сумрак под горой.
Кора, стянув корсетом, туго
Томящуюся грудь, гудит.
Березка!
Верная подруга!
И по тебе струится стыд...
Вот-вот во мглу, в густую просонь,
Выдавливая облака,
Ты матерью простоволосой
Оборонишь каплю молока.
И уж потом, к заре огнистой,
Тебе грудей не удержать:
Сережки, вялое монисто,
От хлябей им ли не дрожать!
И вальдшнепу, что тычет ворох
Листвы, подбитой под ольху,
Тучнеть и зябнуть в разговорах,
Паруясь в порослях на мху...
Блестит у сходной колымаги
Железо голубое, там —
Пыжи из пакли и бумаги,
Стволов похолодевший мат.
Сучонка трется виновато.
И, раздувая самовар,
Подручный (вроде Пустосвята)
Не вырвется из шаровар...
Березка, голая до боли,
Малюсенькая ты моя!
Качаешься на тяге? То ли,
Когда по оттепели — я.
В высоких сапогах, как хобот,
В звериной шерсти, в армяке,
Глистом подхлестнутым торопит
Курки-крючки зажечь в руке...
И мне не карие, не эти
Зрачки, растущие клопы,—

А несравненные на свете,
Единственные у тропы!
Ты, сероглазая, как сумрак,
Захватный, шалый, впопыхах
Пистоны бьешь и в горьких, хмурых
Со псом выслеживаешь мхах.
И шомпол, впаянный, как в латы,
Задерживает хлюпкий шаг.
Березка тонкая моя ты,
Моя тягчайшая из тяг!

КАЗНЬ

ТЕЛЕГРАФИСТ (НА ЗАХОЛУСТНОЙ)

Обмокшей пигалицей стебанула,
Аортой заорала — и во мне!
Певучий голос (да, во сне)
Проталкивается из караула.
Где это было? И как давно прошло,
Сияя бабочками, детство?
Горластое здоровье я приветствую
И в три шея выталкиваю зло.
Что пигалица, спутница отары,
Коль, остывая, кличет плоть
На сахар кость перемолоть
И бросить аппарат и взять гитару?
Замерзни, Морзе! Не подняться, не взой'
Не прокричать на льдистую лунку:
Петушиная спесь, и на шее фурункул,
И сусло в дрожжах, как желе, в груди!
Скучная филантропия! И нет интереса.

ЦВЕТОК

Он — анемичен (если можно
Так выразиться), анемон.
Небесный, но сквозной и ложный
(Как все, что здесь), немецкий сон.
Глазастой феей он взлелеян,
Поддакивало и греху:
Недаром высадила фрейлин
Его в древесную труху.
Немой, и чуешь не мое ли
Биение сердца и не мой
Ли вопль: «А как же, как же в поле,
Где следом за зимой — хромой».
Учесть, но траур не участлив
И также немощен и нем.
И, Гретхен грохотом зазастив,
Жуками, Жужилицей — Брэм...
О слабенький цветок бесполый:
Не опылиться и пропасть.
Прыжками ражего футбола
Лягавая, разинув пасть.
Неосторожным локтем рюмку
С ликером сбила: ой, ла-ла.
И, долгоносым следом хрумкая,
За вальдшнепом сырым — стрела.
Разбился, и в перегоревшей
Листве — конец тебе, конец,
Немецкий сон, так сладко млевший,
Лазурный леденец.

САМОЕ

Не от того ли, жабры раздувая,
Жуя губами, в волоса залезла,
Что сахаром натертая, кривая
Нога ходячее подперла кресло?
Но тут не млин, где сквозь кругляк гуси
Лоснящемуся не продраться просу,
Где копотью ресничной керосина
По липкому осело купоросу,—
Муштрой гусарской вывернуты ляжки!
Наездница, сосущая наотмашь:
Угря, воздетого на стержень тяжкий,
Губами поманила и — не вспомнишь.
Но выплюнутый (с боли нежнейшей)
Слизняк — размазанный слепой обабок —
Трущобное над каждою из женщин
Раздавит в сумерках, как месяц, слабых.
И забормочет плоть, в ночи качая
Верблюжей головой ихтиозавра,
И утро жадное нас, после чая,
Вдруг окунет, венчая воском лавра.
Червивый филодендрон на веранде,
Наверное, не скажет, многопалый,
Как выглохли герани без гарантий,—
Подружки, что рука не потрепала.
Ее рука! Чьи ногти — перламутром
Мерцающие запонки, наперстка
Не знающие (и иглы), лишь мудрым
Персидская пушком лоснится шерстка.
И там она! Ничто не уловимо,
Неизъяснимого ведь нет, и значит,
Что и под перьями у Серафима
Мозоль болит: канючит и конячит.

ПЛАВАНИЕ

Поезда, трамваи, карусели,
Глазом обведенное ландо,—
Плавно вы вошли и плавно сели,
Тронулись,— седой и молодой.
Матовым, но ясным негативом,
Чуть качнувшись, отбыло стекло.
Добрый путь, всем добрым и счастливым,
И заулюлюканным хулой!
Ты плыви вдоль улиц и вдоль станций,
Сатана в сатине, ты же стань,
Ангелок, на сопке у китайца,—
Стань и стой в зачумленную рань!
Потому что раны очень трудно
Заплывают рыхлою губой,—
В призме, бьющей искрой изумрудной,
Воя, искромсается любой.
Потому что тянет из футляра
Кипарисового,— потому
Приутюженный клочок фуляра,
Знаешь, я по-своему приму.
Кучер — как цыган, кондуктор тяжкий
(Не вращайте смелые белки!)
И шофер в приплюснутой фуражке,—
Сатана в сатине,— далеки.
А глазетовый, в рессорах хлябкий,
Экипаж лишь спицами спешит,
И под скромной, с васильками, шляпкой
Серафим снежинкой порошит.
Белая вуаль, и снова рана,
Снова эти серые глаза...
Жилы! Доконайте ветерана,
Бросьте с буферов под тормоза!
Мне ли жить с отрубленною левой
(Ахает папаха, как Махно!),—
Свял фуляровый и — не прогневай:
Я пальну и — выпрыгну в окно!
И опять качнется и с заминкой,
С поволокой тронется стекло...
Так, фотографической пластинкой

И цыганской волей — потекло.
Так, вошли жильцы и мягко сели
(Свет-то тот!),— седой и молодой:
Ремонтируются карусели,
И в ликере липовом ландо...

МОРОЗ

Как полозом по яблоку тугому.
И с посвистом, над вербой у овина,
Взлетев, закоченела половина.
Ему, ему (и никому другому) —
Широкий снег, суровый стон подреза,
И меж сосцов, под шкурою бараньей,
Щекочущее перышком желанье,
Когтей тетеревиное железо.
Но ток не вытоптан еще, и колкой
Зеленой сыпью, с зельтерскою схожей,
Роится воздух. Дышит под рогожей
Мохнатый барабан, кидая челкой.
Шарахнется ли от парной и свежей
Говядины на розвальнях, где сторож,
Которого никак не переспоришь,
Где туша движется копной медвежьей.
Сосун, он липовой балует лапой
Нутро торчащее, и, может, даже
В отвислый хвост ползет слюнина та же,
Чтоб обернулся конь гнедой в арапа.
Не кувыркнуться вещею кавуркой,
Под кожей, как под буркой, разлита
Живая мокредь; полоз — калита —
По-родственному селезенке юркой.
Свистит и сыплется зубовный скрежет,
Антоновка сквозит. Эх, не жалей той,
Которая поводит ручкой-флейтой,
Которая сегодня же зарежет
Осоловелого в кровати мужа.
И лужа черная не запечется,
Подпалина у глаз, как грех, зачтется,
И циркули кругом расставит стужа...
Эх, не жалей ее. Ты сам, который...
Барана залупив, тряхни папахой:
Хлеб и в поту халява — под рубахой.
Оглоблями и крыльями — в просторы.

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ (УЕЗДНОЙ)

За завтраком иль в именинной ванне,—
Я в зеркале: прозрачное купе.
Одеколонный ладан о Ливане
Напомнил, а тесемка на диване
Густыми гвоздиками — о клопе.
Лоснящееся логово, наверно,
Казнит бока спиралями пружин,
Уютно, заспанное и примерно
Такою, как с кровавой Олоферна
Главой Юдифь, судилище мужчин.
Олеография в мушином маке
Олеофантом крыта и комод —
Под лоск в гипюре вязанном, чтоб всякий
Берег благополучье и при драке
Ссылался на листы парижских мод.
На нем — два узеньких, гранений полных,
Бокалов с позолотой, и бокат
Гранатами лущащийся подсолнух
И радугой в стекле, в табачных волнах,—
Соленый день, селитрою богат.
Намыленный, как пудель, под железо
Откидывая шею, и, сквозь век
Смеженье, моросится до пореза,
Все чаще, и в матросском Марсельеза —
Синее сыворотки из аптек.
Но музыка, не пойманная колбой,—
Позволили ей воздух замесить!
С токсинами флаконы я нашел бы
И к Пугачеву в малахаях толпы
Привел бы,— перестаньте моросить!..
Приятной пуговицей спелый ящик
Комода оттопырился, и — вдруг,
На дне обоев, в розочках лядащих,
Сверкнуло лезвие и — настоящий
Ремень вываливается из рук...
Зарезан! Недомыленной горилле —

Как ниткою по шее, марш — кругом...
Юдифь! Достаточно мы говорили
Об Олоферне,— помечтаем или
Поговорим о чем-нибудь другом...

1919

НА ХУТОРЕ

Льняные льнули-льнули облака.
Их пушка выстирала, их несло,
Чтоб кошка долакала молока
Вершок, чтоб веселей гребло весло.
Рожденный дошлой рожью урожай
Лежал и угрожал тому, кого
Сам барин самоварный невзначай
Рубнул и — выстроил под Рождество.
И гончую в подпалинах тогда,
Как стерву, вытянуло за косым
В дубах и меж дубами, где вода.
Дубровский выстрелил, и — пухнет дым.
Пали, пали. Кто мало-мальски зол,
Кто думает, что хуторок разверст
Лишь для него — к окошку подошел,
Облокотился: молоко и... морс!
Что, кошка? Неужели и она,
Умывшись, поцарапаться могла?
Сохатая, послушная жена
Ползет, и юбка над дуплом — метла.
Билибинские плыли облака.
И не доплыли. Мыльные труды!
И батарея скачет через лак
Сквозь дым сухой — на гребень, на скирды.
Но, грыжу выпекши, бревном амбар
Вмуравливает муравьиных ос,
И с рвотными щеками отпрыск бар —
Зерно куриное — рукой, вразброс.
Байстрючье, ребусное, пузыри
Пускающее во пахах в бреду —
И на колесах страшных фонари
(Прикажите и — экипажик!).
Ду-
Дубровский! И — Билибин! Лень и лень.
Шаром по ямам (гоп ди гоп!) шарад.
Осина. Осень. И осиный день.
А синей гребле и веслу не рад.

Так, так. Но вытряхни, но измочаль
И, как Мазепу, кинь меня на круп,
Чтоб нагло выпростало и печаль,
Чтоб сох и я, но у сохатых губ!

ВОРОЖБА

Смотри: стуча точеной палкой,
Кострикой по небу пыля,
Слепая ночь за синей прялкой
Разматывает тополя.
(От сырости) белесым жабы
Пришлепывают животом,
И стекла в коридоре слабо
Спросонок — комаром, потом
Позванивают осторожно:
Не разбудить, а спи... а спи...
От боли аспирина б можно,
Да пусто, ясно, как в степи...
Смотри, смотри: все туже, туже
За нитью шелковая нить,
От млеющей пуховой стужи
Ни рук, ни ног не сохранить.
Стеклянный муравей ужалит,
И рассечет секундомер
Глаза, и вéки опечалит,
Отчалит в общество химер.
Смотри и — даже больше!— слушай.
Как оборвется вдруг, шутя,
Шальное счастье мягкой грушей,
Слепой судьбу укоротя.
Приплюснутую утром, возле
Корней, найдут живую грудь,—
И низенькая низкорослей
В термометре предстанет ртуть.
Как холодно и пыльно! Молод
Росой нерадужною сад.
Сон-секундант и тот размолот
Досадными камнями. Рад
Мой глаз оранжевый, великий,
Застывший кошкой у крыльца,
Пылящейся грехом кострике,
Глубокой пасти без лица...

НА УГЛУ

Грустная кровь прохрустела, коробя
Каждую жилу мою червяком.
Час ли такой на углу, что в хворобе,
В булочном хрипе бутылки, знаком
С долей, он булькает над кавалером,
Клонит большие Матрены глаза
(Полно, Полтава!) и в рваном и сером
Топчется, чтоб кто-нибудь приказал.
Проволока телеграфная густо,
Гудом подделываясь под басы,
Вторит воловьим, и оттиск капусты
Лиственный в ломте,— такие часы.
А при серебряных и при жилете
(Из-под жилета — рубашка), прошел
Некто бекренистый, чадо столетья,
В коем додумаются и до пчел,
Отлитых впрок, и стягнут до Сатурна,
И расколдуют гроба,— вповорот
Девке ротатой: «И даже недурно:
Взять с инструментом и — на огород!»
Дернулась по тротуару задрипа,
Пудрит какао себя воробей,
Печень печет. Не почет ли, что выпей,
Долю с чубатой пропей, Кочубей?
Голову требует темная плаха,
Краска облуплена, как у икон.
В смушковой, мреющей охай и ахай,
Что — беззаконье и что есть закон!
Что — от Мазепы и что — от Шевченка,
Тыквенная-то сама от кого?
Проволока — по хребту до коленка
Гулом, похожим на войлочный вой.
Свесился вялым мешком, и корявый,
Чует: репейник врывается в ус...
Угол фонарный, и столб ради славы
— Радужным светом! — я не отзовусь.
Рухну ли насмерть, все будет знакомо:
Стоптанный чобот и под руку лак,
Луком даренный, и лан чернозема...

В час вот такой на рогу и закляк.
В час вот такой волосатая дура
(Та, что в прыщах и ротата) рекла:
— Великолепная грустью бандура
(Барышни и кавалеры!) ушла...

БЕЛЬЕ

В эмалированном тазу
Полощет, мраморное ищет,
И мыло (синью — в стрекозу)
Затюпивает голенищи.
Выкручивает и — на стол,
И сохнет соль и сода пены,
Как и подтыканный подол
В рассыпанных цветах вербены.
Обрюзгший флигель, канитель
Гербов и фланги — панталоны;
И треугольник капитель
Подперла, навалясь колонной.
Проплешины не штукатур
Замазывает,— кистью плесень,
И селезень (он — самодур!) —
Глупей от перьев и от песен...
Взошло, взошло на небеса
Гремучее феодализма,
И в пузыре, что поднялся,
В той радуге,— мигает клизма.
Лишь тут — плечист и мускулист,
Поджарый, ловкий от сноровки,—
И вешает белье на лист,
Чуть взбалтываются веревки.
А ночью, на ветру, белье,
Как приведение, огромно...
Но селезень, болван, былье
(Такой же призрак) и не вспомнит!
И ставшая другой рука
На радугу стрекоз и мыла,
И селезня — из тупика
Под флигелем — жгутами взмыла.
И глянцевеет емкий таз,
И погребальный весел мрамор,
Чья сеть — мыслете выкрутас
Камаринских вождей — карамор.

⟨1923⟩

ТО — ТЫ

Мелькает молоко: то облака,
То молодость — по небу голышом.
А ты, солдат, линейная тоска,—
На облучке не слышим, а грызем.
До одури и пользы, не глуха,
Гнилая грудь, коринкою коря,
Оправдываясь, держит жениха:
Налив расцеживает янтаря
По волосам, запальчивым, как нрав
Мальчишки-ветрогона, от гусей
По коже вдруг заимствованной. Прав,
Тысячекратно прав ты жизнью всей,
Мой собутыльник, Аристотель мой!
Не женщину искать, а разграфим
Календари, и пусть течет бельмо.
Но как же — несравненный Серафим?
Но как же опахала-веера,
И розовые узелки в глазах,
И срам (а мушка наверху),— теряй,
Горе, животное, и бди, монах?
И как же грудь торчащая, и как
Ситро, замлевшее в моей ноге?
От ладанок, иконок и собак
Отбою нет,— ватажлив апогей.
Лишь примелькавшееся не страшит,
И семечек рассыпана лузга.
Компот — до пота! Жилками спешит
Ситро, и, в сите, не моя нога.
Вздохнет, нырнет в таинственный енот,
Такая серая — молчи, молчи;
В полнеба козерогом козырнет,
И на куличках будут куличи!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Горчичной пылью поперхнулся запад;
Параболы нетопырей легки;
По косогору на паучьих лапах —
Чахоточные ветряки.
Настороженной саранчою колос
Качается, затылком шевеля...
Меж тем на когти крыльев накололось
Молчание.— распухнувшая тля.
Ты огорчаешься, воображаю,
Что в балке сырь, как в погребе, стоит,
Слегка косишься по неурожаю,
Аршином топот меряешь копыт.
Гремит полуоторванной подковой
Твоя кобыла, дрожки дребезжат;
Приказчик твой, лукавый, но толковый,
Посадкой подхалимствующей сжат.
Попахивает ветерком, который,
Быть может, из-под дергача подул
Сейчас, а дома: желтый свет сквозь шторы
И проступает контуром твой стул...
Продавлено отцовское сиденье,
И спорыньей обуглены поля;
Под пошатнувшейся, прозрачной тенью —
Играют в шахматы без короля.
Не все благополучно! Как Везувий,
В дыму, в огне за балкой рвется столб:
Там черногуз птенца уносит в клюве,
Мерцают вилы, слышен грохот толп...
Не все, не все благополучно! В сером
(Татарином) приказчик соскочил.
Что ж, щегольнул последним офицером —
И в Сочи кораблю судьбу вручил...
Прищелкнул, на крыльцо и — «Злаки чахнут
(Подумал),— одолела спорынья...»
Напрасно суетится тень у шахмат
И жалуется на коня...

1918 (1920)

ОТЕЧЕСТВО

Вконец опротивели ямбы.
А ямами разве уйдешь?
И что — дифирамб? Я к херам бы
Хирама и хилый галдеж!
Херсону на пойме лимана
Чумак приказал и — стоит,
И светлый платок из кармана
Углом, ремесло Данаид.
И Глухову, скажем, ведь тоже
Послушливым быть бы, Ямщик!
Бутылку тащи из рогожи
На ящик: пусть пробка трещит!
Сверчком завивается волос,
Захочешь — завьешься юлой:
На быстренькую б напоролась,
На скользкую шея милой!..
Земляк! И на пойме Есмани
(Поймешь ли меня?) не поймать
Зарезанную. А в тумане —
Руками гоняется мать.
А в небе — угольные ямы
(До ямбов ли, страшное тут?),
И прется, ломает упрямый
Бедняга на редкий редут.
Куда частокол — и бесцельней,
И реже в опасности: стой!
Не молния,— бритва — в цигельне,
И ветер над шеей простой!

СЕРАФИЧЕСКИЙ

Прыснул и волосы сдунул
Со лба моего на затылок:
Где уж тягаться с Фортуной,
С отчаянной сворой бутылок.
Тридцать четвертый, и можно
Мне быть бы профессором даже.

Вместо сего, лишь мороженое
Я кушаю в гуще сограждан
Пяточный сыр, и арбузной
Делянкой играет тигристой,
Одутловатый и грузный,
Вдруг выплеснувшийся на пристань.
Пушечки, как микроскопы,
И к ласкам внимательны очень:
Ластятся, чтобы похлопал
По телу, по флейте, кто точен.
Но шестикрылое крепко
Суровой пристегнуто ниткой,
И не уйти мне от слепка,
Из воздуха, глины, напитка.
Реет над пылью в игорной,
Над ломберной зеленью сукон.
А под обшлаг и — сдернул:
Довольно, кием ты застукан.
Кактусы, точно драгуны,
Стоят по обеим перилам...
Где уж тягаться с Фортуной,
И с этим... да вот... шестикрылым.

ПОСЛЕ ГИБЕЛИ

ВСТРЕЧА

Когда-либо и я стану старше,
закупорится тромбами кровь —
и лягут на моей комиссарше
косметика и твердая бровь.
За чайником в лиловых разводах
(фарфоровый Попов) помолчим,
о бывших венценосных погодах
взмурлычет паровой серафим.
Над лысинами нимбы парили,
и также над чубами — тогда,
как дом об одиноком периле
точила полевая вода.
На комья натыкались тачанки,
несла дробовики колея;
бесстрастные глаза англичанки
подсинивала в мыле шлея.
На лошадь поколупанный оспой
обрушивался через седло:
арканом захлестнуть удалось бы,—
жаль, армия пришла засветло.
Как в классе, в канцелярии планы:
на западе — уже западня:
деникинские аэропланы
отчаянее день ото дня.
Да стоит ли кобылячьих челок,
паршивенькой халявы, взята
огулом офицерская сволочь,
охотящаяся на кита.
Мужичьего не вылакать пота,
живые копошатся рубцы...
И-эх-и! На охоту — охота,
И кто тут — ястреба, горобцы?
Гуляй по Запорожью, ребята,
где саблей, где и пулей гони
Деникина!.. Луна не щербата,
глотает капитальные дни.
А батьковский, на самом припеке,
схилился заколоченный дом...
Каштановые льны-лежебоки,

сморчковое в лице молодом;
Распутина и (вдруг) англичанки
белесые, как горе, глаза.
И в грудень тарахтит на тачанке:
недаром ободрал образа...
Мохнатое ушло, но за чаем,
за чайником в лиловом цвету,
мы желчью печенега встречаем,
к нам падающего на лету!

1921

КОСОЙ ДОЖДЬ

КРИНИЦА

Пупами вздуваясь, большая-большая
Утробная лопается вода:
Сквозь сутолоку, лишаев не лишая
Жабьих жабо, поспешает туда!
На дереве, треснувшем вдруг от натуги
(Не выдержала, дубовая грудь?),
На коже — горбатые секторы — дуги,
Радиусы: осмотрительней будь!
Прислышался запах (на глаз иль на ощупь),
Попробуй: махровый и есть лишай!
Куда же ведешь ты, портретная роща:
Сам я — Сусанин: за мной поспешай.
Поправил заботливо заспанный галстук,
С кривою улыбкой трость прихвачу.
«Да что́ ты: не сыро...»— «Подумай, пожалуйста,
Палкою рот раздеру я ключу?»
Приятель под куст закадычную шляпу
(Затрясся пером деревянным куст)
И гриб, уподобленный скользкому кляпу,
Из затененной — залуписто шустр.
Широкими всходят пионами речи,
Вздуваются, лопаются потом
И машут ромашкой, главой человечьей
Мозг и желудок пугая судом.
Пионы — на губы, и губы — пионы,
Приятель — пугающий попугай.
Черви копошатся во чреве Ионы.
Тень чешуится, но тинистый гай,
Но тинистый, выслепший и сумасшедший
Бормочет: «А где же ее губа?»
И по позвонку торопливые встречи
Вьются,— спиралью уходит труба.

Она заревет. Уж долбится, как дятел,
Теряясь в промежностях, каплей — ключ.
И шляпу насупил на брови приятель.
И захлебнулся в испарине луч.

ЧЕХОВ

А Ялта, а Ялта ночью:
Зажженная елка,
Неприбранная шкатулка,
Эмалевый приз!..
Побудьте со мной,
Упрямый мальчишка —
Креолка:
По линиям звезд гадает
О нас кипарис.
Он Чехова помнит.
В срубленной наголо бурке
Обхаживает е г о особняк —
На столбах.
Чуть к ордену ленту
(...Спектром...),
Запустят в окурки
Азот, водород,—
Клевать начинает колпак.
Ланцетом наносят оспу москиты
В предплечье,
Чтоб, яд отряхая,
Высыпал просом нарзан,
В то время,
Как птица колоратурой овечьей
(...Сопрано...)
(Кулик?)
—Усните!—
По нашим глазам...
Побудьте со мной,
Явившаяся на раскопки
Затерянных вилл,
Ворот,
Городищ
И сердец:
Не варвары — мы,
Тем более мы в гороскопе,
Сквозь щель,
Обнаружим
Темной Тавриды багрец.

...Горел кипарис в горах.
Кипарисово пламя,
Кося,
Залупил свистящий белок жеребца.
Когда,
Сторонясь погони,
Повисла над Вами
С раздвоенною губой человеко-овца.
В спектральном аду
Старуха-служанка кричала,
Сверкала горгоной, билась:
— На помощь! На по...—
Не я ли тут, Ялта
(Стража у свай, у причала),
К моей госпоже — стремглав
(...В тартарары...)
Тропой!
Оружие! Полночь...
Обморок, бледный и гулкий,—
И Ваша улыбка...
Где он, овечий храбрец?
Алмазы, рубины
В грохнувшей наземь шкатулке,
Копытами въехав,
Раненый рыл жеребец...
Вы склонны не верить,—
Выдумка!—
Мой археолог,
Что был гороскоп:
Тавриде и варварам — смерть...
А Крым? Кипарис?
А звезды? А клятва креолки,
Грозящей в конце
Пучком фиолетовых черт?
Среди ювелиров, знаю,
Не буду и сотым,
Но первым согну хребет:
К просяному зерну.
Здесь каждый булыжник пахнет
Смолой, креозотом:
Е г о особняк, пойдемте,
И я озирну.
Кидается с лаем в ноги
И ластится цуцка.

Столбы, телескоп.
И нет никого, ни души.
Лишь небо в алмазах
(...Компас...)
Над нашей Аутской:
Корабль, за стеклом —
Чернильница, карандаши...
Не та это, нет
(Что с дерева щелкает), шишка:
К зиме отвердеет,
Елочным став, колобок.
Другою и Вы,
Креолка, опасный мальчишка,
В страницы уткнетесь:
С вымыслом жить бок о бок.
Когда ж в перегаре
Фраунгоферовых линий
(Сквозь щель меж хрящами)
Тонко зальется двойник,—
Вы самой приятной,
Умной
Его героиней
Проникните в сердце:
Лирик к поэту проник.
Зима. Маскарад.
И в цирке, копытами въехав
В эстраду,
Кивает женским эспри буцефал...
Алмазная точка,
Ус недокрученный:
Чехов...
Над Ялтой один
(...Как памятник...)
Заночевал!
Зимой и в трамвае
Обледенеет креолка:
Домой,—
Не довольно ль ветреных, радужных клятв?..
По компасу вводит
Нас —
В тридесятое!—
Елка:
Светло от морщин,
И в зеркале —
Докторский взгляд...

* * *

Ты что же камешком бросаешься,
Чужая похвала?
Иль только сиплого прозаика
Находишь спрохвала?
От вылезших и я отнекиваюсь,
От гусеничных морд.
Но и Евгения Онегина боюсь:
А вдруг он — Nature morte?[1]
Я под луною глицериновою,
Как ртуть, продолговат.
Лечебницей, ресничной киноварью
Кивает киловатт.
Здесь все — абстрактно и естественно:
Табак и трактор, и
Орфей веснушчатый за песнею
(«Орфей»,— ты повтори!).
Естественно и то, что ночи он
В соломе страшной мнет,
Пока не наградит пощечиной
Ее (ту ночь) восход.
Орфей мой, Тимофей! Вязаться
Тебе ли с сорняком,
Когда и коллективизация
Грохочет решетом?
Зерно продергивает сеялка,
Под лупу — паспорта!
Трава Орфея — тимофеевка
Всей пригоршней — в борта!
О если бы Евгений выскочил
Из градусника (где
Гноится он!) Сапог-то с кисточкой,
Рука-то без ногтей...
О, если бы прошел он поздними —
Вареная крупа —
Под зябь взметенными колхозами
(Ступай себе, ступай!)!..
...Орфей кудлатый на собрании

---

[1] Натюрморт — букв. «мертвая природа» (*фр.*).

Про торбу говорит,
Лучистое соревнование
Сечет углы орбит.
При всех высиживает курица,
Став лампою, яйцо...
...Ну как Евгению не хмуриться
На этот дрязг, дрянцо?
Над верстами, над полосатыми —
Чугунный километр.
— Доглядывай за поросятами,
Плодом слонячих недр!..—
Евгений отошел, сморкается;
Его сапог — протез.
В нем — желчь, в нем — печень парагвайца,
Термометра болезнь!
(Орфей) — Чего же ты не лечишься?
(Евгений) — Я в стекле...—
...А мир — высок, он — весок, греческий,
А то и — дебелей.
Что ж, похвала, начнем уж сызнова
(Себе) плести венки,
Другим швыряя остракизма
Глухие черепки...

ПЕРЕПЕЛИНЫЙ ТОК

Самочка галстук потеряла; ищет:
Он — у самца, он в росе намок!
(...Тут вот я и налаживаю пищик,
Маленький мой манок.)
Сетка обвисла по бокам лощины.
Травы гремят, навело сверчков
Так, что небо со всей его вощиной
Лезет само в очко.
Травы — подсолнуха конечно толще —
В руку! В оглоблю!..
Ах, нет, не то:
Тут — дубовые, клепочные рощи,
Вытоптан пяткой ток!
Бьет, задыхаясь, от буры, от солнца,
Извести в сердце.
А ночь — без сна,
А глаза в пелене у многоженца,
И коротка плюсна.
Перья топорщатся, трещат,— их лущат,
Их оббивают крылом, ногой,
Клювом.
Сумрак от ревности веснушчат,—
Штопку ведет огонь.
Галстук, которым петушок украшен,
Скомкан, но желтая выше бровь,—
Дракой, шашнями, страстью ошарашен
В топоте он дубров.
Страусом (киви) наскочил соперник,
Новый боец, и — пошло опять,
Оттопыренный вспарывать наперник,
Жгучее тело рвать...
Рвать, но, склероза глухотой не сдержан,
Сам-то я в прорву лечу, дрожа,
Слыша, как обнажает шея стержень
Под черенком ножа.
И, сумасшедший, замечаю сверху:
Вот он валяется — мой манок;
Вот и клетка — неубранная перхоть,
Вмятое толокно;

Рухнувший навзничь, я очнусь в постели,
Вспомню тебя с головы до ног...
Как мы в схватке ресницами блестели,
Маленький мой Манок!

Как отступали пред нами рощи,
Чтоб, отступив, захватить в силки
Нежность, молодость и (чего уж проще?) —
Нитяные чулки!

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

ИЗ КНИГИ «СТИХИ»

* * *

Заплачу ль, умру ли,
Я знаю: на век от меня ты ушла...
Да как же мне думать — в горячем июле
Загарная бронза круглит купола!..

Забуду ль, узнаю
Опять обманувшее солнце степей?..
И где луговина хрустально-сквозная,
Лесная?.. Разлучную горечь испей...

Я — отроком тихим,
Ты — бледной Царевной,— зашли в монастырь.
Следим жизнь по книгам,
При свечке кровавой — Псалтырь.

Неведомы светлые страсти,
Неведомы нам.
— Малиновой схимой не засти
Июльский путь к гибнущим дням!

1909

ПРИБОЙ

Прибой... Опять, опять прибой!..
На скал иззубренный редут,
Как кони белые, идут
Валы шумящею гурьбой.

Но медно-гулкие зубцы
Несокрушимые стоят,
И мощь владычную таят
Их лиловатые венцы.

И, не дойдя до их границы,
Поникнут волны, гомоня,
И сквозь тяжелые ресницы
Блеснет вдруг в них струя огня...

Вот, как огромные кроты,
Валы вдали уже синеют:
Там — будто шлемы зеленеют,
Там — будто звякают щиты!..

И горький запах соли, маку
Вновь вал безветренный несет...
И мнится: конница в атаку
На белых лошадях идет...

1909

* * *

С каждым днем зори чудесней
Сходятся в вешней тиши,
И из затворов души
Просится песня за песней...

Только неясных томлений
Небо полно, как и ты.
Голые клонит кусты
Ветер ревнивый, весенний...

Выйти бы в талое поле,
Долго и странно смотреть
И от нахлынувшей боли
Вдруг умереть...

1909

ГОБЕЛЕН

Зима уходила, рыдая
В сияньи безбурного дня,
И следом Весна молодая
Пришла, все в лесу зеленя.

Овраги гудят и бушуют,
Ломая сквозь челюсти лед,
И ивы корявые чуют
И Пасху, и с ней хоровод.

А солнце лучи, точно струны,
К земле протянуло, чтоб петь,
И гусли играют так юно,
Как звонкая, звонкая медь.

А шляхом, как барышня с бала,
Фуфыря густой кринолин,
Уходит Зима. Ей опала —
Завявший в руке георгин!

На след осторожно ступая,
Уходит от юркой Весны
Обижено даль голубая,
Лишь банты от шляпы видны.

1909

В ОРАНЖЕРЕЕ

Закат

Отцвели гиацинты и розы...
И колокол плачет: по них?..
— Ах, цветы те убили морозы,
А невесту замучил жених!..

Лепестки — эти тонкие пальцы,
Что прикалывали к груди брошь...
Увяли под утро, страдальцы...
И по ком ввечеру ты вздохнешь?..

Золотая упала прическа,
Развинтились и кудри совсем...
И лицо оплывает: из воска!..
И за́мок нечаянно-нем...

Печаль по твоем гиацинте
С бледной розой во мне умерла...
Вечереющих снов не покиньте:
Слитки золота в тканях стекла.

1909

* * *

Мшистые, точно зашитые в сетку
Дымно-зеленой тафты,
Камни мозаикой тянутся редкой
У золотистой воды.

Дремлет залив. И боярышник пестрый
В красном монисте звенит.
Отблеск полудня рассыпался остро
Гладью приморских ланит.

1909

ТАНЦОВЩИЦА

Степного ветра легковейней
Скользит по мягкому ковру,
И флейта грустная в кофейне
Поет и плачет, как в бору.

Надежда верная в несчастьях
Рабе — как вихорь здесь нестись.
И ноги смуглые в запястьях
Сверкают одаль, как и вблизь.

Но как сменить гарема клетку
Вновь на свободу вешних птиц?
Забыть ли пальмовую ветку
С листами острыми, как шприц!..

Граненый день пред падишахом
Под тамбурин, гремя, пляши.
И жемчуг вышит по рубахам,
По шелку желтому межи.

А там — оазис и цветенья
Кровавых кактусов зимой,
Там баобаб широкой тенью
Накрыл песок, в ветрах хромой.

Тут в волнах слабого тумана
Лишь лица видишь впереди,
И в струйках сладкого кальяна —
Кружись, греми, сверкай, лети.

Поет свирель про грусть в кофейне.
Как мхи махровые, ковры.
Степного ветра тиховейней
Скользит она — раба игры.

1909

У МОРЯ

Море нежно-голубое
В золотисто-ярких блестках
Ходит гривами прибоя —
Балерины на подмостках!

Над обрывом — зонтик дачи.
Там фонтана зыбкий посох
Золотые будит плачи,
Там балкон алеет в розах.

В платье белом и кисейном
Вы прошли в свою беседку...
Тянет вздохом легковейным
Ветер морем солнца сетку.

И, сверкая, убегает
Гладь воздушно-голубая,
И в дали червонной тает,
Скалы-конусы купая.

Камни светят, как стеклярус,
На песчаных дна откосах.
И бессильно виснет парус.
И балкон весь в сонных розах.

1909

ПЕВЕНЬ

По свежераспаханным грядам
Походкою важной идет
Заносчивый певень. Каскадом
Хвост радужный перья несет.

Потянется, станет, крылами
Захлопает вдруг, запоет.
И вновь, не спеша, к влажной яме,
Что вырыл сошник, он бредет.

Житье петушиное — воля.
У бабушки век коротай:
В присмотре, прикорме и холе
Рай птичьих созиждется стай.

Схилившись над ветхой криницей,
Стоит голубой голубец.
Старуха в оконце синицей —
С лиловою лентой чепец —

Глядится на вешние гряды.
И зоркий добреет глазок:
Как желтые ловко наряды
Красивый одел петушок!

А он выгнул длинную шею,
Как змейки упругой кольцо,
И что-то кричит все звончее
Морщинам хозяйки в лицо...

1909

ПЕРЕД ГРОЗОЙ НОЧНОЮ

Ветер песенку неистовую
Тонким голосом насвистывает.

Мглу за окнами сиреневую
Тополь сеткой веток вспенивает.

Окаянней блещут таяния,
С каждым мигом все нечаяннее.

Бледно-синими излучинами
Ночь плывет над нахлобученными

Куполами серой жимолости...
Лампа светом тени вымела:
Стемнело!..

1909

ТОПОЛЯ

Под влажным ветром у забора
Лучились снежно тополя.
Но голубила тишь их скоро,
Ветвистой сеткою стеля.

Темнел амбар. И желтым мохом
Он с юго-запада оброс:
Так по неведомым дорогам
Ходили ливни, дождь, мороз.

А дальше: серая малина
Торчала хило-вырезной,
И лиловела, как долина,
В тени аллея глубиной.

И ветки хрупкие крестами
Кудрявил ясень и сплетал
Узоры кружева листами,
Что опахалами держал.

И снова тополь серебрился
Под ветром — ярко у стены,
И огород за нею длился,
И были дали уж видны.

1909

В ЗНОЙ

Диск кровавый исподлобья
Смотрит. Зной — дыханье печек.
Но зернистой звонкой дробью
Рассыпается кузнечик.

Травы жестки: от сухменя,
Серо-бархатны: от пыли!
Долгоспинник к перемене
Бьет пружиною подкрылий.

Стрелкой двигается усик,
А глаза — агатов почки.
В паутине резких музык
Косогор — в сухой сорочке.

Как копье поднявший воин,
Желтый колос пепелится,
Но кузнечиков треск зноен:
Клонит к неге нивы лица.

И в дремоте тяжко-пьяной
Зреет мерный гуд прибоя:
Под горою из тумана —
Стрекотанье грозовое.

1909

* * *

Налег и землю давит Зной,
И так победно, так могуче,
Что там, вверху, над крутизной
Застыли мраморные тучи.

И не идут, оцепенев,
И словно ждут в выси кого-то...
В лесу качает птиц напев
Зеленоокая Дремота.

Оса забилась под траву.
Кукушки зовы все ленивей.
И где-то там — в лесу? на ниве? —
Звенит протяжное: ау...

1909

ЯГА

По полю мчится, как синяя птица,
В ступе — без упряжки, гика, коней...
Будет звездами ли ночь золотиться?..
Травы в слезах поувяли за ней.

Следом — межой, детворою пробитой
В лес: землянику на стебли низать,
Въехала. Ржами запахло. Ракита
Стала без ветра ветвями качать.

Ближе, все ближе летит к чернолесью...
Вот и кустарник пошел под овраг.
Миг и — на посвист визгливую песью
Песню уныло завел жуткий мрак.

Плачет и стонет, хохочет, смеется,
Тихнет, рыдает, гремит и шипит.
Див ли в осине, запутавшись, бьется?
Топот гудит ли стоногих копыт?

Пляшет ли плясы на свадьбе Нечистый?
С Лешим кумится ль, сама — не кума?
В небе от звезд золотая мониста,
Темная душная ночь, как тюрьма.

Надо цветам под росою склониться:
Веет в кустах предрассветным теплом.
— Думаешь ты: то зарница, как птица,
Машет вдали огнецветным крылом.

1909

Как неожиданно и скоро
Прихлынул вечер на село!
Сиренев гребень косогора,
Как робкой горлицы крыло.

Еще дрожащей нитью длится
Заря, клубок свой домотав.
Но дремлет ветхая каплица
На перекрестке — у атав.

А перетлеет заревая
Червонно-огненная нить,
Взойдет на склон звезда живая,
Чтоб мысль тревожную манить.

И ночка теплая настанет:
Взопреют влажным медом ржи,
И ветер запах их протянет,
Как паутины — от межи.

1909

В НОЧНОМ

Костер догорел. Позолота
На углях краснеет. И вот —
Все явственней дышит болото,
Все к топи поближе зовет.

Вода по криницам и в речке —
Темнее, теплее, чем днем,
Как будто бы греется в печке
Над адским невидным огнем.

Там мгла ядовитая бродит
По топи, вкруг черной ольхи,
Качает и веяньем водит
Зернистые красные мхи.

А тут — на косе косогора —
Курень и ребят полукруг,
И дед в кожухе — для надзора,
Чтоб кони в атавы на луг

Уйти не могли из левады.
И ночь накликает уж сон,
И полон знакомой услады
И звездных роев небосклон.

Уж угли в чешуйках сизевших
Поблекли под пеплом седым,
И стая утей, просвистевших
Вверху, расползлась, точно дым.

А кони в лощине, как в яме,
Находят кусты сладких мят
И, фыркая мирно, цепями
Ног спутанных гулко звенят.

1909

ЗЕМЛЯНИКА

Раскрыла матовые листья
И белым цветом зацвела:
Май был Апреля серебристей,
В лесу теплом бродила мгла.

Цвела и снегом осыпала
В траве неровной лепестки,
Пока сама вся не опала,
Не стали пестики легки.

Тогда тянулась к солнцу ближе —
Как плохо малой быть весной!
Но солнце нагибалось ниже
И разливало марный зной.

И загорали, как румяна,
Еще незрелые плоды,
В себя вбирая сидр с поляны
Прозрачной дождевой воды.

Лес для старух уже постился
Грибною дружною гурьбой.
А день за днем назад катился,
Как шар стеклянно-голубой.

И вот, однажды, на рассвете —
Когда Природа уж вошла
В знак Близнецов небесных,— дети
Толпой ввалились из села.

И ожил лес многоголосый:
Гам, трескотня, ау-ау,
Как ослепительные косы,
Срезали мерную листву.

И по поляне росно-сизой
Зелено-яркий лег след ног,
Меж тем как заревые ризы
Златили облачный чертог.

Горело утро. А ребята
В росе ныряли средь ветвей
И из-под бархатного мата
Искали ягод покрупней.

И кто в поливяную кружку
С чуть розоватым ободком
Бросал за красной дружкой дружку,
Приметя под кустом тайком;

Кто на высокую былинку
Низал ряды красивых бус;
А кто, снимая паутинку
С листа, уж ягод мягкий вкус

Во рту вдруг ощущал... И нежно
Так таял алый леденец!
И солнце в глуби безмятежной
Надело голубой венец.

Но девочка, закинув косы,
Дары сбирала земляник:
Жжет в ноги холод, каплют росы,
А профиль худенький поник

И, приподняв травы листочек,
Следит он умно над цветком,—
Как много золотистых точек
На спелой ягоде кругом!..

1909

ПОД ЛУНОЙ

Твои жестокие напевы,
Как коршуны, терзали душу мне.
Луна рассыпала все севы,
И сад был белый в меловой стене.

Казалось бледным и зеленым
В тени твое склоненное лицо.
Рояль сквозила нежным звоном.
Вздыхая про заветное кольцо.

И, очарованный, боялся
Пошевельнуться, даже тихо, я...
А с пеньем стон переплетался,
И жалил свист — влюбленности змея.

И вдруг я понял откровенно,
С уже обрызганным росой лицом,
Что в этой лунности мгновенной
Сидел я — пред поющим мертвецом...

1909

ОСЕНЬ

Дни холодней и глубже. Будто клином,
Уходит каждый в даль полей.
И шелестится по долинам
Листва сгоревших тополей.

А в хуторском саду, за хатой,
Стоит святая тишина.
И в ней, чуть серп взойдет рогатый,—
Былинка каждая слышна!

Дни иссякают: все короче
Их серебристый перелив.
Зато растут длиннее ночи,
И как их терем молчалив!

Чуть тлеет месяц. За плетнями
Бахчу дозорят сторожа
И жмутся перед куренями,
В овчинных кожухах дрожа.

А гулкий холод к утру пробегает
По черноземной полосе.
И долго изморозь сверкает,
Белея в жнивье — на овсе.

1909

* * *

Еще стоят в аллеях песни,
Целительный точа покой.
Но за скамьей жердины лестниц
Поломаны чужой рукой.

Еще вчера дары снимали —
Груш, яблонь круглые плоды.
Сегодня в синеве эмали
Недвижны яркие пруды.

И Лета красные улусы
В горниле опаленных дней!
Лишь яблок розовые бусы
Благоухают все сильней.

1909

ОПЕНКИ

И. А. Бунину

Лесное золото опенок
Покрыло урожайный год.
Уйдя из-под надзора нянек,
В кустах аукает ребенок
И голос звонкий подает.
А девочка у пня. Как пряник,
К коре какой-то гриб прирос.
И в бледном кружеве берез
Он розовато-нежен. Славно
В лесу безветренном, нешумном!
Вон, сквозь просеку, своенравно
Скирды желтеются по гумнам.
И кажется все детской сказкой:
Опенки, золото и тишь...
Пред медуницей-синеглазкой,
Расцветшей поздно, в сне стоишь!..
И числишь грустно и напрасно,—
Как осталось немного дней,
Когда, как дети, мы прекрасно
Следим жизнь проще и ясней...

1909

* * *

Уж дни заметно коротают,
И аист грустно смотрит в даль,
Где вереницей птицы тают.
И у меня в душе — печаль...
Да, скоро быть гнезду пустому!
И на задымленной трубе
Никто не сгонит дней истому,
Покорную своей судьбе.
Зачем мне осень золотая,
Когда опять я одинок!
Вот птица села, отлетая,
В гнезда чернеющий венок
И смотрит умными глазами —
Поджарая — на все пути...
И грустно так, что тени сами
Мне шепчут тихое — прости...

1909

ОСЕННЯЯ ЗАВОДЬ

В осень светлую от клена
Опадали листья в заводь,
И вода рудо-зеленой
Стала,— негде уткам плавать.

Только там, где ключ кипучий
Живо бьет, бугор взметая,—
Под песчаной желтой кручей
Пропадает листьев стая.

Но туда не едут утки.
Зеленеют нежно лапки
Их в воде прозрачно-чуткой.
Клен бросает же охапки.

Листья бабочками плавно
Опускаются, как ряса.
А под кручей буйнонравно
Сыплет ключ свои алмазы.

1909

* * *

Свет Разума падает в душу
И гаснет, на миг возникая.
Извечна лишь Истина. Слушай!—
Бессмертна лишь Пошлость людская.

1909

* * *

У иконостаса свечи плачут,
Слезы на подсвечник каплют.
Прокляну я в жизни сна удачу
И рассветов зимних цаплю!
Лики смуглые в мурашках тают,
С ними гибнет Мира древность.
Голубей взлетевших вижу стаю,
Вижу бледную Царевну.
Огонек лампады нежно-робок,
Купол в солнце грустно млеет.
Ангел держит гибкую у гроба
Предразлучную лилею.

1909

ОНА

1

Черница в белом клобуке
Стоит передо мной.
Обои странные — в тоске,
Стена ярка, как в зной.

И допотопный холод в зал
Струится из окна:
Цветок склонился и завял,
И лилия — черна.

Молю икону, что в углу:
— Ее умилосердь...
А сам смотрю уже во мглу,
Где бездна-твердь.

2

Ужасный миг! С моих очей
Повязка вечного упала,
И в наготе своих лучей
Передо мною Смерть предстала.

И все, чем прежде был томим,
И все, что раньше волновало,—
Ушло, пропало, точно дым:
Передо мной Она стояла!

3

Пред рассветом кричали орлы,
Белобокие чайки летели...
Розовели окошки от мглы,
Но лежал я в испуге — в постели.

И проснулся, когда высоко
Уже солнце в лазури стояло.
И не знал: был то сон иль легко —
На яву созерцал все, усталый?..
Впрочем, это не все ли равно:
Птиц полет — повсегда пред бедою,
И недаром, в окне, как пятно,
Ты прошла предо мною седою!..

1909

* * *

Под вечер уходить люблю
Я в мыслей долгую аллею.
И в мыслях горьких, как в хмелю,
О настоящем лишь скорблю,
Но о былом я не жалею...
Все ж, не жалея, дорожу
Я промелькнувшим каждым мигом.
В шкафу стеклянном ворошу,
И, находя цветы по книгам,
Я в лихорадке вновь дрожу.
О обманувшая любовь!..
Я не постиг заветной тайны,
Но ты, язык, не суесловь:
Ах, как заржавленная кровь,
Лежат цветы в пыли случайной!..

1909

ЛЕСНЫЕ ЦВЕТЫ

Перевязанные алой
Лентой слабые цветы
Ты с улыбкою усталой
Приколола мне — их ты.

Их к рубахе приколола,
К синей с снежною каймой.
Но от трав уж шел тяжелый
Запах, тленный и немой...

Уж они не пахли лугом,
Ни росою ранних утр:
Был закат их скован кругом
Смерти — Жалобен и мудр.

И с улыбкою печальной
Уходил я от тебя,
И цветов наряд прощальный
Обрывал, лист теребя.

Знал, что скоро запах тленья
Опахнет меня и лес,—
Долго колокол весенний
Не вздохнет: Христос воскрес...

1909

НАД ОСЕННИМИ ПРУДАМИ

Грозили буйные дожди
Избороздить стекло прудов,
Чтоб на затерянном пути
Мерцали в глубине садов.

Гнал в зелень волн круги плетень
Он обмелевших берегов,
Но тих и светел был мой день
В печали розовых песков.

На камне белом я сидел,
Гас подо мною известняк.
Я знал, я верил: мой удел —
Глубин обетованный мрак!

День красовался и сверкал,
Лепил карнизы-облака.
В пролеты их, как между скал,
Сквозил огонь издалека.

Цвела лазурь. И вереск цвел —
Лиловой кровью и густой.
И ржавчиной березы ствол
Чуть тронул медленный застой.

Как щит, как зеркало, лучист
Был ковш забытого пруда.
Оливку волн крыл бурый лист —
Плетня дубовая руда.

Уж Осень тихая с высот
Мне в душу веяла тоской.
А пóры мелких пыльных сот
Известки млели под рукой.

1909

ВЕРЕСК

Как дым, распростертый на тонких руках,
Угасшего в зареве знойном костра —
Печальный и нежный цветок на песках.
Туманит он сладко, как хмель, вечера.

Он — девушки кровь — золотое вино.
Он — тихая ласка. Он — грустный ответ.
Он был, есть и будет всегда, как давно —
Печали любимой затерянный цвет!

В скиту ли далеком, за бором густым,
За чистой криницей — в овраге глухом —
Язвится огнем он, как свечи, крутым,
Оправленный нежным нежалящим мхом.

И мхи голубеют, как сонные льды,
Как пламень далеких весенних годин.
Зыбучи пески. Серебристы следы.
По ним я измерил пустыню — один.

Один! Трепещу, но плетусь я, влеком
Старинной печалью старинных икон.
Как киноварь в черни — за низким цветком
Алеет дупло водометных окон.

Над пропастью стану. Горят небеса.
Трубятся мне гул потайной родника.
И чьи-то змеиные, злые глаза
Ехидно уставились — издалека.

О, вереск! Я знаю, кто смотрит-следит,
Чей взор копьеносный острее рожна,
Кто душу в багрянец безумный рядит:

Печаль опечаленных, как ты — страшна!..

1909

ПОЭТ

Взошел я по уступам горным
Тропою узкою — туда,
Где клекотом орлят минорным
Из надстремнинного гнезда

Была разбужена впервые
Во мне дремавшая душа,
Где призраки, уж неживые,
Воскресли, таинством дыша:

И вот опять душой запевшей
Внемлю я грохоту лавин
И свисту резкому взлетевшей
Орлицы. И во мгле долин

Синеют мягкими крылами
Извилины святой реки.
А выше их — под небесами
Сияют вечными венцами

Все беспристрастней — ледники.

1909

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПАУК-КРЕСТОВИК

Я от потопа носить привык
Оранжевый крест на спине,
Зане я паук-крестовик
И в галерее живу во сне.
Гулкие комнаты дряхлый дом
Давно тишиной ворожит,
А нитки седые крестом
Я растянул под окном — мой скит.
Пальчиком острым весны дитя
Царапнуло нынче в окно,
И солнце в пыли, чуть светя,
Бросило столб, как тогда — давно...
Столб, золотящийся и пустой,
Напомнил и мне о весне,
Когда я на рыхлый застой
Мира взирал, золотясь во сне...
Тело, подобное — и коню,
И радуге, плыло во мглу...
...Сегодня ж слежу я возню
Мух на оконцах, таясь в углу.

1909

ВЕРБНЫЙ ВЕЧЕР

Зеленые влажные стебли
Из церкви выносят,
И стеблями сумерки косят:
Ну, свечку затепли.

Сейчас ты — милей негритенка.
Ну, хрупкою ручкою тонкой
Зажги и — увидишь
Во сне град неведомый Китеж...

1909

НА ФОНТАНКЕ

Швейцарихи в доме на площадь
И службу и долю несут,
А воды граниты полощат
И вдовьи беседы блюдут.

И как не поверишь цыганке —
«В карете кататься тебе»,—
Когда в угловом на Фонтанке
Привольней живу голубей!

Высокий, немного с одышкой,
А руки — белее моих.
Хотя некрасив, но не слишком:
Усмешка в усах золотых.

Ах, эта усмешка! такая ж,
Такая ж она, как тогда:
В «Ателло» (наверное, знаешь)
Толкнула меня без труда.

На сцене открытой кривляться,
И петь, и плясать — веселей,
Чем где-то по улицам шляться,
Тереться у спин да локтей.

И даже забавно — купчину
Заставить тряхнуть кошельком:
Во льду прохлаждаются вина,
А я — на другого тайком.

Два раза в неделю учитель
Приходит ко мне в бельэтаж.
Два раза! Ты скажешь: ленивый.
Но за два и десять отдашь!

Недаром плечо искусала
Ему я до самой крови,
И томный, и желтый — усталый —
Когтящей не хочет любви.

И что же? На третий,— как прежде,
Свиреп он и бешен к себе.
А я? Я — глупа... Хоть зарежьте,
Привольней живу голубей!

Из глаз его добрых и карих
Усмешка в усы перешла,
И все — от обеих швейцарих
До разных друзей без числа —

Пронизаны взором далеким.
Как счастлива я наяву!
Ведь в доме, что видится боком
На площадь, над речкой живу.

1912

ГИМНАЗИЧЕСКОЕ

То мягко пятились, то выходили
Архангелы на боковых дверях,
Коря, что в кактусе, в паникадиле
Пчелу запутало, что впопыхах
Торжественность на жесть сменил священ
Которому, среди духов и роз,
Подстриженные синие шеренги
Как шахматы расставить удалось,
Что Михаилу меч широкий, плоский,
Лучистый, опрокинутый плашмя,
Что вот другому щегольнуть в матроске,
Взлелеять лилию, засим, гремя
Улыбкой и глазами Саваофа,
Цепями в куполе переплелись —
И замолчать: домашняя обуза
Необольстительная ⟨нрзб⟩
Поскрипывает носом черногуза
На липе, похожей на абажур...

НАШЕ РОЖДЕСТВО

Чрез тысячу девятьсот семнадцать лет —
Опять Рождество и ясли опять.
Но звезды не те, и радостный свет
Не тот, что вел пастухов царя встречать.
Пещеры нет, а под небом голубым —
Революционнейший Вифлеем!
Грядущее — луч!
И прошлое — дым!
И настоящее — откровенье всем!
Коммуна!
Были и у богов свои
Пророки, свои и жрецы,— но зато
Такой мировой, вселенской любви,
Как ты, не знал и не будет знать никто!
Из стран из всех принесли тебе мы в дар —
Не ладан и мирру — молот и плуг.
Звезда родила не блеск, а пожар,
И каждый каждому стал товарищ, друг.
О пролетарий!
С поднятой головой
Ответишь ты, если б кто вопросил:
— Вот здесь-то наше земное Рождество,
Вот здесь-то вся наша сила из сил!

* * *

Ты улыбнулась, и — покорно
Замлела пламенная высь,
И мертвые очнулись зерна,
И камень прошептал: явись!

Играя вихрями пожарищ
И медию в колоколах,
Сказала просто мне: «Товарищ,
Перед тобой — веселый шлях».

И что с того, что плачет скрипка
Тоскующе и нежно так,
Когда одна твоя улыбка,
Крутя столбом, угнала мрак!

ОКТЯБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ

Суждено в веках другим светам пролиться,
И другая — битв земных равнина,
Замутившееся солнце Аустерлица,
Полинявшая луна Навина!
Не народы на народы (как при Трое),
А рабы на деспотов восстали:
Каждый с мыслью о победе, о герое —
Плащ развеян, легок бег сандалий.
Что им, этим жилистым и закоптелым,
С молотками, ружьями, серпами,—
Смерть в долгожеланной сече?— К телу телом,
Если души плещутся, как пламя!..
Пусть История-старуха скажет: «Гунны
И татары истоптали травы
И травой легли. Но светит нимб Коммуны
Озарением извечной славы».

* * *

За черным тянется, за золотом
Баронье воронье — в Донбасс.
Товарищи!
Штыком и молотом
Заставим тучу каркнуть:
— Пас!—
Товарищи!
Мы слишком верили,
Что крымский хищник — только тень.
Но за отрепанными перьями
Мы не заметили когтей!
И вот —
Он движется, он тянется
За нашим сердцем, за углем...
Убийца, мародер и пьяница —
Он мечет молнии и гром.
Товарищи!
Ужель спокойно мы
Неволи будем ждать, в тылу?..
Чтоб революцьи быть достойными,
— За штык!
За молот!
За пилу!

1920

Объят закат военной бурей,
И гетманская булава
Грозит конторщику Петлюре:
Смотри, крепка ли голова!
А полководец в треуголке
(Увито лаврами чело) —
Пилсудскому с улыбкой колкой:
— И Вас, фельдмаршал, понесло?
И снова Русь в сырой берлоге
Ворочается, как медведь,
Чтоб на неезженой дороге
Встать на дыбы и зареветь.
Огонь исторгнут из железа.
Стальные когти грузных лап,
И — четким стуком митральеза
Пронижет вой и лязг и храп.
Кто победителем из праха
Подымется, скажи, закат?
И для кого чернеет плаха?..
...Ясновельможные молчат.
И только тени роковые
В бровях упрямо залегли
Да в алый свет отходит Киев,
Под сень знамен родной земли.

1920
Николаев

ОБЛАВА

Знамена пышные зари кровавой
Над миллионами голов горят:
На мировой капитализм облавой
Идет загонщик — пролетариат.
Не застывающей кипящей лавой
Испеплены Конфуций, Шариат,
Евангелье, Будда — единой славой
В звезде пятиугольной мир объят.
Босой и голый, шумною оравой
Прут на ряды тяжелых баррикад.
Копье, и штык, и ножик за холявой,
И пулемет — добить тебя, закат!
В крови, захлебываясь, плавай — плавай,
Зобатый рот, живот, как вздутый гад!
И в сумрачного прошлого поля вой
Швырни, о ветер, бьющий наугад!
Товарищи!
За трудовое право,
За власть Советов — каждый, кто крылат,
Иди федеративною облавой!
И кто умоет руки, как Пилат?!
И кто продать шинель (хотя б дырявой)
За чечевичную похлебку рад!—
Облавой — на берлоги!
Левой — правой,
По фронту заходи скорей, отряд!
Команду слушай, ветхий бог и дьявол,
Интернационалу внемли, брат!
— На буржуа широкою облавой
Пошел российский пролетариат.

1920

— Матушка!
Тяжко от ран?
— Дети-то, дети какие:
Врангель — не ангел, а вран!
Снова, и снова, и снова
Тело терзают мое...
Лучше в колоде сосновой
Сгнить, чем такое житье!
— Матушка!
Это ли дети,
Дети твои?
Присмотрись:
Рыло кабанье при свете,
Полу-барсук, полу-рысь!
— Матушка!
Вскинь свои очи
Из-под лохматых бровей.
Видишь?
Выходят из ночи
Воины с песней твоей...
— Кто — то?
— Мужик и рабочий.

В БОЙ!

Опять над нами — тучи черные
Кружащегося воронья...
Рабочий!
От станка и горна
Иди и — оседлай коня!
Сожми винтовку и — на Врангеля,
С «Интернационалом» — в бой!
Что бронепоезда,
Что танки —
— Пред пролетарскою трубой!
И, пахарь, брось землицу-матушку,
В ряды армейские ступай!
Пусть треснет под твоею шашкой
Шляхетский череп-скорлупа!
Когда республика в опасности,
Кто смеет думать о себе?!
Все тяготы и все напасти
Забудем в огненной борьбе!
Товарищи!
За революцию!
Клянемся!—
Жизни отдадим.
Ручьи кровавые прольются,
Но — победим!

1920

* * *

Что нам воины времен Гомера,
Цезаря легионеры — что нам:
Ни Аттилой, ни Наполеоном
Не создать Истории примера!
Армия рабочая, ты с нами
Под звездой Объединенья дивной.
Над республикой федеративной
Ветер красное развеял знамя.
Мы воспримем новое крещение,—
Искупись, вселенская вина!
Стала кровь твоя для нас священнее,
Чтимей претворенного вина!
Армия рабочая, ты с нами.
Бейся, сердце, под шинелью серой.
Красного солдата, офицера!
Революции вздымайся пламя!
Мы летим. И нашу лаву — натиск
Не сдержать темницам произвола.
Радио разносит клич веселый:
«Пролетарии, соединяйтесь!»

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПАСХА

Под купоросом, чуть желтея,
обмякла липкая листва.
И месяц, чертова затея,
мерещится едва-едва;
в мохнатом золоте курчонок
на одуванчика похож,
и лица уличных девчонок
как будто вылупились тож.
Что синевы прозрачной глубже?
Что неба майского свежей?
Так не жалей в лобзаньи губ же,
пасхальных не жалей свечей!
Но ветхий, обомшелый образ
в мозгу ты должен побороть,—
того осилить, кто, раздобрясь,
набросил на тебя оброть.
Он был хитер и в ласке гневен,
и пригвожден он был, как царь.
В смраду, во тлении триднёвен,
воскрес он баснословно встарь.
И над сияющею басней
кадят духами шулера:
бормочет риза и подрясник,
что словом сдвинута гора.
Но вырви образ с корневищем
из закоптелого мозга:
в тысячелетиях освищем
мы темень, нашего врага!
Мы только в мозоли поверим
да в наши жилы, в нашу кровь!
Да зравствует весенний терем,
трудом поимая любовь!
Пчела, сосущая сережку,
девчонка с веткой босиком,—
все на одну плывет дорожку,
и все — земной единый ком.

В серпа и молота когортах
идем сквозь смрад и холод скверн.
И не Христос восстал из мертвых,
а Солнценосный Коминтерн!

1921
Харьков

* * *

Четыре года, долгих года
(Где, что ни шаг,— вперед верста!)
Тебя трепала непогода
Неспроста.
И неспроста на твердой страже
Ты, революции солдат,
Следил, как лицемерил вражий
Циферблат.
Твой взор стал зорок, слух стал тонок,
И сталью налилась рука.
И Запад слушает спросонок
Звон штыка.
Одним он гибель предрекает,
Венки победные — другим.
Пятиугольная мелькает
Звезда сквозь дым.
На ней скрестились серп и молот,—
Труда крещенье таково!
Что́ зной, что́ ветер, мрак и холод,
Коль торжество!
Да, торжество единой силы,
Союз рабочих и крестьян!
Буржуазия глаз скосила
На дружный стан.
Надеется и не надеется
Рабов вчерашних одолеть.
Свети, звезда красноармейца,
Пока во мраке свищет плеть!
И впредь, великий воин в мире,
Стой нерушимей верных скал,
Как эти тяжкие четыре
На славной страже ты стоял.

⟨Ноябрь 1921 или февраль 1922⟩

ШАХТЕРЫ

Все говорим мы о них, а никто не подумал
И лба своего никогда и никто не наморщил
Над тем, как в удушливых норах темно и угрюмо,
Как тяжко, коснея, нависли подспудные толщи.
Все повторяем слова мы о золоте черном,
Лоснящемся жиром веков антраците и коксе...
Но кто из нас вспомнил про яд, что гнездится по зернам,
Про газ, что крадется за теми, кто ходом увлекся?..
Это не он ли взорвался от гулкого жара.
И — грохнули недра во мгле стерегущей, неверной?
Не он ли сгустился алмазной смолою анчара,
Проклятый навек стариком сумасшедшим Жюль Верна?
Черные люди-кроты... закоптелые своды...
Поют катакомбы, поют...
О, запомни, запомни,
Как, вздрагивая, в океанах ревут пароходы,
Как дымы огромные вьются на зорях огромней!
Знаем, что плотью изгнившего ихтиозавра,
Хвощами истлевшими — добела нить накаляя,
Мы молнию держим, чтоб радионосное Завтра
Нам арки воздвигло земного чудесного Рая.
Знаем, что кто-то упорно киркой и лопатой
Долбит, выгребая, залегшее чрево Донбасса...
Знаем...
И что же?
О жизни лохматой, горбатой,
Тяжелой попискивает ротозей-соглядатай
Да спорит ученый...
Но мыслит — рабочая масса.
Слушай, товарищ, что может, что может случиться:
Из домны кипящей прострется рука великана,
Над шахтами твердо приподнимет и выбьет, в зарницах,
Бессмертное слово
«Победа»!
Киркою багряной...

1921

1 МАЯ

Сегодня — солнца, и цветов,
И звонких песен хороводы,
Сегодня шар земной готов
Омолодить свои народы.
Где плоть, где мысль?— Один полет
Туда, в раскрывшиеся дали!
И вдруг... Жестокий, черный лед,
И — выси траурными стали...
Кто это плачет, это кто
Оскал и вопль заносит страшный
Над онемевшей пред бедой
Толпой республиканских граждан?
Знамена кровью не горят,
И гаснет серп, и меркнет молот:
Идет, кладет за рядом ряд
Скелетов человечьих голод.
И только ворон, только волк
(Второй трубит и первый кличет)
Не могут взять в счастливый толк,
Откуда много так добычи...
В душе — тяжелый, чумный лед.

БАСТИЛИЯ

Мы не забыли, как в садах Пале-Рояля
и у кафе Фуа ты пламенно громил
разврат Людовика, о Де-Мулен Камилл,
как дым Бастилию окутал, день вуаля!
Сент-Антуанское предместье наша память,
как раковина жемчуг, помнит и хранит,
и ненавистен башен спаянный гранит,
возлегший, чтоб глухим венком позор обрамить.
Но пали, пали королевские твердыни:
аристократа опрокинул санкюлат!
О Франция!
О времени тяжелый лет!
О беднота воинственная, где ты ныне?
Одряхший мир — в параличе, и участили
события набухший кровью пульс его.
А в недрах зреет — зреет мести торжество
и гибелью грозит последний из Бастилий.
Так.
Рухнет и она.
От пролетарской пули,
кипит и пенится вселенская заря.
И сменим Двадцать Пятым Октября
Четырнадцатое Июля!

* * *

Твой зонтик не выносит зноя,
Легко линяет по кольцу,—
Но платье пестрое, цветное
Тебе особенно к лицу.
Ты в революцию пришла в нем,
Смеялась (кто тебя поймет?),
Когда копытом бил по ставням
И заикался пулемет.
Цветное поле пело, тлело
И распадалось на куски,
Зато росло и крепло тело,
Вылущиваясь из тоски.
И все вдруг стало преогромной,
Стремглав летящей мастерской:
Дышали, задыхаясь, домны,
И над ремнями — волчий вой.
И в этом мире, в суматохе,
Геометрическая цель,
Сопя, рождала поршней вздохи,
Сияла в колесе — кольце,
И в этом же, вот в этом мире,
Трудолюбива и легка,
С глазами — и светлей и шире,—
Ты — у станка.

САДОВНИК

И. В. Мичурину

Пчелы роются в цветах недаром,
К наклоненному спеша крыльцу:
Я и сам в погоне за нектаром,
Творческую разношу пыльцу.
То на рыльце (где в основе — завязь)
Сыплется с тычинок пыль, труха,
Чтобы виноград, ядром прославясь,
Загрузил корзины доверха.
Это скрещиванье, опыленье —
Что, как не древесная любовь?
Медленно, однако, поколенье
Лезет семечками из плодов.
А у нас ни сроков, ни охоты
Сохранять врожденное лицо:
Черенок и нож подтянут всходы,
Банка светится уже пыльцой.
Слыша, как под песни комсомолок
Перестраивается страна,
Улыбается в усы помолог:
— Молоды еще мы, старина! —
Над Козловом день — высок, лазурен.
Но куда лучистей воля, ум
У того, кого зовут Мичурин,
Кто в зеленый окунулся шум.
Селекционер, он в мире первый
Показал (трезвейший чародей!),
Сколько превращений и гипербол
Спрятано в растении, в плоде.
Осторожно косточку он вынул
Тут из одного, а там другой
Обернулся к северу малиной —
Накладною шапочкой такой.
Помесь вишни с абрикосом (или,
По-ученому сказать, гибрид)
И цветет и пахнет в щедрой силе,—
Розовыми красками дарит[1].

---

[1] Вариант: Без надзора местных.

Вся страна вниманьем окружила
Свой питомник, свой бесценный сад.
Чуть сквозят на солнце листьев жилы,
Бергамоты гирями висят.
И отчетливо так вижу:
Тенью
Яблони (вон той!) пересечен,
Проверяет закон тяготенья
Мичуринской антоновкой Ньютон...
Выводя породу за породой,
Дичь и косность мы на части рвем.
Что ж, повозимся еще с природой,
Поработаем и поживем!
В долголетьи нет стране отказа,—
Нас гормоны новые бодрят.
Нам социализм широкоглазой
Веткой машет дни и ночь подряд.
Сами из породы полноправных,
Садоводы чувств и головы,
Мы вконец спокойны за питомник,
За сады, в движении молвы,
Если есть у нас такой садовник,
Как, Иван Владимирович, Вы!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Пыхтело в пахах у паровоза,
Переливалось, булькало в животе,
Пока, задыхаясь от невроза,
Налетом глицериновым он потел.
Потел — и на рельсах, костылями
Пришитых (рантом) к клавиатуре шпал,
Чадил и качался под парами,
Похлопывая факелом поддувал.
Но вот, обеспамятев, короткий
Хлебнул глоток —
И выровнялся, вопя,
Что с этой простуженной глоткой
Легко, заметь, и жабу схватить опять...
Но вот
(Он — и лекарь, он — и мастер)
Подходит с гибкой талией человек,
Накладывает на чирей пластырь,
Во внутренностях роется, в голове.
Полощет огромные сифоны,
Чугунные обшаривает пупы,
Залазя в раструбы граммофона,
В цилиндр из пережаренной скорлупы.
И вдруг, поперхнувшись
(Дым, кострика...),
Нутро, хлеща, выплывает комок...
    Отец-паровоз, веди без крика,
    Считай суставы, кованый башмачок!
Шипеть утюгом, скрести метлою,
Через решета сыпать песок, пшено
(Не веялка ли спешит с тобою?) —
Ведь так,
            лишь так
                        заказано,
                                    решено!..
...Пусть дождь шумит,
Кипит самовар —
Испей чайку, машинист, кондуктор!
Пассажир — муравей, вагон — мурава,
Товарный — с небольшим козырьком рундук.

Отец-паровоз!
Хрустят суставы,
Цистерны вялят свои окорока,
Кадрированные в кино составы
Продергивает по ночам рука.

Кругом обмолот,— урожай — в амбар
Под свист из пор, под хруст и пар.
(Павлин нефтяной, он хочет быть зелены
Перо перегорело — пахнет паленым.)
Капустные ядра, в три обхвата бревна,
Жираф-экскаватор, туши и жиры —
Как тут обмозговано, полнокровно,
Нефть, уголь и хлеб —
Утробные пиры!..
Страна моя! Родина!
В сердце твое
По венам бежит и моя руда,
И я за районом осваиваю район
Высокого,
Единственного труда.
И я на твоей,
На нашей новостройке
Взамес беру железо и бетон,
Чтоб снова очутиться на станции,
Только,
Мигнув, растреснется семафора бутон...
Отец-паровоз!
Скатерть, а не насыпь,
До колосников твоих — и не прикоснись!..
Совсем не твоя это дорога, Некрасов,
Не твой это, Блок, кучерявый машинист!
И горы, и тундры, поля, пустыни,
Тайгу, хватающую коготками ежевик,—
Насквозь протыкает вилкой синей
Накатанных путей —
Упорный большевик.
Взгляни на завод,—
Разве допустишь,
Что до пятилетки и здесь была пустошь?
А здесь,
Где город расперло от гула,—
Здесь войлочным табором кочевали аулы,

Не люди, а звери, в косматых и хмурых
Бродили здесь, в перелицованных, шкурах...
    Победу себе он во всем обеспечил,
    К дорожным трудностям, упорный, привык,—
Он есть инженер, кочегар, машинист, диспетчер,—
Но, прежде всего, он есть —
Большевик!
    Страна моя! Родина!
    Добряк-паровоз!
    Квартир-экипажей и товаров обоз!
Отпихиваясь локтями, вертитесь, колеса,
Быстрей, быстрей —
И многоголосо!..
    Я чувствую
    (Нервы мои обнажены),
    Как по обнаженным, толкая меня
    В раскрытое сердце,
    Сифоном крови звеня,—
На долгое счастье нашей страны.
    Суставами строф,
    По ранту рифм,
    История гонит свой
    Локомотив...

КРЫМ

1

Кипарис — не дерево:
Человечек вдовый.
Сколько ни вымеривай
Моря,— хватит вдоволь.
Камни стали хрупкими,
Кисленьким — вино.
Ялтами, Алупками
Все заселено.

2. ЯЛТА

Божественной голубизны туманы,
С которых начинаются романы.
И Ялты вид, сознаемся, прелестен:
Открытка
　　　　　(Купорос и черепица,
Башмачный мел)
　　　　　　　　Неаполь или Дрезден —
На лаковой успели закрепиться?
Купаться и не пачкаться в рассоле.
Но морю помнить о своей буссоли,
О всех водителях,
　　　　　　　　　о всех вожатых,
Чья и в гангрене плоть не отмирала,
Которая на торсах
　　　　　　　　　(с Фиджи взятых)
Несла — фасадом!—
　　　　　　　　　звезды адмирала.

СКВОЗНЯК

То небо давит, словно нёбо,
Пересыревшим мясом вниз;
То шаркающего озноба
Вскипают шарики: очнись!
Хвоевый дождь! Перепелиной
Проветривает пылью рожь
И над мелеющей лощиной
Замлела мельничная дрожь.
Водицу молочком подкрасим:
Ми-ми, ми-ми... ми-ми-ма-я...
Муму молчит... Мычит Герасим,
В корытце мордочку суя.
Сия собачка — быстрой искрой,
Лоснясь, посверкивает шерсть —
Волнует душу: удались, кровь!
И дождику с перепелами — честь!
Муму дрожит. И все трепещет,
Всему бы солью изойти!
И табурет, и блюдце — вещи
Герасимовы — из житий!
Как быть! Как быть! Протухло вымя
И не до вишенья ему:
Давнишняя о сера⟨нрзб⟩
Легла забота⟨нрзб⟩
И как бы ангельское, вместо
Цинги набухшей синевой
Перо крутя и ⟨нрзб⟩ пестуй
Рукой заботливой его...

ПОД МИКРОСКОПОМ

1933—1934

...Не в палец толстые артерии и вены, не огромные куски мяса могут разрешить важнейшие вопросы физиологии, а волосяные сосуды, а клетчатки, волокна, их состав. Употребление микроскопа надо ввести в нравственный мир.

Искандер

МИКРОСКОП

Микроскопа пушечная проба
Преподносит и тебе микроба.
До сих пор был для тебя потерян
Этот мир, достойный мир бактерий.
До сих пор с тобою, пролетарий,
Мы ходили только в планетарий,
Толковали о движенье в небе
И почти не знали об амебе.
А теперь... Спиралешаровидных,
Палочкообразных, в разных ритмах
(Клетку с протоплазмой, что намокла,—
Студень, пена), в капле держат стекла...
Как в горячке тифа нас коробит
Спирохеты вывинченный штопор;
Как чахотка, крошевом из крошев
(Палочками Коха) огорошив,
Повела тебя; в груди — болото.
Что ж, отхаркивай его мокротой...
Это тысячные миллиметра
Ключиками отмыкают недра;
Это в шевелящейся утробе
Рушатся и нарастают дроби.
Мир животных, сладкий мир растений
И везде прекрасный жизни гений.
Между мертвой и живой природой
Есть посредник.
Тот посредник — вот он!
Все, что взято у природы мертвой,
В жилы перекачено, в аорты,
Из чего построен ствол и колос,
Яблоко, что на сук накололось,—
Фосфор, сера, соли, углероды,—
Связи и т.п. куски природы,—
Все это опять (путем распада,
Окисления) вернуть ей надо.

И, ассенизатор и могильщик,
Выползает микросущество,
Чтоб на порубе из пней прогнивших

Купоросной выпалить листвой.
И лахудра, оправляя челку,
В порах желез различает зуд,
Будто (так щекотно, через щелку)
Чьи-то губы и ее сосут...

Масло горкнет, молоко скисает,
Рот ребенка воспален от за́ед,
Плесень, ноздри, пузыри, броженье,
Чан,— и в чане наше отраженье.
(Это, если, засидевшись дома,
Сам гниешь ты, как Илья Обломов...)
Если ж ты — колхозник иль в совхозе
Поворачиваешь ярь на озимь,
Знай:
В корнях у клевера-растрепы,
Далеко внизу, живут микробы;
Копят бочки, сулеи с азотом —
Под пшеницу, овсюги с осотом...
По ярам, на речке, в огороде
Набирает силу плодородье,
Чтоб бактерия (на счастье узел
Завязав) зерном набила кузов...
Ну, а ты... ты над станком хлопочешь.
Утверждая первенство и почесть,
Для *своей* страны *свои* приборы
Точишь по железному пробору.
И уже под легкий гул и ропот
Высверлено горло микроскопа;
И уже, проворный и строптивый,
Буркалы ты пялишь объектива.
Надо рыжее пятно похерить —
Ржавчину, колонию бактерий.
Не от них ли прочность потеряла
(Качество) полоска матерьяла?
То они в кислотах и горенье
Поперечным множатся деленьем...
...Вдруг спиралью вздернут ты упругой:
А нельзя ль определить их в слуги?
А нельзя ль с круговоротом жизни
В план включить их при социализме?..
...Молнии невыжатое вымя,
Стук в окошко палки, подожка —
Чиркает прямыми и кривыми

Линиями жизнь исподтишка.
В ухо, в перепонку тараторит,
Дуло погружает прямо в лоб,
Симфонических лабораторий
Малярийный пригасив озноб...

Что перед тобою, пролетарий?
— Вставший на голову планетарий.
Формулой похож на селенита,
Достает скафандром до зенита.—
Будоражит фосфор, мозг корявый:
— Мировой овеянные славой,
Темными, незрячими, глухими
Разве можем оставаться к химии!
Разве можем мы от микроскопа
Отойти (хотя бы и на локоть)!..
Занятые мира переделкой,
За глубокой мы следим тарелкой:
Круглые и ниточные массы
Распадаются, кипя, на классы;
Есть полезные, как солнце, виды,
Есть вредители и паразиты...
Так, поблескивая узкой ложкой,
Мы следим за варевом-окрошкой.
И не так ли для своей очистки,
Каждую ощупывая дробь,
К глазу мы подносим наш марксистский,
Большевистский,
Ясный
Микроскоп?..

ЕДА

...А чтенье дам,—
Уж так и быть,— куплю я сам
«Подарок молодым хозяйкам».

К. Фофанов

Мясную кость внутри сосало тихо,
Мозги качались
Возле волдырей,
Когда (для аппетита) повариха
В котел, сквозь пар,
Пустила сельдерей.

Меняясь в образе,
Плашмя летело
Среди картошек овощное тело,
Пока,
Держась на уровне одном,
Цыбуля мутным двигалась пятном.

Под паром лист линял,
Приварок, серый
Вдоль абажура оставляя след,
Меж тем застегивал,
Стесняя сферы,
На пуговицы жира свой жилет.

В них,
Удивленные закинув брови,
Камея отразилась,
А не профиль
Кирпатой поварихи молодой,
Хлопочущей над собранной едой.

Еда
(Со слизистою оболочкой
И рот и горло ждут)
Велит присесть.
Ох, ополовник, пригоршнь-одиночка,
Не вычерпаешь сельдерея лесть!

Он туловище сгреб в кулак нарочно,
Чтоб запах влек
Волнующе и прочно;
Снадобья-корни охраняя тыл,
Он дробным кружевом в листве застыл.

Зато стоячие
(По пище твердой —
Околышем бумажным)
Кружева
Вокруг немого обежали торта:
Жевать его и не пережевать.

Разнежившийся до ногтей покойник,
В цукатах,
Не мечтает он о войнах,
И страсть его зависима от хорд,
От радиусов:
Чуть надрезан торт.
Но тает мазь.
И этот в аромате
Из носа тянет душу,
Из трубы,—
И, оборвавшись,
Падает на скатерть,
Сережкой капля с розовой губы...

К дыре во рту спешат
Не только хлебы,
Не только суп,—
Вся сущность ширпотреба,
Какую носит на ладони труд,
Какую языком и зубом трут.

Под молодой, мичуринскою пылью —
В пушке — дымятся глобусы плодов...
Дредноуты консервов...
Изобилью
В шестой
И грунт
Содействовать готов!

Ну, до чего же мы народ веселый!
Работу любим,
Любим разносолы,—

У пожилых лоснятся лоб и плешь,
И сам в мурашках жмешься,
Если ешь...

Меж тем,
Здоровье почерпнуть умея,
Обтаптывает теорем края
На кухне комсомольская камея,
Весь мир, как торт,
На секторы кроя.

Костей углы,
Сферическая овощь —
Какое разрешенье приготовишь?
Спиралью запахи бегут от блюд,—
Где центр,
В который гвоздь они вобьют?

По шляпке этот гвоздь учеба кроет
(Наука не гнушается корыт) —
Гиперболу ведет гиперболоид,
Пораболу нормаль не укорит.

И жаром вентиляторных поветрий
Колеблется
Сейсмограф геометрии...

Учитываем опыт мы всегда,—
Гони Молоховец от нас, еда!

На жизнь
Расходуем гормонов ярость,
Смерть кипятим на дне своих реторт...
Ты помер потому,
Что стал наварист,
Удобно в гроб вошел —
И чем не торт?
Отсутствием основ переконфужен,
В сорочке подаешь себя на ужин,
Но разложенье
В куприке сидит:
У червяка на мякоть аппетит...

...И за столом
Я злости не растратил:
Серьезное переслоил смешным.
Фантастом будь,
Природы надзиратель,
А не
Наседкой на софе —
Ханым!

Я ненавижу тех,
Кто распластаться
Способен
Пред слюною дегустаций,
Кто и в обжорстве держит вымпела:
Печеночка
Спала,
Жрала,
Пила...

Из лучших лучший
Клерк (противник жира),
Тонзуру сельдереем окружив,
Ты над самим собой
Иронизируй:
Живешь? — Живи.
Ого, курилка жив!..
Тут форточки в окне открылась — дверка,
Физиономия того же клерка:
В сметане — нос,
И напомажен кок.
(Он — Поль, он — де, он — Кок). Он —
Поль де Кок!

Чего скулишь,
Чего тоскуешь, сердце,
Чего презреньем ты полно
К еде,
Когда и здесь,
На клерковом примерце,
Само определяешься в среде!

1933 (1936)

МОЛОКО

Из низких обветренных сисок,
Из вымени
        В четыре фитиля
Выдавливая содержимое мисок,
Махоток
        Сопатое тянет теля.

Подшерсток у матери связан репьем,
Мамаша рогатым торчит кораблем.

Не осокорь,—
        Месяц неяркий
(Зеленый-презеленый молодик)
Роняет на тыл,
        На манатки доярки
Пучки и букеты редисок,
        Гвоздик.

Зудит и зудит комариный вожак:
Мы с вымытым выменем все на ножах.

Болтаясь пониже берцовой,
Оно — определенно велико,
Как будто не сварен,
        Не перелицован
В желудке заквашенный ком:
        В молоко.
Чабан — за курганом,
        В табун окунись:
Кобыла из ягодиц точит кумыс.
Скидай канотье
        (Городской малахай),
Степному коню-молоку помахай!..

Шамовки немало на свете
(Желудок распирают жернова),
Но в зареве пены
        (При молочной диете)
Ты сядешь за стол и начнешь пировать.

Кто манную кашу остудит небес,
Кто в блюдах молочных забудет ликбез?

На глинах запекшись оравой,
Вместилища ища у стекла
Иль на сковородке
(В сметане поплавай!),—
От жадности жидкость вконец истекла.

Кишки пересыпь,
Молока порошок
(Жир,
Сахар и соль,
Казеин),
Хорошо!..
Торжественно стол поднимается ваш
До очаровательнейших простокваш!
(Кленовый листок,
Козодой и петух,
Под струпом —
Медовая течь золотух.)

Шершавой рукой поелозив,
Бровями перекатывая шнур,
Бежал
(Ошарашенный слизью молозив).
Папаша,
Дотла облысевший амур.

Но самую сладкую соль молока
Достал я, живые помяв облака!

Я в сахаре,
В жире,
И в сыре,—
У матери
(Натачивая зуб)
Учился вбирать содержимое гири,
Отверстия взвешивать мисок и ступ.
Барахтаясь в сусле,
Хватаясь за плот —
За вымя,
Науки откушивал плод.

Не су́ки ли соком молочным
Щенячьи проясняются глаза,
В то время как сливки
(Дыханием прочным
Давя)
До оскомины доводит гроза?..

Судьба-дереза топотит чрез мосток,—
Прощай,
Мой кленовый, мой клейкий листок!

Пусть вес годового удоя
Окажется вдруг более раз в пять
Коровы самой;
Пусть явленье простое —
Кормящая грудью ребенка есть мать...
Пусть столько очищенных лун пронеслось
Над тем,
Кто когда-то был молокосос...

Молочные братья,
Волчицей
Мы вскормлены под пушек арарат.
Она (революция!)
Тянет учиться,
Где домны веселой махоткой горят.

Чугун закипает,
В нем — сахар и соль,
Жиры проворачивают колесо,
Чтоб стол под едой зашатался,
Чтоб наш —
Лелеял не крем,
А кремли простокваш!
Коровы,
Сквозь грохот порожних посуд,
Дают, отливают,
Что́ днем припасут.

Под вытекший яд беладонны
(От окиси свободен молодик)
Молочнотоварная ферма бидоны
За нужные уши несет на ледник.

И без сепаратора снимешь вершок,
А поголубевшее —
После в горшок...

Потомство козла и барана
(Улиткой, на себя, накручен рог)
Щепотку полыни
(Хватив из Ирана)
Попутно
Подмешивает в творог.

Тужея в рассоле,
Круглы и сыры,
За спутником спутник —
Восходят сыры.

И сбить отложения жира
Торопится лопаты шестерня,
Чтоб в капле яичной
(Из сонного мира)
Модель
(Как в зрачке)
Опрокинулась дня.
...Тобой и от недуга лечим.
Бывает, шибанет такой-сякой
Болячкой,—
Ослаб, и не дышится (нечем),—
За шприц: набирают в него молоко.

Пот сывороткой выступает на лбу:
Заканчивают фагоциты борьбу.

...В лугах,
Раздобрев от нагула,
Коровы исключительно туги,
А пчелы — зобаты,
С добычей — сутулы:
Корзины на лапках скрипят от перги.

Ты слышишь?
Ты слышишь, склонившись виском,
Как утро теснится
Под левым соском?

Как,
    Бредом и потом вконец потрясен,
По нитке
        В паучий
                Спускаешься сон?..

Мне некуда, некуда деться
От бурно закипающей груди —
Секрета и власти молочного детства,
Рецептами машущего:
                Погоди!

1933

ПУГОВИЦА

Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
За ручку брала.

В автобусе (с повадками водолаза),
Под ерзанье конечностей — рук и ног,
Две пуговицы, два животные глаза,
Выхватывают улицу через окно.

Нашитые сиренью, повремените
Сиять своей поверхностью золотой:
То солнце — магнитом! — ворсу в галалите
Собрало, подпалив, со всего пальто.

Нашитые, как трефы, вы все до точки
(...Иголка, цыганка — сухая ладонь...)
Узнали-разузнали,— еще в обточке,
Когда вас резало сталью молодой.

Потряхивая шлифовкой в барабанах,
Лицо под пипетку поднося сверла,
Вы помните
И крючки на сарафанах,
И пуговицу с барельефом орла!

Как в петлю пер засаленный, кожаный кузик,
Мореную спину ровнял боровик,—
Подковой ходили по жизни-обузе
Молодки
Средь усатых городовых.

Как барыня до обедни снаряжалась,—
Нетронутая висела борода
У кучера (по брюхо),
Сбруя качалась,
В бомбошках-пуговках
Булькала вода...

И как николаевское шло веселье,—
Кабак, визжа, путал тесьмы вороха,
Срамные настежь распахивались щели,
Ширинка вываливала потроха...

Ах, все это блудом истории стало!
Иголка легла на другую ладонь...
Цыганка, ты нашла в корнях пьедестала
Потерянный пуговичный медальон?..

Крученым дротом,
                    Просмоленною ниткой
Вас к вороту пришило,
                    К нашей душе.
И с мясом не сорвать
                    С экипажа «Литке»:
Нет пуговиц на севере — хорошей.

В рубахе колхозника
                    Трепещет ветер,
Рядок перламутровый
                    На совесть чист.
И ты, рабфаковец,

                    Вставляя рейсфедер,
Над циркулем пуговицами лучись.

Набором бегут они
                    Меж голенастых,
На смену спешащих —
                    «Всегда готов!»
Держите, держите
                    Треугольный галстук:
В нем — порох,
                    Он — памятка наших годов!

Еще мешковатые носим костюмы,
Но правильно пуговиц вытянут ствол.
И я на него — веселый, неугрюмый —
Фасольною попал:
                    За свое родство.

Я знаю, дисциплиной страна прорыта.
Богатства на ощупь она тормошит.

И в нашу основу,
Кроме галалита,
Кладет она
Лавровишню и самшит.
Нас режут,
Шлифуют,
Давят нас под прессом,
Чтоб (после нагрева)
Блестел кругозор,—
И мы на себя же
Глядим с интересом:
А пуговица-то вышла
Первый сорт...

На штатском пальто
Она влезла в автобус
(Машина, коробясь, трясет по Москве),—
Для глаз ее животных
Окно есть пропасть:
Не оступиться б в этот вот сквер...

Иголкой-искрой посверкивает ворса:
В жар-птицыно
Превращается перо.
Как вдруг чердак
В пуговичные уперся
Бока,—
Шарахается шахта метро.

И все — круть-верть, головастиками
Карих
Извилин мозга:
Флюидов кутерьма.
В осях накатывается голый шарик,
Подшипник
И нам подбавляет ума.

По шахматам брусчатки
Мы вдоль строительства —
Несемся — играй, выхлопная труба!
Крючки и тесемочки,
Посторонитесь:
Советских пуговиц летят короба!

Осесть им на футболе,
                                        На бегах, в тире,
За шахматами...
                              Автобус присмирел:
— Бакунинская, д. 74...—
Сойдем.
              Сторожа у фабричных дверей.

Зайдемте на фабрику,
                                     Где нас готовят.
Посмотрим, как в труде человек ревнив,
Как автоматы
                            посасывают провод,
Как всплескивают ладонями
                                              Ремни.

Посмотрим — и убедимся:
                                         все в порядке:
Прорыв очнулся —
                                  Рабочий поднажал...
На пуговицу
                           (Такие уж порядки) —
Грибной, фасольный,
                                   Меченый урожай.
В лубки и решета
                                  Ссыпается плоский
Трескучий продукт
                                  С проколотым ушком;
В нем даже лавровишневые полоски,
Самшита жилы —
                                Приплюснуты кружком.
Чудесна метаморфоза подогрева:
Утюг,
     А круглое веко не болит...

...Очами поводим
                                  Из мозга, из древа,
Обшариваем мир
                                И через галалит.

На ворсе серьезная виснет икринка,
Но правильно пуговиц вытянут ствол.
И я — на нем, меченный кровинкой
Иголкой-эпохой — за свое родство!

МАЛЯРИЯ

(Вступление в поэму)

Голыми руками теперь не возьмете
(Неосведомленного прежде) меня.
Знаю: малярию разносит плазмодий,
Ножками анофелеса семеня.

Тянется по плазме амеба безглазый.
Но само движение — только предлог:
На эритроцит нападает, зараза!
Там — гемоглобин,
Там — железо, белок...

Более существенного и не надо:
Шарик — и уже здесь не клетка, а клеть.
В яме комариха
(...Яиц канонада...)
Кровью наливается:
Семя прогреть.

Что же, размноженье обложено кровью.
Пористый рассыплется эритроцит,
Тотчас вертикальную тушу под бровью
(Это о себе я) —
В озноб:
Пусть дрожит.

Что же, амебоид — он дал поколенье
(Все четыре возраста им пройдены);
Кроме того, в плазму продукт выделенья —
Меланина вывалены валуны.

Градусник ползет фитилем из-под мышек,
Жар...
Но вытрезвляются яды в поту.
Докторша
(Блюститель домов и домишек)
В хину подбавляет годов кислоту.

Кольцами Сатурна восходит плазмодий:
Видоизменяется сей паразит.
Если селезенку больного возьмете,—
Исподволь серея,
Сырая висит.

До пупа ее (селезенку) раздули
Половые формы плазмодия. Их
Выпустил анофелес (встав на ходули,
Челюсти раззявив) из желез слюнных...

Что же, таким образом на два он дома,
Весь в метаморфозах,
Безглазый живет:
В брюхе и слюне комарихи-фантома,
В организме жителя, скажем, болот.

Что же, размноженье обложено кровью.
Кровь...
Как подступает она из глубин!
Кровь!
Не только нашему, значит, здоровью
Помогает розовый гемоглобин?..

— Я не за дележ! — крикуном безбородым
Вскакиваю разом:—
Инфекцию крой!
Разве в СССР не кипит кислородом
Юношеская,
Прирожденная кровь?

Разве мы поступимся
Даже и каплей
Этого чудеснейшего вещества!
Может ли так статься,
Чтоб руки одрябли,
Чтоб перекувыркнулась вдруг голова?..

На!
Парижской зеленью с аэроплана,
Пеленою нефти
Осядь на икре
(Волосяной сечке),
Где яма-поляна,
Где что ни комар, парикмахер в игре.

А, и ты, гамбузия, страшная рыба,
Ротиком считаешь личинок ноли?..
Конечно с анафелесом.
Из утробы
Грифельный бы выскресть теперь меланин.

Горькими цветами до неба, до неба
Бахвалится хинное дерево.
Врача
Примешь угощенье-облатку, амеба,—
В плазме захлебнешься, ядро волоча!

Все твои названия, все твои формы
(Как трубу Евстахиеву ни сверли,
Доктор-тонконожка, латынью упорно) —
Мы на человеческий перевели.

От болот Понтийских до Тмутаракани
Тенью комариной,
Планетой планет —
Маятник раскачала ты,
Пока не
(Схваченный рукою) сошел он на нет...

И ничего странного в этом не видно:
Кровь,—
Она гремит в барабанах ребят,
Пущены машины,
Гребут и хрипят,
Вспорото болото, сидевшее сиднем,—
Вот он поднимается:
Сталинабад!..

— Здравствуйте, товарищ.
— Привет.—
(Поздоровались.
Легкими нам кажутся наши тела.)
Марля на окне.
— Малярия? —
— Анофелес...
Чаю не хотите ль?
— Сначала — дела...—
Вечер.
Собеседник глядит на меня.
Хронометр потрескивает, семеня.

НА ТВЕРСКОМ

(Из цикла «Цыгане»)

Плечиками поводя
(Пятое, через десятое!),
Кругом топчется дитя,
Неумытое,
            Косматое.

Гам и треск на весь бульвар:
С ворожбою липнут матери...

Шире этих шаровар
Не отыщешь и в театре!

Это — сизый великан,
В картузе,
            С губатой трубкою —
Главный в таборе цыган.
(Над ноздрями — шрам зарубкою.)

Важно он идет средь нас,
В сутолоке исчезающих.
Жбан его,
            Луженый таз,
На цепочке водит зайчика...

Никому и невдомек,
Что подкова не наварена,
Лошадь продана-подарена,
Что пускает он дымок
Не в кибитке —
                        В Роще Марьиной...

А давно ль скрипела степь
Под высокими колесами,
За вертепом
            Шел вертеп
С ведьмами простоволосыми;

Жаркая горела медь
В куче алого, зеленого;

Бубен бил,
Ревел ведмедь,—
Выло племя фараонов?

Не вчера ль,
Устав ковать,
Водки выхлестав полчайника,
Он валился на кровать
(С не своею жировать)
На правах родоначальника?

И не в таборе ль, скажи,
Вынули из петли ангела —
Внучку, из тугой вожжи?..

Вот как ты вершил цыган дела!

А теперь, отец, идешь
Важно,
Бормоча про старое...

...Только, нет уж, молодежь
Не приворожить гитарою;

Тем, что льнет
К серьге серьга,
Песня — к пляске, к шубке беличьей;
Легким лаком козырька,—
Жениховской разной мелочью...

Столько всюду перемен,
Столько скрытного,
Мудреного...
В доме с башенкой —
Ромэн
Ставит «Пламя фараоново».

Кто, как не цыган,
Поет
Песню новую на фабрике?
В вузе химию сдает
Не кочевник ли из Африки?

Чей, как не цыганки,
                    Труд
Вывел и ее в товарищи?..

...Что ж египтяне орут,
Жбан
    (Котел кипящих руд)
Пронося чрез весь бульварище?..

Это —
    Уходящий век
Перед Александром Пушкиным
В безразличьи томных век
Дергает плечом старушкиным.

САДОВОД

*Мы не можем ждать милостей
от природы: взять их у нее —
наша задача.*

И. Мичурин

Клевер, гречку —
Га за га (гектаром) —
Переворошила в прах пчела.
Что пчела! Питая страсть к нектарам,
Я — в пыльце: поэзия б жила.

То на рыльце (где в основе завязь)
Сыплется с тычинок пыль, труха,
Чтобы плод,
Размерами прославясь,
Загрузил корзины доверха.

Перхоть, клей, подрагиванье, тренье,
На губах — любовь: не продохнешь!
В суматохе зреет подозренье:
Приготовь для кесарева нож...

Только бы в саду не растеряться:
По деревьям — свальный грех, содом...
Лестница,—
И жарко от кастраций...
Марлевый сачок повис потом.

(Как у нас лущили, холостили,
В балке поднимали на попье.
И клещи мошонку защемили.
Плавает яичников тряпье.
Как у нас, без всяких фанаберий
Переделывают ямб, хорей.
Интонационный стих оперил
Мысли, чтобы ритм не захирел.)

Под сачком пиликает о вкусе
Желатин, агар-агар плода...

Лебеди мои, вопросы-гуси,
Да кого ж вы занесли сюда?

Доброе лицо, и глаз прищурен.
Он его нашел: средь молодых —
Старика! Голубовато-черен
(То — Мичурин) кондора кадык.

Не обмолвится пустяшным словом,
Затвердил: на север, не на юг.

В садике, в садочке под Козловом
(Сотни га) кадык стучит в гаю:

— Вмешивайтесь, ничему не верьте:
Никакой цидульке, ни письму.
Ненаписанный ярлык в конверте,
Чтобы вы сказали:
— Сам возьму!
— Подходите к вишне,
                                К тыкве,
                                          К груше,
Косточку кладите на зубок,—
И глазами
              Ваши станут уши,
Семя
      Мяса развернет клубок.

— Собранной пыльцой пальните:
                                            Скрылся
В облаке — и выбежал гибрид!
(Черенка искусственная гильза
Синей почкой еще дымит...)

В молодости время монотонно
Пело мне,—
                Я молод лишь теперь.
Как войти мне
                  С именем Антона
В сад,
       Без ощутительных потерь?

Если исполняются хотенья,
Не Антон пусть явится,—
                                        Ньютон;
Пусть закон земного тяготенья
Нашим яблоком проверит он.

Я прошу:
                Средь пасмурного дыма
Веток и пыльцы (с весною стык),
Мудрый садовод,
                                Неукротимый
Обуздай наукою мой стих!

БУХГАЛТЕР

Мне хина заложила оба уха,
Навстречу мне, разгорячен и сед,
Встает из-за разбухшего гроссбуха
Бухгалтер, сумасброд и домосед.

Приподымаясь, раздувает шею.
Обсерваторией — очки и нос.
...Я чувствую: мельчаю, хорошею,
Я — мальчик!
Начинается гипноз...

Как ночи воробьиные, чернила
Вдруг вспыхивают за стеклом: предмет,
Который тьма нарочно подсинила,
Чтоб глаз Анютин свеж был и для смет.

Я — мальчик.
Губы раздирает за́еда.
От арифметики (заика) хвор.
Я гусеницам подбиваю сальдо
(Они с листвой проглатывают хлор).

...Тут Дон Кихот, на рысаке, во двор.
Вот кто бухгалтер!
К стремени:— останься.
Я — Санчо Панса твой, я — счетовод.
Но растопырив ноги (для баланса)
На все четыре:
                    Подпереть живот.

Морщинистый и долгошеий лебедь —
Выкатывает Дон Кихот кадык:
Неиссякаем благородства дебит:
Копье пером должно разить владык.

...Я выпростался, я подрос.
Я — юноша.
Зря времени, советую, не трать,

Пока пленен
                    Любовью-опекуншей,
И разбухает с лирикой тетрадь.

Чернильные поблескивают птицы
В очках,
            В обсерватории — везде.
(Бухгалтер не годится
                                Для петиций,
Для попрошайничества при звезде.)

Гремуча молодости атмосфера:
Фурункул семенем набит до дна.
Стихам и у бродяги Агасфера
Открыт кредит.
Но молодость трудна.

Я недоволен.
Чернильницу нервно
Швыряю на пол: тусклый инвентарь.
Географической рекою, деревом
Безлистным, молния, ответь, ударь!

Мне не чернилом,— кровью из артерий
Писать стихи, как на себя донос!
В мазнице — мед, трава трещит в пихтере:
Дорога!
(Продолжается гипноз...)

...Чуть ночь — по воробьям палят из пушек:
Фотографирует артеллерист —
Окопы; мокрые вихры избушек;
Изрешеченный гусеницей лист;

Кишки и печень, взятые из таза —
Через живот, распахнутый впродоль
(...Владельцы их, чернея от экстаза,
Жуют усы, мотают бородой...),—

Воюющих солдат, где каждый вымок
В синильной ненависти к господам...
Бухгалтерский (где только цифры) снимок,—
Поэзия, в альбом я не отдам.

Не юноша я больше:
Я — мужчина.
Сознанье, как шкатулку отперев,
Я понял: следствие есть и причина —
Семян молниеносных и дерев.

Мне революция из революций
(«Война войне!») гранатой тычет в нос.
Мужчина я.
Нули не оторвутся
От единиц, рассеявших гипноз!..

...Где Росинант?
Надежная пехота
Свой закрепила шаг.
В дому — бюджет...

Бухгалтер!
Что в тебе от Дон Кихота,
От Агасфера, старца без манжет?

Уж не лазурый светит взор, а карий.
Уж подбородок, как яйцо, обрит.
Ты — человек из наших канцелярий,
А не гротеск, фантазии гибрид.

Чернильная душа, я инженером
Стал человеческих (писатель) душ.
Мне приглядеться бы к твоим манерам,
Чтоб на тебя пошла не только тушь.

Чтоб, не теряя дорогой минуты
(Вернулась ясность к мыслям и ушам),
За чаем у жены твоей Анюты
Беседовать о жизни по душам.

Ты говоришь, очки блестят в задоре,
Что взят баланс, произведен учет,
Каких еще нам там обсерваторий,
Коль в смету лег фундаментом учет!

Век-фейерверк... осмысленное семя
Из каждой цифры рвется (волей воль),—

Действительность! Она растет со всеми,
Как дерево — над каждою графой.

...Так, хорошея (И без оперенья)
За чашкой чая с блюдечком варенья,
Преодолев лирический испуг,
Читай, бухгалтер, вслух стихотворенья
Из книги, называемой Гроссбух.

СЕРДЦЕ

Такая была у цикады наружность,
Наждачный напильник мне так надоел,
Что сердце повисло Америкой Южной
На вырванной с корнем аорте моей.
Когда же сквозняк повернул насекомых
На запах корицы и прочих приправ,—
Слюнявые пасти цветов незнакомых
Качнулись, рябые, на кончиках трав.
Лоснясь (от руля до грудинки, до ребер),
В перо по стволу подливая фуксин,
Прошелся по клумбе петух-кандибобер —
Со шпорой, придатком густых мокасин,
И клумба (вся в мухах, в медовой подливе)
Колумбией, Андами вдруг разлеглась...
Спасения нет от Перу, от Боливий,
От выпуклых, от фиолетовых глаз!
Муку собирает в похожих на дыню
Плодах (для амбара-дупла) баобаб.
Вы только представьте: Альфонс в Аргентине
Под ним восседает средь крашеных баб...
Но в Южной Америке сроду я не был.
Какие (узнать бы) там бьют сквозняки,
Какой кандибобер, наемник, фельдфебель
Там оберегает повес пикники?
А этот, что в шляпе, (смотрите!) с наганом
Ныряет в лачуги, где дети галдят:
Индейскую кровь отпускать чистоганом,
На фронт завозя ее в теле солдат.
Боливия и Парагвай... Нефтяная
Война: ожиревшая дочерна кровь.
Уже у индейца наружность иная:
И Пятница, верно, бывает суров...
Огонь у цикады он занял (у певчей),
До боли начистил свой нож наждаком:
Чтоб все поумнели. Чтоб не было неучей
И средь свинопасов в несчастьи таком!..
Смотрите, что делается на кофейной
Плантации: рубят и жгут деревца...
...Подбавь-ка гвоздики в кастрюлю с глинтвейном:

Сегодня я Пятницу жду у крыльца.
Он входит, рябой от полуденных пятен,
Глядит: на веранде — его Робинзон!
(Скажу о себе, не боясь отсебятин:
Одна из зажиточных наших персон.)
Я гостя усаживаю за недлинный —
Под гладкой, каленою скатертью — стол.
(Таким не побрезговал бы и Калинин:
Мы тоже наждачной горим чистотой...)
Аорта моя — Амазонка в сердитом,
Лавровом, насекомоядном бору.
(Не справиться, видно, мне с миокардитом,
Зажавшим большой материк в кобуру...)
Но Пятница, друг мой с гортанным наречьем,
За тропики ребер залазит в меня,
Меня обдувает теплом человечьим,
Как самая близкая в мире родня.
Я вижу: на даче — балконный порядок:
Игрушки балясин, колонн балаган.
Глинтвейн... (Он пылает, он шумен, он сладок.)
Столкнем же, мой друг, со стаканом стакан!
Мы все — патриоты. На родине родин
Никто с нелюбовью, с нуждой не знаком.
(...Цикаду в ботве, в суете огородин,
Легонько повертывает сквозняком...)
Мы все — патриоты. Куриных и глупых
Не строим лачуг: Архитектор, дворцы!
Мы толк понимаем в хлебах, в канталупах
И в сотах, похожих к зиме на торцы.
Поднимем же чаши под звон неподдельный —
Мы (бывшие Пятница и Робинзон,
Потом партизаны) на даче в Удельной,
Где климат — и тот новизною пронзен!

ВОСПОМИНАНИЕ О СОЧИ-МАЦЕСТЕ

1. АРАХИС

Орехом земляным усатый
Торгует с рундука суфлер.
(Его обветрили пассаты
Дубильной кислотою флор.)

И мне, и в мой карман подсыпьте
Побольше зерен-стариков,
Чтоб вспомнил я об эвкалипте,
Бесстрастнейшем из голяков.

Как вспомню сочинские ночи,—
Вспорхнет со спички голова,
Но насекомое короче
Не станет:
                    Фосфор, трынь-трава...

Как вспомню торс, подобный скрипке,
Смолу на пальцах, канифоль...
Ревекка-муза!
                    Дай мне штрипки,
За выслугою лет уволь.

Раскрытым шкандыбая пляжем
(В лодыжку щелкает песок),
У мокрой кромки рядом ляжем —
Пред раковиной из досок...

Малюсенький, серобородый
Раскроется бобовый дед

(Он блекл от сероводорода,
На нем башлык углом надет).

Но тут пошли в бурун колеса
Авто.
  — Мацеста, ванна —
Стой.
Я в орденах фурункулеза,
Торжественный сажусь в настой.

На волоске груди пузырясь,
Дрожит подземное ситро.
Что за предательская сырость?
В ней цвелью подтекло ведро.

Песочная мелькает скорость,—
Я выхожу; я обожжен.
Я под пижамой хорохорюсь,
Средь маленьких восточных жен...

Ревекка-муза!
    Хоть словечко
Шепни, наушничая, мне,—
Про талисман, про человечка,
Тайком живущего в зерне...

Пассатом дует он на форум,
На эвкалипт, рундук под ним,—
Нырнув в башлык, сидит суфлером,
Шуршит орехом земляным...

Термометр (вроде карамели)
Он превращает вдруг в часы,—
Песок минуты-пустомели
Ему же сыплют на усы.

И ночью,
С призрачною лампой
(С пульсирующим светляком),
Не он ли к парочке сомнамбул
Подсаживается тайком?..

Любовь чернеет от историй
(Мацеста... ванна... серебро...),—
И все ж орешек в санаторий
Приносит лишь одно добро.

Скрипучий гриф в погибель согнут:
Заела канифоль смычок...
Конечно, музу средь инкогнит
На пляже
Сыщет старичок.

Мне рано думать об отставке...
Нет, нет,— Ревекка не права:
Купальской ночью
В лютой давке
Летят и светятся слова.

И в каждом — только половина,
Чего так требует отбор,
И каждое — ко мне с повинной,
Как я к Мацесте —
До сих пор...

2. КАПИТАН ВОРОНИХИН

Столб телеграфа к югу направился,
Ласточка во фраке — нотой косой.
В бемолях Шопена,
в диезах Штрауса
Танцует на поверхности лодка-фасоль.

А слева, под лесом
(Откуда вылазки
Горцы на банды в девятнадцатом вели),
Семью крейсерами вырос Ворошиловский[1],
Башнями причалили эти корабли.

Пальмам букетами качаться нравится,
По самую макушку расчесан фонтан,—
И лестницу (к приему) выскребла здравница:
Милости просим, товарищ капитан.

Жуков, растревожив в пернатом шиповнике,
По гальке, по плитам
(Наверх и вниз)
Вот они ходят —
Майоры, полковники,—
Зажги папиросу, струей затянись.

Только в столовой,
В условиях пленума,
И сохранен (на калории) ранг.
Обуглено сердце солдата рентгенами,
Разрознены темные кости фаланг.

То — снимок. А солнце прыскает спицею,
Воду из ванны нарезом вертит...
(Благоприятные имеет ауспиции
Добытый в гражданскую миокардит.)

Лежа в соломенном,
Воздух просоленный
Запихивай поглубже, товарищ капитан!
Лодка в купоросе ездит фасолиной,
Пальма волосата,
И букетом фонтан.

---

[1] Центральный санаторий РККА им. Ворошилова. *(Примеч. В. Нарбута.)*

Снова (как некогда) венами полыми
Мужество и нежность к тебе идут,—
И всадник,
Конвоируемый бемолями,
Проскакивает через шопеновский этюд.

Сабля по желобу стлалась без памяти:
С каменными лицами, врага
(Чтоб не лез)
Китайской — до Чаквы — учили грамоте,
Рубясь за советский чайный диез.

Под музыку море выгладило заново.
Оба композитора бродят по пятам.
Домашнее сердце твое партизаново
Радуется людям, товарищ капитан.

Радуется людям, сидящим под башнею...

О чем разговорились полковник и майор?
В штабах ночевки,
Бой врукопашную,
Ночи в академии —
Вспомнили вдвоем?

Или в шиповнике
(Лапами пушистыми
Карабкаясь)
Прополз перед ними жук,
Похожий на танк, сделанный фашистами,
Пышуший серой, размером в Машук?..

(В мире рентгена — видение-гипербола.)

Но мужества в тебе —
Кровяной фонтан,

Но нежность к родине
                                        Себя не исчерпала,
Товарищ Воронихин, товарищ капитан!

Война, перелет...
                                    Пунктиром натыкано
Нот на проволоке (чересчур прямой).
Штраус и Шопен берегут Воронихина:
Штык-диез и сабля-бемоль.

Война, а на сердце капитана — Ворошиловский:
Мамина забота,
                               Встречи с восьми...

Родина-ласточка, косые крылышки,
С кровью и мясом и меня возьми!

1936

БАБЬЕ ЛЕТО

Поникшая (...Sic transit...)[1]
На стекло
Брюшком дыханье муха распылила,
Хоть с ножницами,
Решетом,
Иглой
И возится садовница-Далила.
«И мы — грибы...» — опенки возле пня.
— Вас в маринад? — услужлив подбородок.
Шалаш.
Нахлюпано.
Гремит ступня
Среди листов и плах,
Бочонков, лодок.
Сквозняк на хворост прознобил стога.
Арапка-яблоко —
Шары крокета.
Ах, в августе
Как выпорхнет дуга,
Как выстрелит (не выдержав):
Ракета!
Под ней
(Там в бульбушках был вознесен
В седьмое небо ананас колхоза)
Далилу с агрономом
(...Звать Самсон...)
Столкнула тема:
Солод и глюкоза.
С капсюлей захватить,
По волоску
Разнять,
Чтоб искрами не уносилось
Добро,
А шло:
Бурак — в цилиндр: к песку;
Ботва, чубы — в бурду, лапшу:
На силос!..
Струна, пылая, плавится в длину.

[1] Так проходит... *(лат.)*

(Ну, где еще рапсодии такие?)
— Полезно бабье лето, как взгляну,—
Самсон альтом Далиле
(Евдокии?).
У барбариса — не бордюр:
Нагар.
«Уже?» — в корыто глазенапом теги.
...Судейской мантиею
Труакар
Далилу обступил в кромешной неге.
Но у нее
(И только ль у одной?),
При шапочке,—
Не табель преступлений,
Не ножницы, не кара в выходной[1],—
А сахар уст,
В пупырышках колени...
— Мой тезка был острижен, ослеплен.
Мой тезка просит:
Силу возвратите,—
И в мир я выйду
В грохоте колонн,
Взвалив на плечи
По кариатиде! —
Так говорит Авдотье агроном.
(...Мечтатель. Более того: вития...)
А девушка:
Пойдемте игранем
В крокет.
Шары, как яблоки, литые.—
В недоуменьи шар:
Пройду в дугу?
(Он в тире был,
Он выстрелом задымлен.)
...Молчит Самсон.
Далила ни гугу.
Нигде, нигде не слышно филистимлян!
И снова — солод: ночь.
Опять высок —
Взрыв ананаса:
Вытекла глюкоза.
Нет, ни один не рухнет волосок
С него, безусого,
С нее, бескосой!..

[1] Конечно: день. *(Примеч. В. Нарбута.)*

Все радуется первенцем твоим,
Любовь!
Ты — тега,
Ты толкаешь клювом...
Мы в стратосфере
Головой стоим,
И, как никто,
Мы землю н а ш у любим...

ПИСЬМА К С. Г. НАРБУТ

1

г. Владивосток 29/IX — 1973 [1]

Дорогая, родная моя Мусенька.

Наконец-то я могу послать тебе настоящее (1-ое) письмо! Я так рад, что и не поверишь этому, маленькая!.. Из моей телеграммы (от 29/IX с. г.) ты уже знаешь, что я сейчас во Владивостоке. Здесь — временно,— дальше, по-видимому, морем в Колыму (бухта Нагаево). Оттуда, из главного города лагеря — Магадана — я сообщу, надеюсь, уже точный адрес свой. В телеграмме я просил тебя прислать мне немного денег (до 50 руб.),— на дополнительную еду и прочее. Но самое главное впереди: я очень попрошу тебя, Мусенька, соорудить мне возможно скорее посылку (одну или две) на место моего постоянного пребывания, т. е. когда я туда уже приеду. В посылке нужно предусмотреть как некоторую необходимую одежду (предполагаю: тулуп, шапку, галоши, две верхних рубашки, вроде той, какую я получил от тебя, несколько пар носков, полотенцев, носовых платков. Белье здесь дают: рубахи и кальсоны. С постельным бельем как будто тоже все в порядке — впрочем, об этом напишу по приезде на место), так и то, что нужно здесь из еды. Это, прежде всего, всякие так называемые концентраты: лимонный сок, сухие кисели (порошок) и т. п., напр., кубики с сухим бульоном «Магги». Затем — сухой компот, сахар и т. п. Кишмиш. Жиры: свиное сало (нарежь, Мусенька, его тоненько), гусиный жир, словом, все, что не испортится в пути. Концентраты можно покупать, кажется, и в аптеке,— они есть средство против цинги. Об остальном (напр., о лекарств.) думай сама, мордочка моя дорогая. Имей в виду, что пересылка туда (в Колыму) стоит очень дорого: кажется, 3 р. 50 к. за килограмм. Знай также и другое: навигация закрывается что-то в начале декабря, и 4 мес. сообщения для посылок, как говорят, нет. Узнай, пожалуйста, об этом всем сама. Может, есть сообщение по авио? Учти также время пути, его длительность. Короче: подумай обо всем сама, Мусенька,— ты у

---

[1] Это описка Нарбута. 1937.

меня ведь умненькая. Если бы ты только знала, как мне недостает тебя! Часто — и день и ночь — я думаю только о тебе,— и прежде всего о том, какое несчастье я принес в жизни тебе. Не осуждай меня, маленький мой мальчик; ты же знаешь все и веришь мне,— я уверен в этом непоколебимо. Посланное мне испытание переношу твердо, героически,— буду работать, как лев. Я докажу, что я не контрреволюционер, никогда им не был и не буду — ни при каких обстоятельствах. Жду от тебя жадно всяких вестей,— прежде всего о твоем здоровьи. Береги себя, родненькая,— умоляю как могу. Смотри за собой — как бы я был возле тебя. Помни обо мне, мама! Я тебя *никогда* не забуду. Твой навеки — Володя.

2

г. Владивосток 29/X — 37г.

Дорогая моя мордочка!

Ты не представляешь, вероятно, себе — какая это радость получать вести от тебя! Сегодня пришла уже 4-я телеграмма, а ведь впереди еще 2 спешных письма и 3 посылки! Целый, без преувеличения, Крезов музей, рай для меня! Я — бодр и здоров теперь, благодаря всему этому, как никогда. Ей-ей же, Мусенька моя родненькая! Я хочу знать подробности — какие только возможно — о тебе, о твоем здоровье, самочувствии, житье-бытье. Подумать лишь: пошел уже 13-й месяц, как мы не виделись,— целая вечность! И все же я неизменно, как и ты, верю в нашу счастливую звезду, в лучшее будущее... Маленькая моя, прошу тебя еще раз — как могу заклинаю всем дорогим на свете: смотри за собою, помни, что я всегда с тобою, при тебе. Здоровье, здоровье, здоровье и — все приложится к нему, как нельзя лучше. Не правда ли, родненькая? Со своей стороны я обещаю тебе — смотреть за собою. Тут — пока в общем сносная осень; иногда, в полдень припекает почти как в Крыму (без шуток); на первых порах я даже подзагорел. У меня чуть-чуть пошаливает сердце,— впрочем, не сильно... Московский этап, с которым я прибыл сюда больше месяца назад, неделю как отплыл в бухту Нагаево (Колыма). Я пока оставлен здесь,— проведу тут, по-видимому, и праздники. Если будешь, мамочка моя нежная, посылать что либо (письма, посылки), старайся давать срочное направление (спешное). Тут каждый день может быть важен, поскольку я живу в бараке на Транзитной командировке

СВИТЛАГ'а. Присланных тобой денег мне все еще не выдали (кстати, говорят, в месяц выдают лишь по 50 рублей),— перебиваюсь «с хлеба на квас» в смысле закупок в циркулирующей иногда лавочке. Да это и не важно,— деньги нужны лишь на бумагу, карандаш, конверты, бритье, белье, телеграммы... Посылки — самое главное (не считая, конечно, писем). И — что приятнее всего — что это все от моего дорогого, маленького мальчика!.. Я тебе бесконечно благодарен, Мусенька! Без тебя мне не стоило бы и жить... Посылаю тебе, на всякий случай, 2 доверенности: на получения из ГУГБ'а моего литературного архива (если тебе еще не отдали его, как дважды обещали мне). И второе — относительно квартиры. Разбирайся в обоих этих вопросах, родненькая, сама: тебе виднее, ты — в курсе дела. Используй эти доверенности, когда найдешь нужным. Моим первым следователем был известный тебе старший лейтенант Н. X. Шиваров (из 6-го отделения 4-го отдела), его заменил позже ст. лейтенант Ильюшин, он и заканчивал следствие по моему делу. Другим следователем (из 3-го отделения 4-го отдела) был также известный тебе лейтенант А-др Станисл. Красовский. Они-то оба и говорили мне, что мой литературный архив будет мне возвращен. Сдержали ли они свое слово?.. В следующем письме я пошлю тебе доверенность на дополучение остатка гонорара в «Сов. Писателе» за мою невышедшую книжку стихов (не вышедшую не по моей вине). Есть ли у тебя договор на этот сборник,— там был проставлен 8-ми месячный срок для издания рукописи? А издательство его, этот срок, просрочило... Посоветуйся, с кем надо, может, тебе и удастся, при чужой помощи, получить остаток гонорара (1500—2000 рубл.)... Вот и вся моя деловая сторона, Мусенька. Самое же дорогое сейчас — да и впредь будет!— для меня: это вести от тебя. Они буквально окрыляют, преображают меня! Я забываю тогда про все на свете... Как живут: Севочка, Леля, Игоренок, Софья Николаевна, Юрий Карлович? Что нового у вас там, в Московских палестинах? Наверно, у вас уже глубокая осень, слякоть? (Смотри, мордочка, за собою!) Праздник 20-летия на носу... Пиши мне, Мусенька, как можно чаще, радуй меня, голубчик мой дорогой! В случае отъезда буду телеграфировать. Не знаю, как быть с теплой одеждой и брюками (они разлезлись вконец),— особенно нужно теплое белье. Но сейчас, прошу тебя, не думай об этом, так как я еще не знаю — где окажусь. К тюремному житью-бытью применимо в пище и одежде одно: поскромнее, покрепче, потеплее, посытнее, подешевле... Маленький мой, сероглазый. Крепко, крепко тебя

обнимаю и целую, как могу, сильно. Всем горячий привет. Твой мама.

3

27/XI — 37 г. *г. Магадан (Дальстрой).*

Здравствуй, здравствуй, родненькая моя девочка! Только что (25/XI), после 8-ми дневного морского плавания по Японскому и Охотскому морю,— плавания, перенесенного мной в общем благополучно, даже хорошо — прибыл я наконец в Колыму (бухта Нагаево, г. Магадан). Сообщаю тебе, дорогая моя Мусенька, тот адрес, по которому *в крайнем случае* (точный адрес сообщу позже, по прибытии на постоянное место, радиограммой) можно посылать мне корреспонденцию (письма и телеграммы) на Колыму: *ДВК* (т. е., Дальне-Восточый Край), *Бухта Нагаево, почтовый ящик № 3* — мне. По этому адресу письма и телеграммы будут направлены на место моего постоянного жительства, в ту командировку, где я буду находиться. Это — первое, мальчик мой нежный. Вчера осмотрел меня, довольно поверхностно (но и так, впрочем, видна моя инвалидность) врач и дал определение: вторая категория — отдельные работы. Это означает, как объяснили мне, что от тяжелых физических работ я освобожден по инвалидности, а буду использован на тех или иных, отдельных работах (сторож, культработник, напр., и т. п.). Поживем — увидим, как сложатся дальнейшие мои житейские обстоятельства. Здесь уже настоящая зима. Великолепен ландшафт: оснеженные горы («сопки»), на них фиолетовые голые, редкие леса. Величественно, если к этому добавить засиненное зимнее небо, горизонт, ледяной каменистый морской берег, ледяную, совершенно искаженную холодом, как бы скрежещущую, зеленую с пробелью, бурную океанскую воду... Это надо видеть, чтобы почувствовать! Я обязательно где-либо использую эту подлинную «северность», северный озноб природы для своих стихов... Вообще, маленький мой сынок, Симусенька моя, как это ни странно,— тут возникло много лирического подъема. Вправду, родненькая! Объясняю это колоссальными душевными переживаниями, испытанными мной за эти 13 мес. заключения (сегодня, кстати, этот печальный юбилей)... Лишь бы разрешили только мне писать здесь стихи,— не писать будет, убежден теперь, для меня мучительно. А что же, мама, может, и нужно было это потрясение, чтобы вернуть меня к стихам:

...И тебе не надоело, муза,
Лодырничать, клянчить, поводырничать,
Ждать, когда сутулый поднимусь я,
Как тому назад годов четырнадцать!..

Это — начало одного из моих тюремных стихотворений, которые, как я уже писал тебе, сложились у меня в голове... Родненький мой голубчик! На всякий случай поздравляю тебя с наступающим Новым годом и всей кровью моего сердца и мозга, всем своим существом, душой желаю тебе самого великого земного счастья! Только бы была ты здорова, спокойна, счастлива! Только бы исполнились все твои желания! Хоть бы и ты посмотрела на мир веселыми, Синичкиными глазами! Дай тебе бог, судьба, мир, вселенная,— все, что есть могучего и доброго в ней,— всего, всего светлого, лазурного, наилучшего! Ни о ком и ни о чем я не думаю в своем одиночестве, кроме тебя, Мусенька. Ложусь спать в бараке приблизительно в 9—10 час. и знаю, что в это время в Москве только первый или 2-й час полдня. Стараюсь представить себе, что делаешь ты, где ты, какая ты, кто там с тобой. Представляю каждый раз соответствующую конкретную обстановку и пр. Просыпаюсь на нарах (сейчас живем пока в палатках, как герои произведений Джека Лондона) в 7—8 ч. утра и знаю, что в это время ты, по-видимому, уже дома, в нашей дорогой комнатке,— ложишься спать или готовишься к этому... Это так печально и так тепло, приятно, Мусенька, мечтать о тебе, о нас, о нашей прошлой и будущей жизни. И это — тот эликсир, который поддерживает меня. К этому мне нечего добавлять, деточка моя, и, думаю, просто не нужно... Всего, как я уже писал тебе, я получил от тебя — 2 письма, 2 первых посылки (как они помогли и помогают мне, Мусенька, если б ты знала: на море, на транзитке во Владивостоке, здесь!..). Все, все решительно прекрасно, мамочка! Все дорого той особенной любовью, тем вниманием, какие ты, Симуся — моя маленькая, вложила здесь в каждый пакетик, в каждую вещичку! Я даже ощущаю еще ту нежность и теплоту,— ту радость мою,— какие доехали с посылкой ко мне за 12—13 тыс. километров — из Москвы сюда. Почти убежден, что и другие две посылки (от 22/X и 1/XI) так же благополучно найдут меня на Колыме. Тогда протелеграфлю... Я же послал тебе за 3 мес. этапа — 6 писем и 4 телеграммы, а от тебя получил их 6, но один — последний оплаченный ответ использовать не мог по независящим обстоятельствам... Теперь о переписке сюда — отсюда зимой, до марта — апреля (т. е. до открытия навигации). *Только одни, кажется, телеграммы;* авиапочты, ка-

жется, еще нет. Но ты, мордочка, наведи, где можно, сама точные справки (телеграф, радио, авио),— можно, может быть, в ГУЛАГ'е... Пиши мне о своем здоровье *(легкие, похудание — смотри,* Мусенька, *за зубами!*), заботься, пожалуйста, ради меня о себе, а я позабочусь ради тебя — о себе... Слышишь, родненькая? Помни, это самое важное. Крепко, крепко тебя целую. Крепко обнимаю. Целуй Севочку...

4

ДВК, Бухта Нагаево, почтовый ящик № 3 〈без даты〉

Родненькая моя, маленькая Симуся, здравствуй, здравствуй, дружок!

Вот я и на Колыме... Огляделся на местной транзитке и — вижу, что климат тут (по крайней мере, сейчас) не такой уж страшный: сильный, каленый ветер и холод сменился вдруг сравнительно теплой и мягкой зимней погодой. Только солнце тут еле-еле всходит над невысокой сопкой на горизонте, описывает над горой небольшую совсем дугу и почти тотчас же (день тянется, в общем, с 1/2 10 ч. утра до 3 — 3 1/2 ч. дня), серебром расплавясь, опускается немного направо... Видел уже и собачью упряжку, лают собачки и несут (3 пары «гуськом») на нартах дрова... Вверху, в засиненном густо небе, медленно, как вечность, пролетают в горы, покрытые голым, тростниковым лиловым лесом,— в меловые горы тяжелые вороны (повидимому, те самые, какие затащили сюда,— я шучу, Мусенька,— мои кости)... Если романтизировать здешнюю обстановку, то, глядя на это низкое, слепое, негреющее солнце, безлюдье и всю окружающую дичь (горы, бурное море, камень, визжащий от приступов снег, зеленый лед, колючий, как проволока, фиолетовую старинную даль...), можно подумать, что читаешь роман Г. Уэлса «Машина времени»,— ту главу, где говорится о конце земли, потухающем солнечном глазе... И все же, любимчик мой дорогой, Синичка моя хорошая, и тут живет человек, кипит своеобразная, совершенно непохожая на знакомую тебе, суровая жизнь... И в этом — такое счастье! В одиночестве, здесь погиб бы, конечно, даже и крепкий индивид... Скоро нас, надо полагать, распределят, развезут на грузовиках по отдельным командировкам,— более или менее постоянным нашим пристанищам, где уже мы и приступим к своей работе... Какая-то достанется мне? Буду ли я использован так, *чтобы я смог отдать себя целиком, всего* — нужной лагерю и стране стройке? Или же, презрев мои специальности и приз-

нав лишь инвалидность, посадят меня сторожем при складе или раздатчиком белья в бане?.. *Как мне хочется*, если бы ты только знала, голубчик, *показать себя на работе, быть стахановцем, всегда первым, не боящимся никаких трудностей!* А ведь я могу, могу воскликнуть, как в древности: «Дай мне рычаг, и я переверну земной шар!» Посмотрим, скоро узнаем свою судьбу, говорю я. Я, вообще, здесь нередко вспоминаю почему-то непоколебимую жизнерадостность твоего покойного отца,— его стоически-весело́е отношение к житейским неурядицам. Тут можно жить лишь при подобной вышколенности, при таком незамечании хаотических трудностей. Я убежден, что Колыма закалит меня, сделает более стойким, мужественным... А пока — жду направления на работу, живу в палатке. А пока, живя в пересыльном лагере, я наслаждаюсь теми продуктами, какие получил от тебя, родненькая, в первых двух посылках (убежден, что до закрытия навигации получу и другие две посылки). Какая это наиприятнейшая вещь в мире, Мусенька! Сухарики, галеты, масло, частично — грудинка, конфеты, две шоколадки, кое-что из витаминов — уже уничтожено мной. Я жаден, как Гаргантюа. Я просто прожорлив, мама. Пью лимонный сок, ем изюм,— чавкаю, сосу, кусаю, опускаю вниз, в утробу... Фуфайку и новую рубашку натянул на себя, конфеты, как видишь, не лежат тоже без дела. Растроганно, сентиментально (не в пошлом, разумеется, смысле) перебираю иногда (часто не позволяет барачная сутолока) все штучки, присланные моими нежными, маленькими ручками. Мне теперь уже придется прощаться с этим восторгом до весны (т. е. апреля), когда опять откроется навигация. Очень боялся (и еще боюсь) я твоей, родненькая, четвертой, вещевой посылки: куда бы я девал в дороге всю эту поклажу? Наверное, раскрали бы по пути всякие «соседи» (сброду тут, Мусенька, достаточно, и сидят люди по заслугам), пропало бы все — такая обида, главное из-за твоего сердечного, непередаваемого на бумаге внимания! Теперь, может быть, все это уцелеет, ежели дойдет до места моего *постоянного* нахождения. Маленькая моя девочка, знай: тут нужно *только* самое грубое, питательное (напр., сахар, жиры), рациональное,— словом, как раз то, что прислано тобой (напр., как ты угадала, Мусенька, курагу, изюм!) *Одежды просто не нужно.* Даже тулуп мой, говорят, будет лишен: выдают кожушки, валенки (грубые), телогрейки, бушлаты, ватные брюки, шерстяные портянки, грубые, но теплые, головные уборы. Кроме тулупа, это все я уже получил,— обмундирован так, что ты, пожалуй, и не узнала бы меня, Симуся! С едой на постоянной командировке, говорят опытные люди, будет лучше... Но

здесь, конечно, нет и не может быть, напр., фруктов даже в их концентрированном, сухом виде. Это — деликатес, роскошь, хотя бы и необходимая для здоровья. Бритвы, ножи, вилки и т. п., а также чернильные карандаши (простые — допускаются) и *свои* книги не разрешается иметь в лагере с собой. Библиотеки, говорят, в постоянных командировках есть, как и радио, и кино. Поживем — увидим...

Поздравляю тебя, маленькая моя Синичка, с Новым годом и — ты понимаешь, родненькая! — желаю тебе всего наилучшего, всего самого доброго, самого счастливого в свете, мама моя, такая близенькая-близенькая, такая далекая-далекая! Давай условимся, Мусенька: в 12 ч. ночи 31/XII ты подумаешь обо мне (у нас тогда будет около 8 час. утра 1/1), а я то же сделаю и сам (у тебя тогда будет на часах, примерно, 4—$4^1/_2$ час. дня 31 декабря. Мы ведь живем несколько впереди). Хорошо, мордочка? Так и встретим этот наш 2-й в разлуке, одинокий такой год... Поздравляю тебя заранее, потому что это — едва и не последнее перед закрытием навигации мое письмо. Дальше можно поддерживать только телеграфную связь (*точный* адрес,— вверху письма адрес на всякий случай,— сообщу по прибытии на *постоянную* командировку), я буду пользоваться ей, по возможности, полно; о том же умоляю и тебя, голубчик. Береги себя, свое здоровье — ради, хотя бы, меня, мама. Крепко, крепко, как только могу, обнимаю и целую тебя 1/XII.

5

〈без даты〉

Мамочка моя родненькая, солнышко мое золотое! Прощай до весны: это мое последнее письмо к тебе в 1937 г. Навигация закрывается, остается только телеграф. Сердце мое болит, когда я не получаю ни писем, ни телеграмм от тебя. А уже больше месяца нет от тебя вестей. Жду — не дождусь отправки на постоянную командировку, там, может быть, получу что-либо от тебя.

К первому же весеннему пароходу пошлю тебе длинное письмо. И ты, голубчик мой маленький, заготовь такое же уже *в конце февраля* и пошли: пока дойдет, из Владивостока отправится пароход. Родная моя и близкая мне, единственный мой друг в мире! Помни, что и телеграммы — тоже почти что письма (особенно — с твоей стороны). Всегда сообщай мне о своем здоровьи — *самое главное*.

Мамуля моя, если будешь посылать когда-либо еще посылки (я пока получил только первые), то *обшивай их сверх ящика в прочную материю*, прошнуровывай.

Посылки приходят на командировку, как говорят, примерно, через *2 месяца*. Поэтому 1-ю, по весне, посылку — можно послать, как и письмо, во *2-й половине февраля* (до Владивостока — 15 дней пути). В посылке — *самое важное:* побольше — *сахару*, изюму (такого, как ты прислала, без косточек); *леденцов* фруктовых (вообще, конфет без бумажек); затем — *топленого жира* (какого хочешь). Если захочешь еще что-либо, то вспомни про сухие мятные (белые) пряники, также — сушки. Может, что-нибудь есть в восточном магазине (нескоропортящееся). Жидкость, если будет, обязательно наливай в бутылочки с притертой, герметической пробкой: ведь все вскрывают, а дальше — жидкость проливается. С рюкзаком у меня — беда: в бане, на дезинфекции перегорели ремни. Если будет возможность, родненькая, вышли мне, пожалуйста, еще один, *покрепче* (на пуд), на матерчатых тяжах (они на кольцах), *очень прочный и побольше размером*. Еще, может, понадобятся: ручка и перья, конверты, глянцевая бумага, а также — алюминиевые чашка-кружка (на $^1/_2$ литра, примерно) и 2 глубоких мисочки. Вот и все...

Сердце обливается слезами — при мысли, что уже нельзя писать самому близкому на свете существу, что надо ждать весны. Буду ждать тебя терпеливо, бесценное мое солнышко. Крепко, крепко целую. Обнимаю мою Симусю, мою девочку — как только могу.

6

Письмо № 1

9 марта 1938 г.
Стан Оротукан, ДВК,
Бухта Нагаево

Здравствуй, здравствуй, моя родненькая, моя Симуся дорогая, мой любимый, самый-самый близкий дружок, мой единственный мальчик!

Так давно, почти 4 месяца, не писал тебе, не имел возможности. Целая вечность — эта зима, эта холодная предполярная ночь — которая уже кончается, этот холод и морозы... Да и от тебя я почти не получал вестей (не считая 2-х писем, пересланных сюда из Владивостока, и 3-х телеграмм, пересланных из Магадана (бухта Нагаево). Как ты живешь, маленькая, что делаешь, как работаешь? Последнее письмо от тебя (№ 5 от конца ноября пр. года) очень скудно осветило мне твою жизнь. А мне, понятно,

хочется знать о тебе возможно больше,— ведь я живу, мордочка, только тобой, только встречей будущей с тобой, моя родненькая... Ты телеграфируешь все время, что здорова,— а из ноябрьского письма я вдруг узнаю, что ты лечишься! Как же так, мамуся, я очень беспокоюсь за тебя, волнуюсь. Я хочу, чтобы ты, Симусенька, как следует смотрела за собою — хотя бы ради меня, ради нашей будущей жизни. Я прошу, я умоляю тебя смотреть за своим здоровьем — так как бы я стоял возле тебя. Помни, что я всегда мысленно с тобою, что, как никогда, я только твой. Поступай же так, как если бы мы были вместе. Хорошо, моя маленькая, мой любимчик дорогой?..

Теперь — два слова о себе. В середине декабря я пошел из Магадана в последний, как мне казалось, этап — на грузовике. И очутился сперва в стане Оротукане, а затем — на руднике «Ключ Пасмурный». Здесь я пробыл около $2^1/_2$ мес. Работал сперва младшим счетоводом, затем ночным сторожем, наконец — ассенизатором (3 дня). Это — все потому, что я — инвалид и к физическому труду, как ты знаешь, совершенно не приспособлен. Наконец, 28 февраля моя работа неожиданно для меня прервалась. На «Ключ Пасмурный» приехала специальная медицинская комиссия, которая и актировала меня вместе с другими. Комиссией я признан негодным для работы, освобожден от нее без указания срока, навсегда (поскольку у меня нет левой руки и изуродована, деформирована нога). Теперь уже актированный я, вместе с другими, вывезен из Ключа Пасмурного в Оротукан, где и дожидаюсь дальнейшей своей судьбы. Адрес, по-видимому, мой изменится. Новый сообщу телеграммой (если будут деньги, мамочка...).

Эта зима была для меня, мамуся, довольно тяжелой. Пишу тебе потому лишь, что все это уже в прошлом... Прежде всего, я болел, родненькая. После перехода пешком через горный перевал (когда я шел из Оротукана на Пасмурный) я получил растяжение жил в левой, больной ноге. Лежал, не мог ходить почти полмесяца... Затем на меня напала цинга (скорбут). Левая и частично правая нога покрылись гнойными язвами,— их было 12. Сейчас дело идет на поправку. Язв осталось уже только 4. Я лечусь (и лечился), мамочка, очень усердно, помня данное тебе обещание. Я очень стойко переносил и переношу болезнь. Она, в общем, нетрудная, но крайне нудная, тягучая, родненькая моя. Я пью настой на кедраче (так называемый стланик). Но цинга — это болезнь климата, и невозможно трудно бороться оттого. Однако я мужественно, безропотно переношу и это неожиданное испытание, Мусенька моя добренькая. Немного досаждало еще мне мое сердце. Я, кажется, уже

писал тебе, что у меня еще во Владивостоке обнаружили врачи порок сердца. Иногда очень сильно опухают ноги — пришлось даже разрезать левый валенок и носить его на завязках... А, в общем, голубчик, ничего страшного в этих болезнях нет,— надо, конечно, только как следует лечиться, что я и делаю. Сейчас ты не волнуйся, родненькая,— все это сейчас, повторяю, *уже в прошлом...*

Куда-то забросит меня теперь судьба? Вот — вопрос, который занимает меня в настоящее время, говорят, что для инвалидов на Колыме существует особая командировка. Поживем — увидим. Во всяком случае, я сейчас — актированный (т. е. на меня составлен особый акт медицинской комиссией). А работать мне, между тем, очень, очень хочется. Хочется приносить стране самую настоящую пользу, хочется не быть за бортом, хочется вложить в свой труд всю преданность партии своей, своему правительству, своей родной стране. Я, как и ты, Мусенька, твердо убежден, что мне в конце концов поверят, что меня простят, что я буду вычеркнут из проклятого списка врагов народа! Я — абсолютно искренен в этом своем заявлении, за него готов пожертвовать жизнью...

Мамочка, дорогая моя мордочка, ненаглядная моя собачка, зачем ты засыпаешь меня посылками, зачем балуешь как ребенка. Мне и радостно, и горько почему-то. Я невольно даже плачу, получая все это от тебя, Симуся... Ведь всего этого, что в посылках, касались твои руки, твои пальчики! Как бы я целовал и ласкал их, если б только мог! И сказать — не скажешь этого,— нет слов, мальчик мой сероглазый! Все, все решительно пригодилось,— все использовано мной (кроме бритвенного прибора и ножниц, которые изъяты. Я писал тебе, что иметь в лагере режущие или колющие вещи, а также *химические* карандаши или какие ядовитые предметы, напр. иод и др. подобные лекарства, не разрешается! Нельзя держать также книги). Самое ценное — это сахар и жиры, а также витамины. Все это я буквально поглощаю! Мамочка, не вкладывай сразу много конвертов (*на будущее на каждом конверте напиши свой, обратный, московский адрес*),— а то у меня изъяли и большинство конвертов (оставили только 5) и бумаги, в том числе и тетрадку... Достать же здесь почтовые принадлежности — весьма нелегко. Может быть, будешь вкладывать конверты — 1, 2 — с обратным адресом в свои письма? Хотя во Владивостоке письменных принадлежностей у меня не изымали. Карандаши можно иметь *только* простые... Спасибо, великое тебе спасибо, мамочка, за всю нежность, за всю заботу обо мне. Знай, что я дышу только тобою: ты — мой кислород. Это — абсолютная, непревзойденная правда для

меня, моя маленькая, моя золотая головка! В этом я никак не ошибаюсь... Родненькая моя, я из 6-ти (кроме 2-х первых во Владивостоке) посылок получил только 4 — нет посылки с полушубком и еще, по-видимому, какой-то продовольственной... Свитер и лыжный костюм — на мне, очень пригодились, мамочка. Денег владивостокских я пока еще не получил — о 50-ти руб. последних буду хлопотать завтра...

Как я люблю тебя, Мамуся, если бы ты только знала. Обнимаю и целую тебя — как только могу. Пиши мне [несколько слов затерто].

[На свободном месте вверху первой страницы в рамке вверх ногами:] «На Оротукан я получил от тебя 3 телеграммы».



Герб рода Нарбутов. Рис. Г. Нарбута. 1918. Акв., тушь



Портрет И. Я. Нарбута, отца поэта. Силуэт раб. Г. Нарбута.
1915. Тушь, кисть



Портрет Н. Н. Нарбут, матери поэта. Силуэт раб. Г. Нарбута. 1917. Тушь, кисть



Дом Нарбутов на хуторе Нарбутовка, изображенный Г. Нарбутом в иллюстрации к басне «Добрая лисица» (книга «Спасенная Россия в баснях Крылова». 1913)



В. Нарбут-гимназист. Глухов, 1905 г.

Владиміръ Нарбутъ

Аллилуïа

Стихи



„Цехъ Поэтовъ“

Обложка Г. Нарбута к книге «Аллилуйя». 1912



В. Нарбут. Рис. М. Я. Чемберс-Билибиной в книге «Аллилуйя», Петербург, 1912 г. (архив Романа Нарбута)



Дом в Воронеже, где в 1918—1919 гг. была редакция ж. «Сирена» («Первый Дом Советов»). Фотография наших дней (Собрание Г. М. Умывакиной)

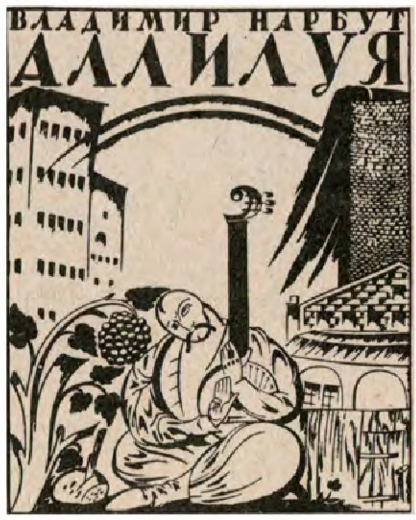


В. Нарбут. Воронеж, 1918 г.



Иллюстрация Г. Нарбута к стих. «Предпасхальное» («Пасхальная жертва»). 1919. Тушь, перо, гуашь





Обложка Г. Нарбута к книге «Аллилуйя». 1919. Тушь, перо

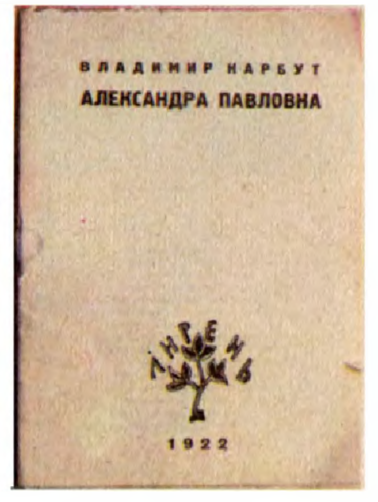
Фронтиспис Г. Нарбута к книге «Аллилуйя». 1919. Тушь, перо



Обложка книги В. И. Нарбута «Советская земля»







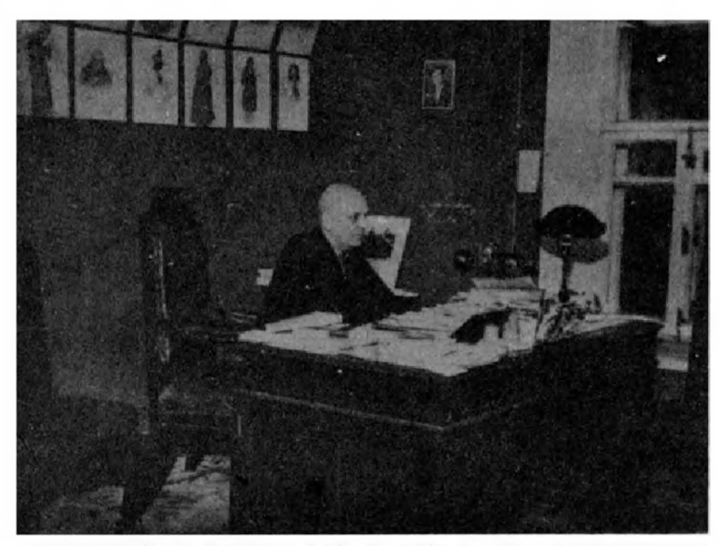
Обложки книг В. Нарбута



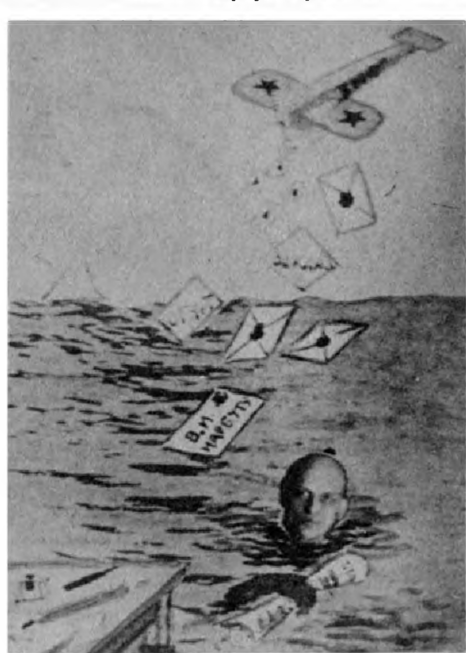
В. И. Нарбут. 20-е гг.



Ул. Варварка в Москве с вывеской издательства «Земля и фабрика»
20-е гг.



В. И. Нарбут в рабочем кабинете. 20-е гг.



Дружеский шарж
на В. И. Нарбута
20-е гг.



В. И. Нарбут с женой С. Г. Нарбут (справа) и ее сестрами Л. И. Багрицкой и О. Г. Олеша. 20-е гг.

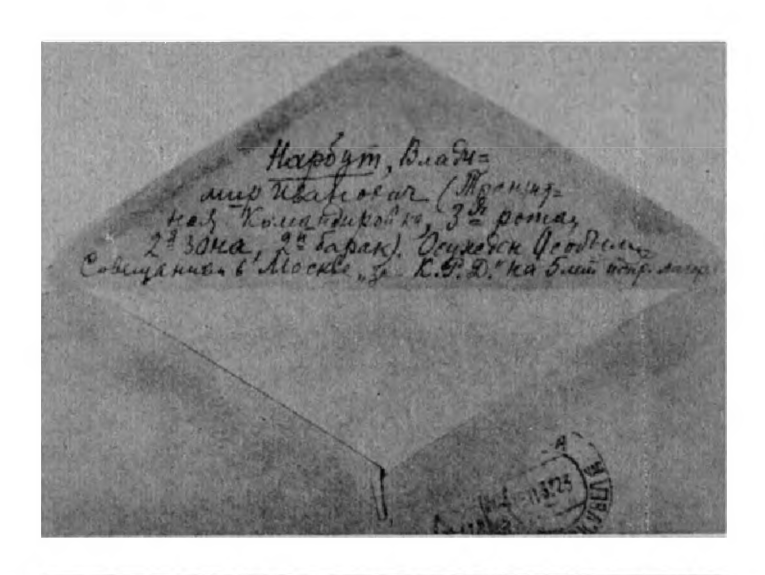


В. И. Нарбут. После 1928 г.

Черновой автограф стихотворения «Ты что же камешком бросаешься...» (начало 30-х гг.)



В. И. Нарбут. Начало 30-х гг.



Конверт письма В. И. Нарбута (ноябрь 1937)

Фрагмент письма В. И. Нарбута от 27 ноября 1937 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта книга — первое собрание стихов Владимира Нарбута в нашей стране.

Сборник составлен по книгам, публикациям в периодике, которые удалось обнаружить, и рукописям из двух архивов: В. Б. Шкловского и Р. В. Нарбута (см. предисловие). В этих источниках многие стихи предстают в различных вариантах. Это объясняется и творческой работой поэта над ними в разные годы, и многими обстоятельствами конца 20-х и начала 30-х гг. Поэтому большое место в примечаниях занимают наиболее значительные варианты стихов.

В основе композиции книги — предложенное самим Нарбутом построение в составленной им рукописи избранного «Спираль». Однако обнаруженные в прижизненных публикациях и в архивах стихи, в том числе рукопись книги «Казненный Серафим», несколько изменили эту композицию. Подробности изменений оговариваются в примечаниях к разделам.

Наряду с основным, избранным, составом книги, в приложении помещены стихи разных лет: юношеские, агитационные, экспериментальные («научные»), найденные незавершенными в черновиках.

В авторской датировке стихов встречаются разночтения. Это оговаривается в комментариях. Даты в ( ) проставлены В. Нарбутом при подготовке рукописи «Спираль». Различия в употреблении прописных и строчных букв в начале строк соответствует воле автора.

Условные сокращения

А-1	— Владимир Нарбут. Аллилуйя. СПб.: Цех Поэтов, 1912
А-2	— Владимир Нарбут. Аллилуйя. 2-е изд. Одесса, 1922
АП	— Владимир Нарбут. Александра Павловна. Харьков: Лирень, 1922
АРН	— Архив Р. В. Нарбута
АШ	— Архив В. Б. Шкловского
Гип-1, 1912	— ж. «Гиперборей», № и год изд.

Зори	— ж. «Зори» (Киев), 1919, № 1
КС	— Владимир Нарбут. Казненный Серафим (рукопись)
Лава	— ж. «Лава» (Одесса), 1920
ЛиЛ	— Владимир Нарбут. Любовь и любовь. СПб.: Наш век, 1913
НЖдВ	— «Новый журнал для всех», СПб., 1913
НМ	— ж. «Новый мир»
Облава	— ж. «Облава» (Одесса), 1920
Ос	— подборка «Октябрьское солнце» (рукопись из архива В. Б. Шкловского)
П	— Владимир Нарбут. Плоть. Быто-эпос. Одесса, 1920
Сз	— Владимир Нарбут. Советская земля. Харьков, 1921
Сир-1, 1918	— ж. «Сирена» (Воронеж), № и год изд.
Сп	— Владимир Нарбут. Спираль (рукопись из архива В. Б. Шкловского)
Ч	— Черновой автограф из архива В. Б. Шкловского
g-1	— ж. «gaudeamus», 1911, №

В ГОРОДЕ ГЛУХОВЕ

Раздел назван Нарбутом в Сп. В нем ст. из первой книги «Стихи» (1910). Эпиграфы из повести Н. В. *Гоголя* (1809—1852) «Страшная месть», гл. XVI, и из поэмы И. П. *Котляревского* (1769—1838) «Энеида».

Праздник. *Переплавная середа* — диалектный вариант слова «преполовение» — половина, середина, преполовеньев день — среда четвертой недели по Пасхе.

Подвечер. *Облога* (южн.) — целина.

Отъезд. *Каплица* — часовня. *Курень* — зд. в знач.— место выжига в лесу угля, угольная яма, для выварки поташа, дегтя или смолокурня.

АЛЛИЛУЙЯ

Вторая книга стихов В. Нарбута. Изд. Петербургского «Цеха Поэтов», начало 1912 г. тираж 100 экз.; в 1922 г. в Одессе со след. предисловием автора: «Настоящее издание «Аллилуйя» является почти дословным повторением этого же сборника, выпущенного «Цехом Поэтов» в Петербурге, в 1912 году, и тогда

же конфискованного и уничтоженного Департаментом Печати. Никаких существенных изменений в произведение не внесено,— выброшены лишь эпиграфы да посвящения, как устаревшие, да «Лихая тварь» дополнена третьим стихотворением, случайно не вошедшем в первое издание и помещенным в журнале «Гиперборей». В архиве Шкловского сохранился экземпляр 2-го издания, принадлежавший Всев. Багрицкому с карандашным рисунком Эдуарда Багрицкого на посл. стр. обложки. Мы публикуем «Аллилуйю» по 1-му изд. с добавлением упомянутого стихотворения. Иногда с позднейшей правкой автора. Стихи датируются по Сп. Эпиграф — 148 пс. из Библии. Имеет подзаголовок «Аллилуйя».

Нежить. *Шур* (укр.) — крыса. *Сыровец* — квас из сырых отрубей. *Голомозый* — лысый, плешивый.

Лихая тварь. *Лихая тварь* — зд. «нечистая сила». Эпиграф из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».

1. «Крепко ломит в пояснице...» В Сп — первое стих. диптиха «Распутная». *Лесовик* — леший. *Смуги* — пятна. *Ярь* — и ярость, и яркость, и жар, и ядовитость.

2. «Как махнет-махнет — всегда на макогоне...» *Судейкин* С. Ю. (1882—1946) — художник. *Макогон* — большой пест от ступы. *Шишига* — овинный домовой. *Потылица* (укр.) — затылок. *Лежнюга*, лежень (укр.) — лежебока. *Высмыкнется* (укр.) — выдернется. *Расчухмаривать*, чухмарить (укр.) — чесать. *Порохня*, порох (укр.) — пыль, прах, труха. *Подхопиться*, хопить (южн.) — захватить, поймать. *Будяги*, будяк (укр.) — чертополох. *Черняк* — чернорабочий, мужик.

3. «Луна, как голова, с которой...» В А-1 не вошло. Вперв. Гип-3 под загл. «Ведьма» (вар.) В Сп — это 2-е ст-е диптиха «Распутная» (вар.)

Стр-ки 34—37:

В углу шарахнулась скотина...
Не помышляя ни о чем,
во сне подпасок долгоспинный
себя считает богачом.

Стр-ки 51—53:

И после, в хате
колкой дрожью
озноб колотит на печи.
Чебрец, ромашка, подорожник,
себя ж настойками лечи!

Пьяницы. Эпиграф из стих. Е. П. *Гребенки* (1812—1848) — укр. и рус. писателя. В А-1 вар. стр-ки 28—42:

Торчмя торчит, что сыч
Водянкой буйной глаз
Под гусеницей стал в коричневом мешке·
Мерещится мозгам, что сволок — вон — сей час,

ей-богу, плюхнет вниз и — смерть невдалеке.
Вояка свесил ус и капает с него.
...Под Плевною редут заглох: бурлит Осман:
В ущелье — таборов разноголосый вой,
а на зубах завяз, как бламанже, туман.
Светлеет Бастион...
Спросонья: «Ро-та, пли!»
И землемер вихры встопорощил, как прусак,
на шелушистый лук набредший из щели:
не заблудиться б тут да не попасть впросак.
И все, как жерла труб, в размывчивом угаре.

Стр-ка 28: И в зеркальце косом —
Сковорода-скопец.

Услон (южн.) — стул или скамейка. *Квач* — помазок (дегтярный, напр.), но в укр. переносн. еще и размазня, бесхарактерный человек, и есть поговорка: пьян, как квач. *Покуть* (южн.) — красный угол за столом.

Горшечник. Печ. по Сп. В А-2 вар. Стр-ки 1—12:

В кляксах дегтя шаровары у горшени
и навыпуск полосатая рубаха;
пояс — узкий ремешок.
А в пышном сене
За соломенной папахою папаха.
Златом льющейся, сверленою соломой
гнезда завиты: шершавый и с поливой,
тот — для каши, тот — с утробой, щам знакомой,
тот — в ледник — для влаги, белой и ленивой.
Хрупко-звонкие, как яйца, долговязы,
дутые, спесивые горшки — обжоры —
нежатся на зное, сеющем алмазы
на захлестнутые клевером просторы.

Стр-ки 31—38: женщине веснушчатой, в короткой юбке,
молвит человек, оглядывая зорко,
и плюет сквозь зубы, покопавши в трубке.
А волы жуют широкими губами
(тянут деловито мокрую резину),
проверяя ребра вялыми хвостами
у горожи редкой — перед жердью длинной.

Эпиграф из повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка». *Перевясло* — связка, пучок, связанная кипа. *Чумацкая, чумак* — «протяжный извозчик на волах» (Даль), то есть дальний извозчик.

Клубника. Эпиграф из В. Т. *Нарежного* (1780—1825) — русского писателя. *Сестерций* — др. рим. серебряная монета. *Запаска* (плахта) — панева — два куска шерстяной домотканой

материи, надевающихся поверх сорочки, вместо юбки. *Свитка* — одежда, сермяга. *Акафист* — церковная хвалебная песнь Спасителю, Богоматери, святым.

Архиерей. *Архиерей* — старший в епархии священник, епископ. *Поемные* — заливные. *Благочинный* — окружной священник, которому поручено несколько приходов. *Ковчег* — кованый сосуд; Ноев ковчег — по Библии — корабль, построенный патриархом Ноем. Ковчегом назыв. также ветхий корабль и даже старинную колымагу. *Камилавка* — головной убор монаха и священника.

Шахтер. Эпиграф из «Энеиды» И. П. Котляревского. *Причухравший,* чухрати (укр.) — бежать. Здесь переносн. *Тарабанится* (укр.) — прется. *Байстрюк* — незаконнорожденный.

Портрет. Эпиграф из Г. С. *Сковороды* (1722—1794) — укр. философа-просветителя, писателя и педагога.

Гадалка. Эпиграф из Г. С. *Сковороды.*

Волк. В Сп вар. Стр-ки 2—11:

Лекарством от осиновой коры
Разит и через сонные пары:
При голоде стоят деревья дальше...
Едва (в шанжане седины муруг)
Пошевельну усами,—
хлев овечий
Навалится на сдвинутые плечи.
Трусцой перебегаю мерзлый луг —
И под луной,
щербатой и холодной,
К жилью (мерцающая тень) крадется...
На чучеле болтается картуз,

Упырь. В А-2 с загл. «Ребенок». Эпиграф из Г. С. *Сковороды. Упырь* — оборотень, кровосос (вампир) и (южн.) — головастый ребенок с водянкой в голове. *Сгорнутый,* горнути (укр.) — обнимать. *Дмется,* дмиться — надуваться воздухом, но и становиться напыщенным, гордым. *Дули* — груши. *Гнот* — фитиль.

ВИЙ

В раздел включены дореволюционные стихи Нарбута, не вошедшие в А и П из периодики тех лет. Название разделу дано по одноименной книге Нарбута (СПб.: Наш век, 1915). Вий — один из главных персонажей украинской миф., демон, старик, с бровями и веками до самой земли; он убивает взглядом людей, обращает в пепел поселения.

Левада. Вперв. 9-8 с загл. «Левады» (вар.):

Ой, левады пенносенныя
Украинския земли!
Что мне Рим?
И что мне Генуя
И в Версале короли?

Свисты иволг за ракитами
За курчавыми текут.
А под травами побитыми
Ветхих ящериц закут.

В яме ключ блестит жемчужиной,
В яме светлой и косой;
Много гнезд глухих разрушено
Огнеметною косой...

Под пеньком, под кочкой кроткою —
Глубоко от ока птиц —
Спрятан бурою медведкою
Ворох маленьких яиц.

Пресмыкается земной рак.
Яйцы — серая икра;
Мох в гнезде, как мягкий войлок.
А вверху пылит жара.

Ветхи — кочки. За левадою
Ленью вскормлена река,
И в ней небо, синью падая,
Претворило облака.

День течет, левады жалуя
Свистом иволг. Смугл-покой,
Где старухою беспалою
Волочится Русь с клюкой...

В Сп включено в раздел «В городе Глухове». Дат. по Сп. *Левада* — усадьба, огороженный или окопанный луг, пастбище, иногда — пашня, огород, сад. *Хома Брут* — герой повести Н. В. Гоголя «Вий». *Медведка* — насекомое, земляной рак. *Бульба* — клубень, но и пузырь. *Бунчук* — знак гетманского достоинства, древко с конским хвостом и металлическим «яблоком» на конце. *Очипок* (укр.) — головной убор замужней женщины, надевается под платок. *Горб* — гора, холм, курган. В Глухове, в Никольской, гетмана отлучили от Петра. В 1708 г. после измены и бегства Мазепы 6 ноября на Раде в Глухове Петр приказал избрать нового гетмана (избран Скоропадский). 12 ноября Мазепа предан анафеме, при этом сожгли куклу, изображавшую его. По преданию, это происходило в церкви св. Николая и возле нее. *Есмань* — река, на которой стоит Глухов.

Последняя весна. Вперв. g-6

На даче. Вперв. g-4

Осенняя сказка. Вперв. g-4 *Городецкий* С. М. (1884—1967), рус. поэт.

Зимняя тройка. Вперв. g-5 *Сувой* — зд. завихрение.

Смерть. Вперв. g-6

«Сегодня весь день на деревне...» Вперв. g-9. *Призьбы* — завалинки. *В Печеры* — в Киево-Печерскую лавру, куда ходили паломники на богомолье и поклонение Св. Мощам.

Летом. Вперв. «Сельский вестник». Воскресное приложение, № 31, 31 июля 1911.

Из цикла «Ущерб» Вперв. g-7 Другие стихи этого цикла нам неизвестны. Возможно, название отразило лишь замысел.

Пасха. Вперв. g-11

2. Лесная. *Схима* — великий ангельский образ; монашеский чин, налагающий самые строгие правила.

«В доме сонники да кресла...». Вперв. g-8

«Снова август светлый и грустящий...» Печ. и дат. по машинописной копии с пометой «Архив Брюсова» (АШ).

Гроза. Печ. и дат. по машинописному экз. (АШ).

Накануне осени. Печ. и дат. по машинописным экз. (АШ). На одном экз. рукописная помета: «ЦГАЛИ 10-е годы», на другом более точная дата — 1912.

Телепень и его слуга. Вперв. Гип-9-10 под заг. «Телепень». В Сп открывает разд. «Аллилуйя». Дат. по Сп. *Телепень* (укр. разг.) — увалень.

«Подкатил к селу осенний праздник...» Вперв. Гип-6. *На Илью,* Ильин день — 20 июля.

Гаданье. Ч. *Сочельник* — канун Рождества и Крещения, ночь гаданья о суженом. *Петух, начертанное мелом* и т. д.— традиц. атрибуты гаданий. *Мельник* — по народным поверьям, нередко бывал связан с «нечистой силой».

Охотник. АШ. *Душегубка* (юж.) — лодочка, маленький ботик, долбушка.

ПЛОТЬ

Книга Нарбута «Плоть. Быто-эпос» вышла в 1920 г., в Одессе. Книга получила всесоюзный резонанс. В АШ сохранился экз., принадлежавший Всеволоду Багрицкому. В Сп название «Плоть» сохранено за разделом. Печ. по первоизданию с нек. послед. авторской правкой. В другие разделы перенесены стихи: «Портрет» («Вы набожны, высокомерно-строги...»), позднее включенное автором в поэму «Александра Павловна», и два стихотворения из цикла «Абиссиния», также позднее включенные автором в триптих. Стихи дат. по Сп. Посвящение и эпиграф из изд. 1920 г.

Ингулов С. Б. — видный политич. деятель того времени и литератор; друг и соратник Нарбута по Воронежу, Николаеву, Одессе и позднее — в Харькове и в Москве. Автор эпиграфа не установлен.

Пасхальная жертва. Вперв. ж. «Зори» (Киев), 1919, № 1 с загл. «Предпасхальное» и с иллюстрац. Г. Нарбута. То же название в П. В Сп — «Пасхальная жертва» с некот. разночтениями. Печ. по П. *Фортуна* — в римск. миф. богиня слепого случая, изображалась с рогом изобилия и опирающейся на корабельный руль («колесо фортуны»), первоначально — богиня земледелия и покровительница скота; чествовалась весной. *Пасхальный агнец,*—ветхозаветная иудейская Пасха сопровождалась закланием агнца — пасхальная жертва.

Чета. В Сп с незначит. разночтениями. *Яруг* (юж.) — овраг. *Дежа* (юж.) — кадка. *В венчике бумажном.*— Молитва на полоске бумаги, кладущаяся на лоб покойнику в гробу.

Баня. Печ. по Сп. *Брудастые,* бруд (укр.) — грязь, нечистоты. *Выбрасывай свой ярмарочный флаг.*— Баня вывешивала флажок — оповещение о том, что она открыта. *В постолах,* постолы (юж.) — гнутая из сырой кожи обувь.

Порченый. До П в кн. «Любовь и любовь» (СПб.: Наш век, 1913) с загл. «Дурной».

Тиф. Вперв. «Известия Воронежского Губисполкома», 1919, 26 января. Дат. по этой публикац. В П с незначит. разночтениями. *Железка* — карточная игра.

Самоубийца. Печ. по Сп. В П вар. Стр-ки 1—5:

Ну застрелюсь. И это очень просто:
Нажать курок, и выстрел прогремит.
И пуля виноградиной-наростом
застрянет там, где позвонок торчит,
поддерживая плечи для хламид.

вм. строк 36—50:

Швырнут меня...
Обиду стерла кровь.
И ты, ты думаешь, по нем вздыхая,
что я приставлю дуло (Я!) к виску?
...О безвозвратная! О дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку.

Вар. также в Ч. Стр-ки 43—46:

Как самовар, струею просверлив
распертый гроб сквозь поры, в недалекий
перенесется в сад, чтоб в гуще слив
плод опылить и дать ему налив.

Стр-ки 48 — 50· И кумачовым лоскутом на бабе
Растреплюсь, вспахивая чернозем,
И вдруг взлечу и с ужасом о жабе...

Эпиграф из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», гл. восьмая, XLVIII. «Эпидемия самоубийства», как и другие формы «неприятия жизни» были в то время (10-е гг. XX в.) характерны...» Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973. С. 146.

Зной. Датируется по Сп, где без сущ. разночтений.

«Одно влеченье: слышать гам...» В Сп не включено. *Курча* (укр.) — цыпленок.

Столяр. Вперв. Гип-1, 1912. Печ. по П с незначит. авторской правкой по Сп. Дат. по Сп. Существенные разночтения в Сп связаны с исключением слов «Евангелие», «Апостол», «Манна». Наиболее значит. вар. в Сп между 24 и 25 стр-ми:

Смотри: пила опять перебирает
Зубцами острыми короткий брус,
и долото долбит и ковыряет
и мастерит подобье крупных бус.

Манна (церк.) — чудесная пища, которую Бог посылал народу в пустыне на пути в землю обетованную. *Цветенье Ааронова жезла.*— Жезл Аарона — одна из священных реликвий Скинии (походного храма) израильтян. По Библии расцветший жезл Аарона утвердил преимущество Колена Левина в священном назначении.

После грозы. Вперв. ж. «Аполлон», 1913, № 3. Без названия.

Сириус. *Песья звезда. Сириус* — звезда первой величины в созвездии Пса.

Сеанс. Вперв. Гип-6, 1913. В Сп с загл. «Сеанс, которого не было». Печ. по П с незначит. позднейшей авторской правкой. Дат. по Сп. Вар. в Сп. Стр-ка 24—37:

(некудышная в обморочной глубине...)
Неизвестно о чем
мой товарищ вздохнул,
Бахрому теребя оробевшими пальцами.
А за ставнями —
воспоминанием гул:
Это ночь отступала
в бугры
с постояльцами.
И в гостиной
дерзнувшей уйти от себя ж
(Переменные токи в естественном кабеле!)

Все не мог отказаться
от многих пропаж·
закадычную дружбу до капли разграбили...
И, конечно, еще проносили они
(...Полегчало секире от них,
обезглавленных...)
Перед меркнущим взором его
простыни
в сферах
на землю свергнутых,
басней отравленных...

Медиум.— Зд. посредник на спиритическом сеансе, через которого, по представлению спиритов, живые общаются с душами умерших.

«Она некрасива...» Вперв. ж. «Аполлон», 1913, № 3. В Сп с загл. «Она некрасива».

Стр-ки 6—9:

Какая покорность раздумий!
Как быть нам,
себя потеряв?
В широком, домашнем костюме
У лилии занят рукав...

Строка 16: Свети Соломеи виденье!

Покойник. Вперв. в «Новом журнале для всех», 1913, № 4. В Сп с загл. «По поводу Пиковой дамы». Печ. по П с незначит. позднейшей авторской правкой. Дат. по Сп. Вар.: НЖдВ.

Стр-ки 38—41. старуха-то того...

В Сп конец: Кончается:
повадился покойник
ремизить,
издеваться над вдовой...

Укроп. В Сп не вошло. Не датировано. *Цыгельня* (юж.)— кирпичный завод.

ЛЮБОВЬ

Этот небольшой раздел, выделенный Нарбутом в рукописи «Спираль» из книги «Александра Павловна», здесь дополнен двумя стихотворениями, сохранившимися в АШ.

Бродяга. Печ. и дат. по Сп.

В АП вар.

Стр-ки 1—8: Ты не воспестована, нищета,
И в сем, должно быть, первенство твое.
Что — мать, что — мученица у Креста,
Что Илии (милость — на ветер!!) взлет?
Не счесть гудящих недрами имен
И мудрость мира явлена не вся:
В стакане чая тающий лимон,
С крутым яйцом опреснок карася.

Стр-ки 15—32:...Живот, обвисший в паутине рубищ,
Вот этим пальцем можно проколоть?
И башмаки, сбивая по дороге
Наперстки мака, второпях несли
Не вас ли, раскоряченные ноги,
Верблюжье-обезьяньи корабли?
Мотнет пивными патлами и носом
Поморщится: не дышит ли коржем?
О Нищета! Ему бы мериносом
Быть или принцем под густым плащом.
А он — бездомный, рваный волк, бродяга
С изглоданной железной просфорой.
И бьет его, мутит и гонит тяга,
Как вальдшнепа по просеке сырой.
И плоть нудит и жалуется на ночь:
Облобызай, облобызай меня,
Кровь преврати в шипение шафрана
Мурашками и судорогами льня.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — рим. полит. деят., философ и писат. *Апулия* — обл. на юге Италии. *Кровь преврати в вино.— Согласно обряду причащения, церковное вино превращается в кровь Христа. В Кану... в Галилею.*— Галилея (ист. область в Сев. Палестине) и Кана Галилейская — по Евангелию— основной район проповедей Иисуса Христа.

«О, бархатная радуга бровей!..» Печ. и дат. по машинописному экз. (АШ) с пометой: «Стихотворение посвящено Ольге Даниловне Карпеко-Глевасской». О. Д. Карпеко-Глевасская (1890-е — 1975) — соседка Нарбутов по имению.

Любовь. Триптих публиковался в АП. В Сп — со значительными изменениями. Дат. по Сп.

1. «Обвиняемый усат и брав...»
В АП стр-ки 1—4:

Все великое приходит вдруг,
И путей планеты мы не знаем.
Только время спорит с Менелаем,
Раздирая лапами испуг

Стр-ки 15—16: Только время спорит с Менелаем,
Мы же — каждый со своим уколом.

Стр-ки 21—25: Тонкий холод освежает плечи
И пылают животов корзины.
Лишь теперь мы бьемся без причины
В нашей оболочке человечьей.

В Сп стр-ки 5—8:
В древней Трое
столько тарарама
Было поднято
(из-за Париса),
Что любовь,
на мифы плюнув,
прямо
К нам переселилась —
белобрысой.

Стр-ки 17—20: Отодвинь, притворщица, засов,—
Благоверный не вернется скоро,
Не пропахнет спущенная штора
Табачищем
от моих усов.

Стр-ки 34—41: Выпяченные (бери!) соски?
С прожилками веки!
Или губы?
Или же
фаллопиевы трубы,
В нежные зажатые тиски?..
Мы поймали б все,
что днем ловили,
Если б Афродита, вея шторой,
Мне,
дымящемуся здоровиле,
Не вернула
яблоко раздора.

Менелай, Парис, Елена — герои греч. мифа о Троянской войне. *Менелай* — в греч. миф. царь Спарты, муж Елены Прекрасной, возглавивший поход на Трою, ради возвращения похищенной Парисом жены. *Архангеловы трубы* — по Евангелию— возвещают Страшный суд. *Афродита* — в греч. мифол. богиня любви, обещавшая Парису Елену Прекрасную за то, что он присудил ей т. н. яблоко раздора, как красивейшей из трех богинь.

2. «Не ночь, а кофейная жижа...» Печ. по АП. В Сп с немногими изменениями. Вар. из Ч.

Стр-ки 5—8: Они обессиленной птицей
Попискивают и поют,
Звериная шерсть шевелится.
Тяжел человечий уют.

Выселицы — выселки, хутора.

3. «Хорошенько втоптать чемоданы...» Печ. и дат. по Сп. Вар из АП.

Строка 12. На минеи............[1] житий?

Стр-ки 19—20: Чтоб не вянули...... от шашней,
Не болтались.....

Между 20 и 21 стр-ми:
И какая ни есть потаскуха,
Голенище ....
Размыкает от уха до уха
То, чего ей не приобретать,

Стр-ки 29—32: Голова запеклась и на блюде
Волос кверху, как корни у пня.
На верблюдице выть о верблюде,
В ворохах захлебнет....

Между 32 и 33 стр-ми:
И теплынью затопленных юбок —
Весь в мерлушках распарен.....
И — захлюпает хлябкий.......
По хребту насосавши посев
И добравшись по жилам до стона,
Под ребро заберется опять,
Чтобы в дрожи, сквозь сон, исступленной,
Сладкой спаржей сосать, колупать.

Вар. из Сп. Конец (Стр-ки 47 — 51):

Синим порохом взорваны почки,
К чадородному лету мы прем.
Диоген,
я — собака,
я в бочке:
Человека ищу с фонарем.

(*Диоген* — др. греч. философ (IV в. до н. э.). По преданиям, жил в бочке. Доведя свой аскетизм до крайности, получил прозвище «собака»; расхаживая днем с зажженным фонарем, говорил: «Я ищу человека». *Четьи непотребных житий.* Четьи-Минеи — «Чтения ежемесячные» — сборники житий святых, составленные по месяцам. *Золоторотец* (разг.) — прозвище босяков. *Мономахова мудрость.*— Великий князь киевский Владимир Всеволодович, прозванный «Мономах», оставил литературный памятник: «Поучение», обращенное к своим детям. Одна из первых фраз: «Сѣдя на са-

[1] Отточия автора.

нех, помыслих в души своей и похвалих Бога, иже мя сихѣ дневѣ грѣшнаго допровади».

Ночь. Вперв. ж. «Лава» (Одесса), 1920, № 1. В АП и Сп не вошло. В АШ сохранилась авторизованная рукопись Нарбута. Дат. по «Лаве». *Лежень* — козодой (примеч. Нарбута).

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

АП, «Лирень» (Харьков), 1922, тир. 1000 экз.— последняя прижизненная книга В. Нарбута и последнее издание его стихов в СССР. В Сп Нарбут сохранил название книги для одного из разделов, снабдив его эпиграфом, включив в него четыре главы из поэмы, в том числе только одну из книги (3-ю) и несколько другой, чем в книге, набор стихов. В этом разделе печатаются все пять сохранившихся глав поэмы и большая часть стихов из книги, кроме выделенных Нарбутом в раздел «Любовь» и включ. в книгу «Казненный Серафим». В раздел включено также несколько стих. из АШ, примыкающих к поэме по содержанию.

Эпиграф. Из романа Ф. М. *Достоевского* «Бесы». Л. Чертков отмечает ироничность эпиграфа к поэме. Однако это эпиграф не к поэме и не к книге, а к разделу Сп.

Водяное в барабане. В Сп не включено. *Сатурн* — планета, названная именем др. рим. бога земледелия, с ним связаны представления о «золотом веке». В честь него праздновались веселые сатурналии — предшественники христианских святок. Но с ним связан и образ бога-властителя, пожирающего своих детей.

Александра Павловна. В Сп без эпиграфа, с подзаг.: «Отрывки из поэмы». Вар. 3 гл. из Сп.

Стр-ки 20—25: Встал на четвереньки —
и в таком
положеньи
звякает ключами
мельника
и сыплет вниз зерно,
чтоб тряслись в корытце,
чтоб в бурчанье
шел бегун
и тер лежняк-жернов.
Перекресток,
от него направо —

Стр-ки 40—55: Не стоять
на память всем векам!
И еще: какие панталоны:
Кружево —
левада из левад!..

Только:
отчего испуг зеленый
начал вдруг зрачком повелевать?
— Душно, душно мне!
Спасите! Люди!..—
У борзой —
щетина по хребту.
Подтянуло и живой
в желудок;
хвост подбило, как рукой — в лапту...
Молодостью не осилен ужас:
Персей колокольчики —
белы
и за ними —
ни крапинки мужесть,
что с ума сводила все балы!

Вм. строк 65—85:

Александра Павловна!
от ранних
Лет галлюцинируете вы,
и сейчас над ухом —
шепот странный.
Ясный
(до круженья головы).
Из низин извилистых
кромешных
к рожкам щитовидной железы
он пробрался, вышел —
и насмешник
перед вами, в образе грозы...

Сохранился небольшой черновик, безусловно относящийся к этой поэме:

Солнце полощет в проруби желтой
груды выстиранного полотна.
Ахнула Сашенька?
Как подошел-то,
Как поглядел-то,
Вынул до дна!

Дат. по Сп. *Эпиграф* — финал «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. *Гоголя*. *Кубовое полотно* — крашенное синей краской (индиго) или пестрое с синим фоном. *Заячий Мазай* — см. Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы». *Дебелей* — зд. плотней. *Кострика* — сырец льна, конопли и т. п. *Астролябия* — угломер, зд. астрономический. *По-кажаньи*, кажан (укр.) — нетопырь, летучая мышь. *Ливорно* — итальянский торговый город и порт, центр обработки корал-

лов и приготовления масла. *Мотузка* — тонкая веревка. *Репнувший,* репнути (укр.) — треснуть. *Голюка* — м. б., производное от «голья» — голая ветвь, сук.

Гиацинт — герой греч. миф., юноша необыкновенной красоты, любующийся собой.

Железная дорога («Под высь рессорную перечеркнув...»). Вперв. ж. «Зритель» (Одесса), 1922, № 3 (сообщено А. В. Громовым). Сохранилось также в Ч, с небольшой стилистической правкой и без одной строфы, которая восстановлена по экз. Громова. По некоторым деталям («дьячихины собаки», «зонт» и т. п.) можно предположить, что примыкает к АП, что подтверждает и дата публикации. *Даниил* — один из ветхозаветных пророков, мудрец, брошенный в ров со львами, за неисполнение приказа наместника Кира в Вавилоне. *Плащаница* (др. рус.) — простыня. По преданию, сохранилась плащаница с отпечатком тела Иисуса Христа во гробе.

Вечер. Не датировано. Сохранились Ч с незначит. разночтениями. *Крыжние,* крижень (укр.) — кряква-утка. *Ремиз* — карточный термин, недобор взятки, переносн.— проигрыш. *Салопница-судьба.*— Салоп — верхняя теплая женская одежда; салопница — переносн. устар.— нищая, кот. ходит в оборванном салопе, в первые советские годы — старомодная, старорежимная.

Щука. Печ. по Сп, где включено Нарбутом в раздел «Александра Павловна». Ч с загл. «Уха» (вар.):

Стр-ки 1—4: Дым — на дужки: делает замок:
Слесаря сошлись над куренем.
Ребра пропотели, бок размок
Пестрый — под заслюненным линем.

СПИРАЛЬ

Этот небольшой раздел сохраняет название, данное автором последней, не вышедшей из-за его ареста книге. Здесь собраны стихи разных лет, как опубликованные, так и найденные в черновиках,— стихи, как бы переходные от дореволюционных мотивов поэзии Нарбута к лирике эпохи революции и гражданской войны.

«Гудок стремительный и в море...» Ч. Вар.:

а) Бродяги мертвая обуза
...............земля,
Звала и Робинзона Крузо
Корма родного корабля.

б) Как птица — воздух, руды, горы,
Так знает.............матрос.
Морские свежие просторы,
Где он взошел, где он возрос.

Б а б ь е л е т о. Ч. Отточия на месте недописанной строфы. *Блакитный* (укр.) — голубой. *Притин* — предел, с оттенком привязанности — точка стояния, «к чему что приурочено» (Даль), притинный — укромный, приютный. *Волосы Вероники* — созвездие сев. полушария.

Г а п о н. Впервые «Известия Воронежского Губисполкома», 1919, 22 января. В Сз дат. 1919 г. В Сп дат.— 1915. Гапон Г. А. (1870—1906) — священник, организатор легального общества «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», инициатор шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. В 1906 г. повешен рабочими двужинниками. *Акелдама* — «Земля крови. Так называется у евреев то место, где повесился Иуда» (примеч. Нарбута); в Евангелии — земля, купленная первосвященниками у горшечника для погребения странников за 30 сребреников, брошенных Иудой после раскаяния (Матф. XXVII, 3—9).

К а з а к и з к и р г и з о в. Печ. по Сп. В Ч незначит. разночтения.

«К о р о т к о г у б о й а р т и л л е р и е й...» Печ. по Ч. Не датировано.

А б и с с и н и я. Триптих составлен Нарбутом из трех, написанных в разные годы стихотворений. В Абиссинии Нарбут был в 1912 г. (см. предисловие). В таком составе в Сп. В П — диптих (2 первых ст-я). В Сз — вариант 3-го стихотворения с загл. «Из книги — «Эфиопия». *Абиссиния* — старое, неофициальное, но распространенное название Эфиопии.

1. «М и м о з ы с и г л а м и д л и н н о й в м и з и н е ц...» Вперв. Гип-9-10, 1913, с загл. «Абиссиния». В П с незначит. разночтениями. Вар. из Сп.

Стр-ки 12—21: Донашивая
(ногти порыжели)
Сандалии из грубых чресл вола?
Ворочаешься ты
в библейском мраке,
За кряжи осыпающихся гор,
У чьих подножий
шкуры кожемяки
Растягивают на щитах
в упор.
И копья воинов твоих —
все те же,
Все те же кованые острия,
Что прободав казненного
медвежьей,
Гнилой плеснули кровью
на меня.

Твоя царица в граде Соломона.— См. Библию (3 Цар. X, 1—13); по Библии, Царица Савская, узнав о славе и мудрости Соломона,

отправилась в Иерусалим. По эфиопской апокрифической книге «Слава царей» у нее от Соломона родился сын Мелик — родоначальник царей Эфиопии. *Вернуться к Моисею.*— Моисей — ветхозаветный пророк, нравственный законодатель, записавший пять первых книг Библии («Пятикнижие»). По преданию, во главе египетского войска совершил поход в Эфиопию и женился на эфиопской принцессе Фабрис. *И копья воинов твоих* и т. д.— По Евангелию при снятии Иисуса с креста «один из воинов копьем пронзил Ему ребра и тотчас истекла Кровь и вода» (Иоан. XX, 33—34).

«На пыльной площади, где камень...» Вперв. НЖДВ, 1913, № 5 с загл. «Прокаженные в Хараре». Вар. из СП. Стр.-ки 1—16:

На площади — майдане камень
Наколот мелко без подлажки.
Навстречу
(Мумии! Руками!)
Суют мне
ивовые чашки.
Мычат гугняво
(раз от разу):
— Подайте...—
(милостыню клянчат):
Завертывают в плащ
проказу.
И пропотевший плащ — оранжев.
На Маковке и на коленке
Как будто ляпнул кто замазкой.
Страшны сидячие шеренги:
В них люди, человек —
за маской.
На зное греются.
Невнятно
Нудят лиловыми губами,
Чуть-чуть поскабливают пятна.

Как Лазарь загнаны в простыни.— Новозаветный Лазарь (брат Марии и Марфы), воскрешенный Христом, «вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» (Иоан. XI, 44). *Здесь когда-то Сын Божий проходил.*— Древняя территория Эфиопии, по Геродоту, соответствует египетскому и библейскому «Кушь»; история ее уходит корнями в апокрифические переводы Древнего и Нового завета. *Касаясь сих прокаженных.*— Согласно Новому завету Христос, прикоснувшись к прокаженному, исцелил его (см. Матф. VIII, 2—3, Марк I, 40—42, Лук. V, 12—13) *Харар* — главный город эфиопских мусульман.

3. «Незабываемое забудется... Сз. В КС включено в последний раздел — «После гибели» с загл. «Из Цикла «Эфиопия» (вар.).

Стр-ки 5—10: В запеневшемся вкрадчиво шуме
Раковины — чую, дрожа,
твои, распеленутая, мумия;
яростные буруны мятежа.
В дыму колесница полукруглая
мчится и меток лук стрелка!—

Стр-ки 13—18: Навстречу по грузным ухабам льются
бронированные слоны.
Стой, полдены!
Бьет Дева-Революция
кованым крылом питомцев луны.

Стр-ки 23—24: Сырыми лопухами вдоль склонов,
морщась, расплетается зга;

Стр-ки 27—42: Но кто это, кто в сумраке мечется,
Машет коричневой рукой?
Бессмертная!
Дева-Человечица,
лик запрокинувшая высоко!
Не ты ли чрез миражи и топи,
радугу лихой ворожбы,
колдуешь о России и Эфиопии,
до неба выращивая столбы?
Не ты ли за облупленными башнями,
нас обступившими окрест,
возносишь над рабами вчерашними
огненный коммунистический крест?
Не ты ли вдруг склонилась над убитым?
И не тебя ли конь-летун
пронес, громыхая копытами
в страны метелей, волчьих свор и дюн?

В ОГНЕННЫХ СТОЛБАХ

Раздел назван по одноименной книге Нарбута (Одесса, 1920). В нем собрана лирика Нарбута 1918—1922 гг.

Семнадцатый. Цикл из пяти стихотворений. В таком составе и с этим загл. в Сп. В Сз — три первых ст.-я с загл. «Октябрь». В АШ сохранился также неполный машинописный

экз. подборки «Октябрьское солнце» с первым, как бы вступительным ст-ем «Суждено в веках другим светам пролиться...» (см. с. 308). Вслед за тем под цифрой I в подборке помещен вариант ст-я «От сладкой человечинки вороны...» — «От мяса человечьего вороны...» и под цифрой II — вариант (неполный) пятого ст-я цикла «Семнадцатый».

Вар. из Ч: Сквозь поступь полумесяца, ножа,
Запущенного из-за голенища,
В сырую мглу, бессильно ворожа,
Октябрь вытряхивает днища...

1. «Неровный ветер страшен песней...» Вар. из Ст:

Стр-ки 25—28: В дыму померкло:
— Хлеба! — Мира!..—
И на буржуя —
вся страна:
От Петрограда
до Памира,
От Минска
до Сахалина́!

Стр-ки 31 и 32: Как полосата грудь матроса!
Как весело-развесело!

Вариаит из Сз:

Стр.-ки 33—40: И пестует пятью мечами,
пронзая дряхлый Вифлеем,
звезды струящееся пламя
ребенка перед миром всем.
И, старина, за возмужалым,
за мудрым, за единым — ты
бредешь с Интернационалом,
крутя пожухлые листы.

Зингер — марка швейных машин.

2. «Семнадцатый!..» В Сз незначит. разночтенья.

Митральеза — вид станкового пулемета.

3. «Октябрь, октябрь!..» Дат. по Сз.

4. «От сладкой человечинки вороны...»

Вар. из Ос:

Вм. строк 20—25: Твои сияния в душе горят,
Твои дыхания на нас, на глину,
Зевнули жаром и — литой сосуд
(К станку резец и рясный сноп к овину!),—
Но революции державный суд!
Вот так! Мы, бронзовея от Закала,

Радионосно — алый сеем пыл.
— Послушайте! То — солнце отсверкало?
— Нет:
То Октябрь стихию ослепил!

Робеспьер Максимильен (1758—1794), *Марат* Жан Поль (1743—1793) — деятели Великой французской революции.

5. «Кривою саблей месяц выгнут...» В неполном экз. КС (АШ) — вариант, начинающийся со второй строфы «Святая ночь!» и т. д. В Ос начало еще одного варианта: «Как звонкий парус, месяц выгнут». *Древлянской росомахой.*— Древляне — союз вост. слав. племен в VI—XI вв. *Сердце печенега.*— Печенеги — объединение тюркских и сарматских племен VIII—IX вв.

«Зачем ты говоришь раной...» Вперв. Сир- 2-3. Потом Сз. В Сп не вошло.

«Россия». Вперв. Сир-1 с загл. «Красная Россия». Печ. по Сз, в Сп. не вошло. *Все те же пять хлебов.*— Согласно Евангелию Иисус Христос накормил пятью хлебами пять тысяч человек (Матф. XIV, 5—21, Марк VI, 36—44, Лука IX, 12—17, Иоанн VI, 5—13). *Огненные столбы* — библейский образ; на пути в землю обетованную: «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им» (Исх. XIII, 21). Этот образ настойчиво повторяется в Библии. В связи с этим ст-м обращает на себя внимание и гл. X Апокалипсиса (см. предисловие). *Скиния* (греч.) — куща, сень, шатер; походная церковь израильтян до Иерусалимского храма.

В огне. Печ. и дат. по Сз с незначит. позднейшей авторской правкой. В Сп вариант этого ст-я с загл. «Овраг укачал деревню»:

Стр-ки 2—15:

(...Лю-лю, моя люлька, пой...)
Никак не сравниться певню
Со ставнею голубой!
Дохнуло полынью, пометом,
Пшеницей с полей:
                    к дождю,
Пчела в гарбузах, за тыном
Роится,—
          слыхать аж тут...
А после —
          косяк, ночное.
Картошку в золе печем:
Армяк —
        и все остальное:
Вселенная нипочем!
Столетьем, в труде упрямом
В суглинок, без сил, вросла
Бобылья изба.
               На самом...

Стр-ки 19—23:

На линии жухлых окон
Такие же облака.
Старуха в платке
                    (вербеной
Усыпанном) —
            как во сне...
Родимая!
        Незабвенная!..

Стр-ки 32—34:

Но нет:
        мне рыдать на тлене
Погоста
        с плакун-травой!
Но щелок (поташ пожарищ)

Стр-ки 38—45:

Да где-то
        (в пазу?) прольется
Заржавленного ведра:
Коню не брать из колодца
Холодненького добра...
Прошила вдогонку пуля,—
Появится с ней киста...
О мирная ночь июля,
Некупленная звезда!

Стр-ки 58—61:

Мое грозовое сердце,
Не выдаст тебя закал!
Ага, балда-офицерик:
Башкой
        ваш-бродь заболтал!..

Это ст-е иногда трактовалось как выражение ожесточенности самого поэта (см.: Меншутин А., Синявский А. Поэзия первых лет революции. 1917—1920. М., 1964. С. 179). Но в общем контексте строфа эта обретает почти противоположный смысл (см. предисловие). *Шишига* — овинный домовой. *Бровары* — город в Киевской губернии. *Гарбуз* (укр.) — тыква.

Совесть. С этим загл. в АП. В Сп с загл. «Душегуб». *Апостола Савла.*— апостол Павел до своего обращения в христианство, в пору своего язычества и жестокого поведения, носил имя Савл. *Как Ева прячется за листьями.*— По Библии, Адам и Ева скрылись «от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт III, 7—8).

Чека. Вперв. Лава. Печ. и дат. по Сз. В Сп не включено. *Герман.*— Правильно — Германн — герой повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». *Жеребца над гадюкой.*— Имеется в виду памятник Петру I Фальконета в Петербурге. *Ланжерон* — улица в Одессе.

Кобзарь. *Кобзарь* — бандурист, украинский бродячий певец; название сборника стихов Т. Г. Шевченко (1814—1861). *Сивоусый* (укр.) — седоусый. *Заповіт* («Завещание») — стих Т. Шевченко.

Б о л ь ш е в и к. Тетраптих. Вперв. Лава-1. В Сз с небольшой правкой. Печ. по первой публикации.

1. «М н е х о ч е т с я о В а с, о В а с, о В а с...» *Очерет* — камыш, тростник. *Мария!.. к нему в плаще сбегала ты тропой.*— Мария — одна из блудниц, прощенных Христом, сестра Марфы, омывшая его ноги мирром, также Св. Мария Магдалина — одна из жен Мироносиц, которой первой явился воскресший Христос. *Лилейная Магдала* — библейский город — «Башня Божья» (евр.), родина Марии Магдалины. Во времена путешествий Нарбута в Эфиопию — магометанская деревушка Эль Маджель, прежняя горная крепость абиссинского Негуса. *Кариот* — родина Иуды. *Мариам* — еврейский вариант имени Мария. *Вы. в Скифии* — зд. Южная Россия, область прежнего скифского обитания. *Тебе, небес козленок молодой!*— См.: О л е ш а Юрий. Ни дня без строчки. М.: Сов. Россия, 1965. С. 258—259.

4. «С а н д а л ь и д е р е в я н н ы е, д о к о л е...» *Сандальи деревянные.*— В годы гражданской войны носили кустарную деревянную обувь, кое-где прозванную — «трик-трак» за громкий стук при ходьбе. *Сарепта* — дикая горчица. *Хунхуз*; хунхузы — участники вооруженных банд в Маньчжурии с сер. XIX в. до 1949 г. *Иоганн* — Иоанн Предтеча или Креститель.

В э т и д н и. Вперв. Облава-2. Без загл. *Грядите сонмы нищих и калек — се голос рыбака из Галилеи.*— По Евангелию, Апостол Петр был рыбаком. После воскресения и вознесения Христа он и другие апостолы собрали толпы «из всякого народа под небом.〈...〉 Петр же возвысил голос и проповедовал учение Христа». *Вифлеем* — место рождения Иисуса Христа.

Р а с с в е т. Сохранилось в Ч, в одном — с загл. «Бандиты». Из других видно, что поэт собирался писать поэму о Махно. Не датировано. Вар. из Ч:

а) За шагом шаг, за гривой грива
По бересте дороги, по ярам
В рассвет хромает торопливо
Тачанок табор-тарарам.

б) Подобием махновской сабли,
Вращаясь в серпантине туч,
Луна плыла, и звезды зябли,
Проскакивая сквозь обруч.

Махно Н. И. (1889 — 1934) — анархист, возглавлял анархо-крестьянское движение на юге Украины во время гражданской войны. *Чемерка* (укр.) — верхняя мужская одежда в талию и со сборками сзади, венгерка. *Антанта* (фр.) — тройственный союз, блок Англии, России и Франции в первой мировой войне.

Г о д о в щ и н а в з я т и я О д е с с ы. Печ. и дат. по Сз. В Сп не вошло. *Шеврон* — нашивка из галуна на рукавах форменной одежды солдат и унтер-офицеров. *Город Ришелье и Де-Рибаса* — Одесса. *Ришилье* А. Э. дю Плесси (1766—1822)—герцог, ген.-губернатор Новороссии; Дерибас О. М.-Рибас Х. де (1749—1800)—

русский адмирал, руководитель строительства порта и г. Одесса. *Котовский Г. И.* (1881—1925) — командир кавалерийской бригады, дивизии и корпуса Красной Армии в годы гражданской войны. *Фанкони* — известное фешенебельное кафе в Одессе. *7 февраля 1920 г.* — день взятия Одессы Красной Армией.

На смерть Александра Блока. С этим загл. в Сп. В АП с загл. «Александру Блоку». Дат. по Сп. Разночтения незначит. Написано под непосредственным впечатлением от смерти А. А. *Блока*, скончавшегося 7 августа 1921 г. в Петрограде. *Лежащим под жестким одеялом, по страшной, отвиснувшей губе, по темным под скулами провалам* и др. подробности ср: «Кладу цветы на одеяло, 〈 〉 Он больше не похож ни на портреты 〈 . 〉 ни на того, живого 〈 〉 волосы потемнели и поредели, щеки ввалились, глаза провалились 〈. 〉 подбородок ушел в грудь», «Две свечи горят или три» (Берберова Н. Курсив мой // Октябрь. 1988. № 10. С. 169). Это совпадение подробностей дает основание предполагать, что Нарбут в тот день был в Петрограде и у смертного одра Блока. *Гранатовый браслет 〈...〉 Чиновника (помните) Желткова.* Чиновник Желтков — герой повести «Гранатовый браслет» А. И. Куприна (1870—1938). Ср.: «В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко... (Куприн А. И. Сочинения В 3 т. М. ГИХЛ, 1954. Т. 3. С. 164).

КАЗНЕННЫЙ СЕРАФИМ

Рукопись книги «Казненный Серафим» сохранилась в архиве Шкловского не полностью, в виде разрозненных листов малого формата, но как часть подготовленной к печати книги. Сложенный вдвое лист образовал обложку, на 1-й стр. которой — название: Владимир Нарбут. Казненный Серафим, на 3-й — библиография Нарбута. Полный экземпляр книги «Казненный Серафим», на больших листах переплетенный в плотную обложку, был сохранен сыном поэта (см. предисловие). Оба экз. рукописи не датированы. Л.Чертков датирует ее 1922 г., Р. Нарбут — 1925-м, М. Зенкевич — 1928-м. Возможно, что эти три даты и не противоречат друг другу. Рукопись могла быть собрана в 1922 г., предложена издательству — в 1925, и т. к. не была издана, поэт мог продолжать работать над ней до 1928 г. И м. б., именно в этом году или позднее, но датированная 1928 г. она была передана им Мих. Зенкевичу. Раздел сложен по АРН. В АШ еще несколько ст-й, перенесенных нами в др. разделы (соотв. более ранним книгам).

Серафим.— По христианскому учению — высший ангельский чин, ближайший к Богу. Серафимы имеют человеческий облик с шестью крыльями, двумя — закрывают лица, двумя — ноги, двумя — летают и неумолчно поют славу Господу. Один из Серафи-

мов коснулся зажженым углем уст Исаіи, очистив его от греха (Исаі и VI, 1—7). См. также ст-е. Пушкина «Пророк».

Окно. Печ. по АРН. *Хрущ* (укр.) — майский жук. *Ариадна* — малая планета; в греч. миф.— дочь критского царя Миноса, давшая своему возлюбленному, Тезею, когда он решился убить чудовище Минотавра, клубок ниток (нить Ариадны), который вывел его из лабиринта. *Глазет* (фран.) — старинная шелковая ткань с золотым или серебряным утком, которой обтягивали и украшали гробы.

Детство. В Сп — в разделе «Александра Павловна». Оба стих. сохранились и в КС (АШ). В экз. АРН — только одно стих.

1. В начале. Впервые в Харьковской еженедельной газете «Понедельник», 1923, 26 марта. В АРН отсутствует. В Сп — первое стих. диптиха «Детство» без загл., дат. 1916 г. *Печерицы* (укр.) — шампиньоны. *Черногуз* — аист. *Архалук* — поддевка, домашняя стеганка.

2. Вербная суббота. Печ. по КС (АШ). Датиров. 1916 г. В Сп — второе стих. диптиха «Детство», датиров. 1916 (1922) без загл. и с первой строкой: «Розгой скользкой розовой девчонок...» *Вербная суббота* — канун Вербного воскресенья (последнего предпасхального). *Рудых* (укр.) — рыжих. *Крыги* (юж.) — льдины. *Где же дел я свечку* — южный оборот речи — вместо: «куда я дел». *Суздаль сузил лик.*— В Суздальском уезде Владимирской губернии писались дешевые, широко распространенные по всей Руси иконы. *Руда* — зд. кровь. Сохранился Ч с недописанным стихотворением, видимо примыкающим к диптиху «Детство» (см. с. 305).

Чаепитие. Печ. по КС (АШ). Не датировано. *Фита* — буква старого русского алфавита Ѳ. *Саваоф* — одно из ветхозаветных наименований Бога — Бог сил.

Малярия («Журавли шурша рогожей...») Печ. по КС (АШ) Не датировано.

Рождество. Печ. по КС (АШ). Не датировано.

Тяга — печ. по КС (АРН). Не датировано. *Пустосвят Никита* — расколоучитель XVII в. Один из организаторов стрелецкого восстания, в котором был помощником кн. Хованского. Подвергался гонениям, был заточен, наконец, казнен.

Телеграфист (на захалустной) Печ. по КС (АРН). *Пигалица* — маленькая птичка семейства ржаниковых; переносн.— тщедушный человек.

Цветок. Печ. по КС (АШ). Не датировано. *Анемон* — цветок семейства лютиковых, различной окраски. *Фрейлин* (нем.) — правильно «Фрейлейн» — девица и обращение к девице. *Гретхен* — героиня трагедии Гете «Фауст».

Самое. Печ. по КС (АРН). Не датировано. *Млин* (укр.)—

мельница. *Обабок* — гриб. *Филодендрон* — тропическое растение, культивируемое в России, как комнатное.

Плавание. Печ. по КС (АШ), сохранилось также в отдельной машинописной подборке, под общим названием «В парикмахерской», в кот. вошли и стих. «Встреча» и «В парикмахерской (уездной)». Не датировано. *Ландо* (фр.) — 4-местная карета с открывающимся верхом. *Фуляр* (фр.) — мягкая цветная ткань, из которой делали шейные и носовые платки, а в начале XX в. и женские платья.

Мороз. Печ. по КС (АШ). Сохранилось также в подборке под общим названием «Околоворот». В нее вошли также ст-я: «На хуторе» и «На углу». Не датировано. *Зельтерская* — южный вариант слова «сельтерская». *Калита* — сума, торба, мешок. *Халява* (юж.) — кожа, букв.— сапожное голенище.

В парикмахерской (уездной). Впервые в харьковском еженедельнике «Понедельник», 1922, 18 декабря. В архиве Шкловского в рукописях «Казненный Серафим», «Спираль» и в подборке «В парикмахерской». Разночтения незначительные. *С кровавой Олоферна главой Юдифь.*— Героиня апокрифической «Книги Юдифь», соблазнившая посланного Новохудоносором карателя Олоферна и отрубившая ему голову. *Олеография* — устаревший вид литографии. *Олеофант* — сорт смазочного масла из Кавказской нефти.

На хуторе. Печ. по КС (АШ). Также в подборке «Околоворот». *Билибинские*, Билибин Н. Я. (1876—1942) — рус. график и театр. художник.

Ворожба. Печ. по КС (АШ). Не датировано. *Кострика* — жесткая кора стеблей прядильных растений, ее мельчат, выбивают, вытрепывают и вычесывают.

На углу. Печ. по КС (АШ), сохранилось также в подборке «Околоворот». *Матрена* — дочь Кочубея (у Пушкина — Мария). *Кочубей* В. Л. (1640—1708) — генеральный судья Левобережной Украины. Сообщил Петру I об измене Мазепы. Казнен Мазепой. *Лан* — полоса земли, около десятка десятин.

Белье. Вперв. ж. «Календарь искусств» (Харьков), 1923, № 1. Печ. по КС (АШ) авторизованно. Дат. по публикации. В ж. «Календарь искусств» № 4 помещен ответ Нарбута на письма читателей по поводу этого стих. с комментариями редакции (см. предисловие). *Мыслете* — старин. название буквы «М»; метать петли, закидывать крюки. Переносн. «писать мыслете» — плестись спьяну. *Карамора* — долгоносики, разновидность комаров.

То — ты. Печатается по КС (АШ). Не датировано. *Козерог* — зодиакальное созвездие. *На куличках* — по поговорке «У черта на куличках» (от кулича — чащоба).

В о з в р а щ е н и е. Печ. по КС (АШ). Сп с небольшими разночтениями и двойной датой.

О т е ч е с т в о. Печ. по КС (АРН). Сохранились Ч с незначит. разночтениями. *Хирам.*— В Библии (книга Царств) фигурируют два Хирама: Царь Тира (Финикия) и художник или архитектор, построивший дворец Соломона. Зд., видимо, художник. *Хресон* — основан не чумаками, а гр. Румянцевым (отцом Задунайского) как военное укрепление, потом как кораблестроительный и торговый центр, но чумаки возили в Херсон и из Херсона товары. *Ремесло Данаид.*— Данаиды (греч. миф.) — 50 дочерей царя Даная, в земной жизни отыскивали воду для колодцев, в Тартаре — царстве мертвых — наполняли водой бездонную бочку. «Работа Данаид» — выражение, означающее бесконечный и бесплодный труд. В контексте ст-я существенно и то, что все Данаиды, кроме одной, по приказу отца умертвили в первую брачную ночь своих мужей (из-за предсказания, что Данай падет от руки зятя).

С е р а ф и ч е с к и й. Печ. по КС (АШ), не датировано.

В с т р е ч а. Печатается по КС (АШ). В Сп с подзаг. «Из поэмы «Нестор Махно» и в подборке «В парикмахерской». Дат. по Сп. *Фарфоровый Попов* — фарфор известной русской фабрики. *Горобцы* (укр.) — воробьи. *Схилился* (укр.) — склонился, накренился, поник, покосился. *Грудень* — декабрь.

КОСОЙ ДОЖДЬ

Название раздела заимствовано из черновой записи Нарбута (см. предисловие). В раздел вошли поздние, неопубликованные (кроме одного) ст-я, гл. обр. из черновиков.

К р и н и ц а. Ч. *Залуписто* — зд. задиристо. *Черви во чреве Ионы.*— Иона — один из библейских пророков, по воле Бога он три дня и три ночи был во чреве кита. Когда Иона проповедовал в Ниневии, черви подточили дерево, выращенное над ним Богом.

Ч е х о в. Вошло в Сп. Сохранилось также множество Ч. Не датировано. Вар. из Ч:

Стр-ки 1—4· Ялта моя, ты зажженная елка,
Вечное рождество.

Строка 5: Я Временный житель в доме, который без толка

Стр-ки 74—80: Я звезды готов обслуживать даже и сотым
Поэтом,
но первым буду с тобой, о Земля!
От каждого камня пахнет сухим креозотом.

Стр-ки 74—82:	Среди ювелиров мира не стану н сотым, Но первым нагнусь (поэт!..). К просяному зерну. Здесь каждый булыжник пахнет смолой, креозотом, Болезнью и детством. Разве его я верну?

Горгоны — в греч. миф. крылатые женщины — чудовища со змеями вместо волос. Взгляд Г. превращал все живое в камень. Одна из трех Горгон (Медуза) — смертная. Ей отрубил голову Персей. *Креозот* — жидкость с резким запахом, применялась для дезинфекции в больницах. *Цуцка* — щенок, собачонка. *Небо в алмазах*.— Монолог Сони в конце пьесы Чехова «Дядя Ваня»: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...» *Аутской*, Аутка — та часть Ялты, возвышенность, на кот. стоит домик Чехова. *Фраунгоферовы линии* — спектральные линии, результат излучений звезд и солнца, в частности атмосферой Земли. *Эспри* — перо (у женщины на шляпах). *Буцефал* — имя любимого коня Александра Македонского; букв. (греч.) — бычья голова; вообще порода фессалийских лошадей, кот. выжигалось тавро в виде бычьей головы.

Перепелиный ток. Вперв. ж. «Новый мир», 1933, № 6. Сп — в разд. «Под микроскопом». (Вар.)

Вм. с—ф 10—11:	Вот, обессилев, завязли в тенетах Головы схваченных забияк, Расквитавшихся волею и плотью За нее, как и я...

Вощина — сотовый воск, по стечении или вытопки из него меда. *Клепочные рощи* — клепочный пиломатериал, идет на паркет. *Бура* — соль тетраборной кислоты, осадок боро-соленых озер.

«Ты что же камешком бросаешься...» АШ беловой автограф Нарбута и Ч. Один с загл. «Орфей, Евгений и я». Л. Чертков сообщает в своей статье к парижскому изданию, что ст-е посвящено О. Мандельштаму (подробнее см. в предисловии). *Орфей* — в греч. мифол. аргонавт, певец, сын музы Калиопы. Чудесным пением очаровывал богов, людей, укрощал дикие силы природы, спускался в Аид за своей женой Эвридикой.

НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ ИЗ КНИГИ «СТИХИ»

Гобелен. *Кринолин* — старинная широкая юбка на каркасе.

У моря. *Стеклярус* — крупный бисер, разноцветные стеклянные трубочки.

П е в е н ь. *Сошник* — часть плуга, подрезающая пласт земли, лемех. *Голубец* — зд. крыша над криницей.

З е м л я н и к а. *Знак Близнецов небесных.*— Близнецы — зодиакальное созвездие, знак мая.

«Е щ е с т о я т в а л л е я х п е с н и...» *Улусы* — зд. (арх.) — поля, пашни, вспах. правильными полосами.

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

П а у к - к р е с т о в и к. Вперв. g-9. *Зане* (церк.) — ибо, так как, потому что.

В е р б н ы й в е ч е р. Вперв. g-10

Н а Ф о н т а н к е. Вперв. Гип-3, 1912. *Фонтанка* — улица в Петербурге. *Ателло* — искаж. Отелло — герой одноименной трагедии У. Шекспира (1556—1616).

Г и м н а з и ч е с к о е. Ч.

Н а ш е Р о ж д е с т в о. Ч. *Ладан, мирра* (греч.) — ароматич, смолы; применяются для курения при религиозных обрядах.

«Т ы у л ы б н у л а с ь и п о к о р н о...» Вперв. Сир-1, 1918.

О к т я б р ь с к о е с о л н ц е. АШ в подборке «Октябрьское солнце» открывает цикл «Семнадцатый» (см. примеч. к этому циклу — с.). *Солнце Аустерлица.*— Перед Бородинским сражением 1812 г., когда солнце взошло над полем, Наполеон сказал, обращаясь к своим офицерам: «Вот солнце Аустерлица», желая напомнить им победу под Аустерлицем 1905 г. *Луна Навина.*— По Библии, во время битвы Иисуса Навина (преемника Моисея) с пятью амморейскими царями, собравшимися против израильтян, Бог остановил солнце над Гаваоном и луну над долиною Аполонскою (Иис. Нав. X,12).

«З а ч е р н ы м т я н е т с я з а з о л о т о м...» Вперв. газ. «Известия» (Одесса), 1920, 6 окт. *Баронье воронье.*— По барону Врагнелю П. Н. (1878—1928) — ген.-лейтенант, один из организаторов контрреволюции в годы гражданской войны. В 1918—1919 гг. в Добровольческой армии и вооруж. силах Юга России, в 1920 — главком Русской Армии в Крыму.

С т и х и о в о й н е. АШ. *Гетманская булава.*— Имеется в виду ген.-лейтенант *П. П. Скоропадский* (1873—1945) — гетман «Укр. державы» в 1918 г. *Петлюра С. В.* (1879—1926) на Украине, в сов.-польск. войне выступил на стороне Польши. *Пилсудский Ю.* (1867—1935) — маршал, деятель правого крыла польск. социалистич. партии, в 1920 г. руководил воен. действиями против Сов. России.

О б л а в а. Вперв. в ж. «Облава» (Одесса), 1920, № 1 Программное ст-е журнала. *Конфуций* (Кун Цзы) (Ок. 551—479 до н. э.) — др. китайский мыслитель, основатель этико-политич. учения. *Шариат* — свод мусульманск. правовых и теологических нормативов. *Будда* (санскр.— просветленный) — имя, данное основателю буд-

дизма Сиддхартхе Гаутаме (623—544 до н. э.). *Умоет руки, как Пилат.*— По Евангелию, Понтий Пилат — римский наместник Иудеи (26—36) умыл руки перед толпой, отдав ей Иисуса для казни (Матф. XXVII, 24), ритуальное омовение рук служило свидетельством непричастности к чему-либо (Второзак. XXI, 6—7). *Чечевичная похлебка.*— По Библии, Исав, старший из сыновей-близнецов Исаака, за чечевичиую похлебку продал младшему брату Иакову право своего первородства (Быт. XXV, 31—34)

Кровью исходит Россия. Вперв. в одесской периодике. Печ. по вырезке из АШ.

В бой! Вперв. Газ «ОдУкРОСТА» (Одесса), 1920, 28 авг.

«Что нам воины времен Гомера...» Ч. *Гомер* — др. греч. эпический поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». *Цезарь* Г. Ю. (102 или 100—44 до н. э.) — римский диктатор, полководец. *Аттила* (? — 453) — предводитель гуннов в опустошительных походах на Рим. *Наполеон* Бонапарт (1769—1821) — фр. император, полководец.

Первомайская пасха. Печ. по Сз. *Оброть* — недоуздок, конская узда без удил для привязи.

«Четыре года, долгих года...» Ч.

Шахтеры. Вперв. газ. «Коммунист» (Харьков), 1921, 18 дек. *Жюль Верн* (1828—1905) — фр. писатель.

1 Мая. Ч.

Бастилия Печ. по Сз. *Бастилия* — крепость, тюрьма в Париже, штурм кот. 14 июля 1789 г. положил начало Великой Французской революции. *Пале-Рояль, Кафе Фуа, Сент-Антуанское предместье* — места событий Великой Французской революции. *Людовик XVI* (1754—1793) — фр. король, свергнут и казнен в 1793 г. *Демулен К.* (1760—1794) — деятель Великой французской революции, журналист, казнен. *Санкюлоты* — городская беднота (фр.) — самоназвание революционеров в годы якобинской диктатуры.

«Твой зонтик не выносит зноя...» Ч.

Садовник. Ч. Самостоятельный вар. к ст-ю «Садовод» из цикла «Под микроскопом» (см. с. 353). Перекликаются лишь 2 — 3 строки. М. б., глава из задуманной поэмы о Мичурине. В АШ сохранились черновики, планы, выписки к этому замыслу. *Мичурин* И. В. (1855—1935) — сов. биолог и селекционер, поч. чл. АН СССР, акад ВАСХНИЛ. *Помолог* (от лат. pomum — плод), помология — наука о сортах плод. и ягодных растений. *Козлов* (Мичуринск) — город, где жил и работал Мичурин. *Бергамоты* — сорт груш. *Ньютон* И. (1643—1727) — англ. ученый. Открыл закон всемирного тяготения, легенда связывает это открытие с наблюдением над падением яблока.

Железная дорога («Пыхтело в пахах у паровоза...»). Ч.

Крым. Ч.

Сквозняк. Ч. Другие названия: «Вертеп», «Хорохорясь на похоронах».

ПОД МИКРОСКОПОМ

Раздел Сп. Составлен Нарбутом. из т. наз. «научных» стихов. *Искандер* — псевдоним А. И. Герцена (1812—1870). Эпиграф — цитата из эссе «Капризы и раздумья». В АШ сохранилась выписка рукой Нарбута с ссылкой на «Петербургский сборник», изданный Н. А. Некрасовым (1821—1878) в 1846 г., с. 211. Выписка обширнее эпиграфа. Она начинается так: «Наполеон говаривал еще, что наука до тех пор не объяснит человеку явлений всемирной жизни, пока не бросится в мир подробности».

Микроскоп. Вперв. ж. «Новый мир», 1933, № 3.

Еда. Эпиграф из К. М. *Фофанова* (1862—1911). *Кирпатый* (укр.) — курносый. *Молоховец* — автор популярной дореволюц. кулинарной книги. *Поль де Кок*; Кок Поль Шарль (1793—1871) — фр. беллетрист.

Молоко. Сохранился Ч с первой строкой «Не мал отелившихся список». *Махотка* — крынка. *Молодик* — молодой месяц и молодая поросль. *Молочные братья, волчицей мы вскормлены.*— Легендарные основатели Рима Ромул и Рем по преданию были вскормлены волчицей.

Пуговица. Эпиграф из популярной городской песни *«По Дону гуляет...»*. *Галалит* — один из видов белковых пластиков. *Экипаж «Литке».*— «Федор Литке» — ледокол сов. арктич. флота. В 1934 г. совершил первое плавание Сев. морским путем за одну навигац. с востока на запад.

Малярия («Голыми руками теперь не возьмешь...»). Сохранились также Ч-ки. В одном:

...Температура подтверждает,
Расписываясь, буквой «М»
(Не то «Метро», не то Маляры) —

и записи к задуманной поэме. Поэма, очевидно, не была написана. *Анофелес* — разновидность комара. *Болот Понтийских* — имеется в виду кавказское побережье Черного моря, Понт Эвксинский — его др. греч. название. *Тмутаракань* — др. русская область на берегу Азовского моря. *Сталинабад* — так в 30—40-е гг. наз. г. Душанбе.

На Тверском. Была задумана, но не дописана поэма «Цыгане». Сохранилось неск. Ч-ков и заметки. *В Роще Марьиной.*— В этом районе Москвы жили оседлые цыгане. *Вертеп* —

зд. крытая повозка. *Племя фараоново* — так называли цыган, считая их выходцами из Египта. *«Ромэн»* — цыганский театр в Москве. *Ром* (человек) — так называют себя сами цыгане. *Перед Александром Пушкиным.*— Памятник Пушкину стоял тогда на Тверском бульваре.

С а д о в о д. См. прим. к ст-ю «Садовник» (с. 433) Эпиграф — известное высказывание Мичурина, очень популярное в 30-е гг. и распространявшееся не только на проблемы селекции. *Для кесарева.*— Кесарево сечение (мед.) — оперативное вмешательство в естественные роды в случае необходимости.

Б у х г а л т е р. *Хина заложила оба уха.*— Хиной лечились от малярии, она ослабляла слух. *Агасфер* (вечный жид) — герой средневековых сказаний, осужденный Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть (по др. версиям — ударил его) по пути на Голгофу.

С е р д ц е. Сохранились также Ч-ки. Один с назв. «Дача». *Фуксин* — синтетический краситель красного цвета. *Боливия и Парагвай... нефтяная война.*— Война Боливии с Парагваем (1935—1939). *Одна из зажиточных наших персон.*— О «зажиточности» Нарбута в 30-е гг. см. предисловие. *Калинин* М. И. (1875—1946) — в те годы председатель ВЦИК СССР. *Канталупы* — сорт дынь.

В о с п о м и н а н и е о С о ч и - М а ц е с т е. Дат. приблизительно по документам АШ, устанавливающим время лечения Нарбута в Сочи.

1. А р а х и с. Сохранились Ч-ки. В одном:

Что делать мне с моей отставкой?
Подземный мир несет рекой,
Сквозь смрад, сквозь серу —
Как ни гавкай..! —
Мои стихи в скрипичной давке
Грив со склонившейся щекой.
Скрипичный гриф удобно согнут,
Свистит намыленный смычок...

2. К а п и т а н В о р о н и х и н. Один из Ч с подзаг. «В центральном санатории РККА». *Ауспиции* — в Др. Риме гадания по наблюдениям за полетом и криком птиц, за небесными явлениями и т. д. Ауспиции толковались авгурами — древнейш. рим. жрецами. *Война, перелет.*— В 1936 г.— возможно, имеется в виду гражданская война в Испании.

Б а б ь е л е т о. Ч-ки. Некот. с загл. «Самсон и Далила». *Далила, Самсон.*— По Библии, Далила — филистимлянка, возлюбленная героя Самсона, ради победы своих соотечественников коварно, ночью отрезала волосы Самсона, в которых заключалась его сила. *Труакар* — женск. одежда, длинный, расширяющийся жакет. *В стратосфере головой.*— В те годы предпринимались рекордные полеты на стратостатах.

ПИСЬМА К С. Г. НАРБУТ

В АШ 11 писем и телеграмм В. И. Нарбута из лагерей. Сложены в большой конверт, надписанный рукой С. Г. Нарбут (Шкловской). «Письма Володи из ссылки 1937—38г г.». Кроме писем, в конверте самодельный небольшой складень из ватманской бумаги, куда вклеены фотографии В. И. Нарбута и С. Г. Нарбут так, что имитируют парные, и бумажный рубль 1934 г., м. б. свидетельствующий о попытке вложить деньги в письмо или посылку или же остаток денег, которыми она расплачивалась на почте. Обычно на нескольких конвертах почтовые штемпели с одинаковыми датами. По-видимому, письма накапливались у лагерного начальства. Даты же, проставленные Нарбутом, свидетельствуют о том, что он регулярно писал два раза в месяц. До адресата письма доходили примерно через 15—20 дней.

1. *Из моей телеграммы.*— Не сохранилась. *Я сейчас во Владивостоке.*— В пересыльном лагере на «Второй речке» под Владивостоком.

2. *Крезов музей.* — Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии. Его богатство вошло в поговорку: «Богат, как Крез». *Моего маленького мальчика* — о С. Г. Нарбут. *Доверенность на получение из ГУГБ'а моего литературного архива.* ГУГБ — главное управление Госбезопасности. Что стало с архивом Нарбута, о котором упоминается и в других письмах, неизвестно. *Относительно квартиры* — квартира, то есть комната Нарбута в Курсовом переулке, была кооперативной. Как решился вопрос о переводе пая на имя С. Г. Нарбут, неизвестно. До войны она жила по тому же адресу. После войны — по другому, в том же районе. *Остатки гонорара в «Сов. писателе» за мою невышедшую книжку.*— Во всех письмах С. Г. Шкловской, хлопотавшей о посмертном издании Нарбута, и во всех биографических справках о нем говорится, что «Спираль» недоиздана издательством «Художественная литература». Однако в АШ есть следы и книги «Избранных стихов» в издательстве «Сов. писатель», о кот. подробнее Нарбут упоминает еще в письмах. Договор «от октября — ноября 1937 г.», о кот. пишет Нарбут, не сохранился, но есть копия бухгалтерского распоряжения № 110 от 2 ноября 1934 г. изд. «Сов. писатель» о перечислении на лицевой счет Нарбута 1500 руб. («Авторский гонорар» за сентябрь мес. 1934 г.) и сберкнижка Нарбута, специально заведенная по этому поводу (счет открыт 29. X—5 р.), 3 ноября начислено 1500 р. и до 19 ноября эти деньги частями выданы Нарбуту. Сумма эта вполне могла быть 25% от договорного

гонорара по книге стихов. Сохранилась также мягкая папка (Дело) — обложки книги стихов, на 1-й с. кот. надпись тушью: «Владимир Нарбут. Стихотворения», на 3-й Содержание:

«Стихи 1906—16 гг.
Аллилуйя
Плоть
Александра Павловна (поэма)
Любовь
Абиссиния
В огненных столбах
Казненный Серафим
Под микроскопом».

3. *После 8-дневного морского плавания.* — Что собой представляло это плавание, мы знаем по многим воспоминаниям. *И тебе не надоело, Муза и т. д.*— Последние известные нам строки Нарбута (см. предисловие).

4. *Твоего покойного отца.*— Густав Алоизович Суок (1875—1933) — преподаватель музыки.

5. Не датировано. Штемпель магаданский также 27.12.37. Это письмо написано карандашом.

6. Последнее письмо Нарбута. *Стан Оротукан.*— Описание этого лагеря см.: Жженов Георгий. Саночки // Огонек. 1988. № 15.

КНИГИ ВЛАДИМИРА НАРБУТА

Стихи. СПб.: Дракон, 1910
Аллилуйя. СПб.: Цех Поэтов, 1912 (Конфискована)
Аллилуйя. 2-е изд. Одесса, 1922
Любовь и любовь. СПб.: Наш век, 1913
Вий. СПб.: Наш век, 1915
Веретено. Киев: Наркомпрос Украины, 1919
Плоть. Быто-эпос. Одесса, 1920
В огненных столбах. Одесса: Изд. Губпечати, 1920
Красноармейские стихи. Ростов н/Д: Политотдел Н-й Армии, 1920
Стихи о войне. Полтава, 1920
Советская земля. Харьков, 1921
Пасха. М.: ГИЗ, 1922
Александра Павловна. Харьков: Лирень, 1922
Избранные стихи. Париж, 1983

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЛИЛУЙЯ

ВИЙ

ПЛОТЬ

ЛЮБОВЬ

АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА

СПИРАЛЬ

В ОГНЕННЫХ СТОЛБАХ

КАЗНЕННЫЙ СЕРАФИМ

НА РАССВЕТЕ, ПРАВЕДНИКОМ

КАЗНЬ

КОСОЙ ДОЖДЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Стихи, не вошедшие в основное собрание

ИЗ КНИГИ «СТИХИ»

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПОД МИКРОСКОПОМ
1933—1934

Нарбут В. И.

Стихотворения /Вступ. статья, сост. и при-
Н28 меч. Н. Бялосинской и Н. Панченко.— М.: Современник, 1990. — 445 с.: фотоил. — (Феникс. Из поэтического наследия XX века).

ISBN 5-270-00237-х

Книга В. И. Нарбута (1888—1938) впервые широко и полно представляет его поэтическое наследие В нее вошли стихотворения из сборников «Стихи», «Аллилуйя», «Плоть», «Советская земля», «В огненных столбах» и др., а также стихи, при жизни поэта не публиковавшиеся.

Н $\frac{4702010202 — 076}{М 106(03) — 90}$ КБ 11-50-89 ББК84Р7

НАРБУТ Владимир Иванович

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор
Б. Н. Романов
Художники
А. Т. Троянкер, Г. М. Грозная
Кудожественный редактор
Е. В. Андреева
Технический редактор
Н. В. Ганина
Корректор
Г. А. Голубкова

ИБ № 5699
Сдано в набор 19 06 89 Подписано к печати 13 01 90. Формат 84×108¹/₃₂ Гарнитура Таймс Печать офсетная. Бумага офсет. № 2 Усл печ л 21,84 Усл кр -отт 46,94. Уч -изд. л 18,59 Тираж 50 000 экз Заказ 470 Цена 1 р 50 к

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, г Тольятти, Южное шоссе, 30

1 р. 50 к.